



ВЛАДИМИР САВЧЕНКО

РАСКРОЙТЕ
ВАШИ СЕРДЦА...

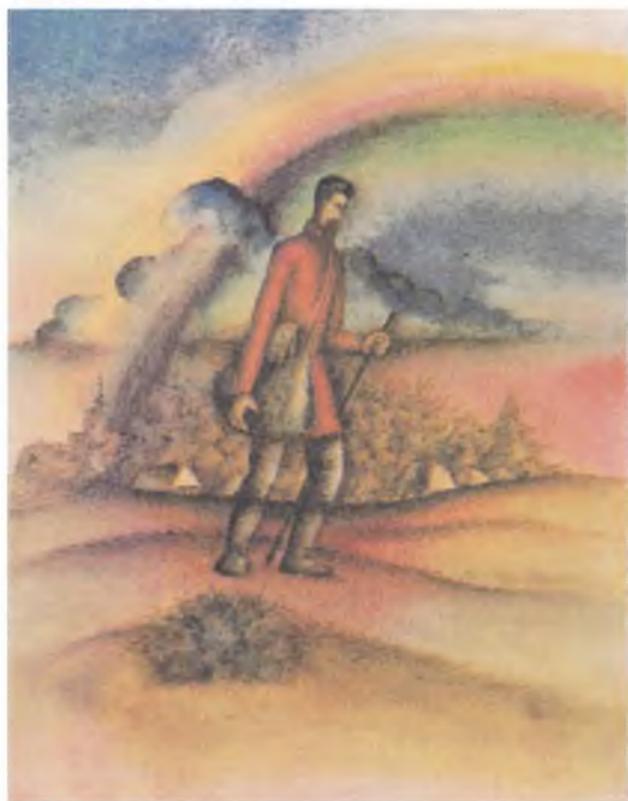


Scan Kreyder - 14.10.2018 - STERLITAMAK



ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

АЛЕКСАНДР ДОЛГУШИН



ВЛАДИМИР САВЧЕНКО

**РАСКРОЙТЕ
ВАШИ СЕРДЦА...**

**Повесть
об Александре Долгушине**

**МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1988**

Владимир Савченко — автор остросоциальных рассказов и повестей, пьес, телесценариев. Его герои всегда люди внутренне независимые, ищущие смысл жизни. Особое место в творчестве писателя занимает историческая тема. В серии «Пламенные революционеры» вышли его повести о народовольце Николае Клеточникове («Тайна клеенчатой тетради») и о Николае Чернышевском («Властью разума» — выходила в переизданиях и за рубежом).

Новая повесть В. Савченко посвящена Александру Долгушину, одному из первых участников знаменитого «хождения

в народ». Повесть охватывает события лета — осени 1873 года, когда кружок Долгушина, устроив тайную типографию, издавал революционные воззвания и распространял их среди крестьян. Автор ведет своего героя в крестьянские избы, на сельский сход, на тайную встречу с крестьянскими вожакими, показывает непростую диалектику взаимоотношений народной массы и революционеров-пропагандистов. Архивные материалы помогли автору осветить малоизвестные стороны народной жизни, рассказать о мужественной и самоотверженной борьбе Долгушина с самодержавием.

С $\frac{0503020300-167}{079(02)-88}$ 183—89

ISBN S—250 · 90427—X

© ПОЛИТИЗДАТ, 1988

ГЛАВА ПЕРВАЯ
СВОЯ ЗЕМЛЯ

1

«Ваше сиятельство! Осмеливаюсь вновь беспокоить Вас просьбою, но не за себя молю в настоящую несчастную минуту, за невинную жертву безумного дела, бывшую мою жену Елизавету Осипову Любецкую, высланную с малым ребенком и беременною же в Архангельскую губернию по обвинению в революционной литературной контрабанде, к коей непричастна. Имею доказательства сего... не доверяя бумаге, однако ж при личном свидании... почтительнейше прошу и умоляю выслушать... Вашего сиятельства покорнейший слуга... Марта 15 дня 1873 года. Жительство в Петербурге в Знаменской гостинице...»

Шувалов опустил бумагу на стол, позвонил. Вошел адъютант.

— Пригласите ко мне господина Филиппеуса с делом дворянки Елизаветы Осиповой Любецкой, революционная контрабанда. И заодно пусть захватит дело Любецкого Сергея Георгиева, кружок сибиряков, Долгушин и другие. Впрочем, он знает.

Нежно запели шпоры, дверь за адъютантом бесшумно затворилась. Взаяся было за иные бумаги, но оставил их, еще раз пробежал глазами прошение. Дѣла о Елизавете Любецкой и о какой-то нигилистической контрабанде он совершенно не помнил, должно быть, решалось без него, а вот просителя, раскаявшегося нигилиста Любецкого, он помнил, очень хорошо помнил. Помнил всю историю

его откровенных показаний, очень поучительную историю, могла бы стать хрестоматийной, если бы кто вздумал писать учебник жандармского права, помнил и недавнее обращение этого Любецкого за помощью, оригинальное обращение: просил выслать деньги, которые предлагались ему во время дознания в награду за его разоблачения и от которых он тогда гордо отказался, а теперь просил их, и притом просил выслать их как бы от заказчика какой-то механической мельницы, которую он будто бы устроил, выслать как бы в вознаграждение за работу. Ясно, нуждался в рекомендации как умелый механик или технолог, окончить-то курс, учился в Технологическом институте, своевременно не озаботился. Поучительна история его откровений в том отношении, что еще раз (который раз) убеждала: были и всегда будут в подземном движении Любецкие, Костомаровы и им подобные поэтические натуры, слишком возвышенные, чтобы стесняться в выборе средств самосохранения в крайних обстоятельствах, сохраняют-то себя для человечества, коего суть цвет и надежда, и было бы странно, если бы власть, призванная охранять порядок в государстве отнюдь не правовом, гнушалась использовать эту особенность тонких натур в своих интересах. Думные дьяки-раснопевцы милютины и горчаковы могут позволить себе роскошь гнушаться. Но не они делают погоду в политике... В случае с Любецким, Долгушиным и другими «сибиряками» удачное дознание не завершилось судебным приговором, по сути своей дело сибирских эманципаторов не стоило выеденного яйца, не связались эманципаторы и с нечаевской «Народной расправой», хотя их дело разбиралось заодно с нечаевским, тем не менее разоблачения Любецкого были ценны. В своих показаниях он представил связную картину возникавшего в разных местностях России нигилистского подполья из учащейся молодежи, он знал многих выдающихся агитаторов-сту-

дентов, сам был до арестования очень активен, пытаюсь соединить вместе петербургские радикальные кружки с такими же кружками в крупных городах центральной России и Малороссии и даже Сибири, откуда был родом. Эти кружки пока не представляли большой опасности, молодежь занималась в них самообразованием, разбирала социальные вопросы, но как знать, что могло развиться из всего этого, развилась же из подобного кружка нечаевская «Расправа». Любецкого удалось вывести чистым из игры, о его показаниях никто из его товарищей-нигилистов так и не узнал, если, конечно, он сам не исповедался перед ними после своего освобождения. Любецкий мог оказаться полезным в будущем. И вот он сам заявил о себе... «Слог, однако, недурен», — отметил Шувалов, отодвигая прошение Любецкого к краю стола и принимаясь за иные бумаги.

Улыбчивый, благодушный Филиппеус явился с помощником, тащившим за ним несколько не истершихся еще панок с делами. Осторожно, с носка на пятку ступая по светлому паркету, помощник с благоговением приблизился к белому в золоте столу Шувалова, сложил панки, повинаясь жесту Филиппеуса, на круглый столик, приставленный сбоку к большому столу, и удалился в полупоклоне.

— Константин Федорович, что за дело Елизаветы Любецкой и что за литературная контрабанда, впервые об этом узнаю?

— Дело простое, решилось административным порядком осенью прошедшего года в ваше отсутствие. Суть в том, что эта Елизавета Любецкая, жена известного вам Сергея Любецкого...

— Я прочел его прошение.

— ...была хозяйкой конспиративной квартиры нигилистов, занимавшихся тайной перевозкой запрещенной литературы из Женевы в Петербург и другие города

империи, переправляли литературу через румынскую границу в районе Скулян. Любецкую взяли с очередным транспортом: номера «Колокола» разных лет, «Народного дела», сочинения Бакунина. Сообщников она не выдала, всю вину взяла на себя. Граф Николай Васильевич по соглашению с министром внутренних дел определил ей место отбывания ссылки Мезень Архангельской губернии.

— Но ведь она беременна?

— В то время это не было известно-с.

— А ее муж?

Филиппеус ответил с прозрачной улыбкой:

— Как объяснил мне Любецкий, она оставила его больше года назад.

— Вы говорили с ним? Когда же?

— Вчера, когда он принес прошение. Он и сегодня здесь, пришел на случай, если вы сообразовалие принять его.

— Ну что ж, пришлите его ко мне.

Шувалов видел Любецкого два или три раза, из тюрьмы Любецкого приводили к нему в кабинет в вольном платье, он был выбрит, платье и сапоги вычищены, и все-таки печать особенной арестантской приниженности лежала на его облике. Он все как-то болезненно поеживался, как будто ему было неуютно в просторном светлом кабинете, и у него всегда были опущены глаза.

Теперь перед Шуваловым стоял вполне приличный молодой человек, хотя, кажется, все в том же своем сюртуке, но теперь по крайней мере было видно, что сюртук от порядочного портного; мягкий, по демократической моде, отложной воротник рубашки обвязан галстуком с щегольской небрежностью. Молодой человек был свободен в движениях и смотрел прямо перед собой. У него, оказывается, был характерный взгляд: упорный, немигающий, из-под нависающего лба. Нос у него был короткий и слегка вздернутый, и верхняя губа как бы сжата в нервном напряжении.

Любецкий учтиво поклонился. Шувалов, привстав, отдал поклон, показал на кресло перед столом:

— Прошу,— подождал, пока тот усаживался, и сам сел, молча стал смотреть прямо в лицо посетителю.

— Ваше сиятельство, позвольте прежде всего поблагодарить вас за то, что отозвались на мою отчаянную просьбу о деньгах,— о деньгах сказал Любецкий с преувеличенной твердостью, давая понять, что не намерен смущаться или стыдливо обходить этот пункт, что в этом пункте, как, надо полагать, и в прочих своих действиях в прошлом, он исходил из принципа, не из низких побуждений; ему угодно было держаться на благородной ноге, что ж, недурно.— Я был в стесненном положении...

— А теперь?

Любецкий засмеялся:

— Теперь тоже, но теперь это неважно. Позвольте объясниться по настоящему делу. Моя бывшая жена,— он заволновался,— взяла на себя вину других лиц. Мне достоверно известно, я при надобности могу представить свидетелей-с, если моих объяснений окажется недостаточно, достоверно известно, что моя жена не только не была хозяйкой притона революционеров, но даже и одной ночи не провела в доме, где была арестована. Она только зашла в дом, как явилась полиция и арестовала всех, кто там находился, а находились там, волею случая-с, люди посторонние, что скоро же разъяснилось, и всех отпустили, кроме жены, которая объявила принадлежащими ей найденные при обыске тюки с недозволенной литературой.

— Почему же она это сделала?

— Это трудно объяснить... Тут надобно говорить о наших отношениях, то есть наших с женой. Если угодно, я постараюсь объяснить, но не это важно. То есть и это важно, потому что мотивы, и мотивы, обеляющие жену, но важнее то, что она ф а к т и ч е с к и не виновна.

Ее самооговор легко опровергнуть. Местные власти, где разбиралось дело, не стали особенно вникать, хотя уже одно сопоставление ее показаний и показаний тех лиц, которые были арестованы вместе с нею, доказывает, что не она была хозяйкой дома...

— А почему она оказалась в этом доме? Она знала или не знала, куда и к кому направлялась?

— Знала! Она направлялась с намерением, не стану скрывать, примкнуть к той группе, которая занималась контрабандой литературы. Адрес она достала здесь, в Петербурге. Но она ни с кем из тамошних радикалов не была знакома, и неизвестно, как бы ее там приняли, доверили бы ей дело! За что же ее наказали так строго? Закон карает не за намерение, за деяние. Она же не успела ничего сделать. Деяния не было!

— Откуда это вам известно? Кстати, дело решилось еще минувшей осенью, почему вы только теперь стали хлопотать?

— Я только теперь обо всем узнал. Долго не имел о ней никаких вестей. Жена меня бросила... простите, ваше сиятельство, эти подробности... Она порвала со мной вскоре после того, как меня освободили, и все это время я ничего о ней не знал. Сидел в Томске, ни с кем не виделся, не переписывался. А несколько дней назад, вернувшись в Петербург, встретил знакомых... — он озабоченно посмотрел на Шувалова, — и все открылось.

— Кого же вы здесь встретили?

— Ваше сиятельство! Позвольте-с не называть имен. Эти мои знакомые не причастны к конспирациям. Они сообщили известные им факты, только. Обращаюсь к вашему великодушию: верьте мне! Я, кажется, уже имел случай заслужить ваше доверие. Вся вина моей жены состоит в намерении пострадать за других, что она и исполнила, вот все! Это сумасшествие, как угодно назовите, но не политическое преступление. Она, извольте видеть,

оскорбилась, узнав о моих показаниях, взяла себе в голову, что я виноват перед товарищами, стало быть виновна и она, и наложила на себя эту епитимью...

— Как она узнала о ваших показаниях? Вы сами все рассказали?

— Рассказал. Так что же? Почему вы спрашиваете? Разве я обязан был молчать об этом?

— В вашей среде как будто не жалуют тех, кто дает откровенные показания.

— В нашей среде, как и в вашей, есть люди рассудительные и есть фанатики и доктринеры. Я не сделал ничего бесчестного. В своих показаниях я назвал несколько лиц, которых не мог не назвать, раз взялся составить общую картину движения, но я полагался на ваше слово, вы обещали их не трогать и не тронули же. Я не чувствую своей вины перед товарищами, я действовал в общих интересах...

— Это вы заявляете мне? Вы не забываетесь, Любецкий?

— Нет. Представленная мною картина движения не могла не побудить правительство взглянуть на дело серьезно. И, кажется, я не ошибся в расчете. Оправдательный приговор по делу сибиряков и иных групп, судившихся здесь, для меня свидетельство этого. Так же и сумма, которую вы изволили оценить мои показания, доказывает, что высказанное мною принято к сведению. Или, может быть, я ошибаюсь?

Шувалов засмеялся, встал, рывком потянувшись к окну, дернул за толстый, в два пальца, шелковый шнур, приспустил несколько атласную гардину, чтобы солнце, вдруг проглянувшее, не слепило бедного Любецкого, и снова сел:

— Ну, хорошо. Так чего же вы хотите? Чтобы я вызволил вашу жену из ссылки, а она воспользовалась этим и снова отправилась к тем же контрабандистам? Уж

теперь ее, вероятно, приняли бы в дело, можно не сомневаться?

— У нее больной ребенок, ваше сиятельство. К тому же она беременна. Куда она отправится? Родных у нее нет, я увезу ее к своей матери в деревню. В ссылке она пропадет. И ребенка погубит. Она пишет оттуда отчаянные письма всем знакомым...

Любецкий уныло умолк. Шувалов посмотрел на часы: пора во дворец, доклад у государя, только заехать домой переменить мундир. Но не хотелось, как ни странно, сворачивать разговор с этим незадачливым нигилистом, чем-то он располагал к себе. Шувалов вышел из-за стола, встал перед поднявшимся Любецким, который оказался повыше его ростом, а все-таки засматривал ему в лицо исподлобья, как бы снизу вверх.

— Знаете, в чем ваша беда, Любецкий?

— Да?

— Вы до сих пор так и не сделали выбора между нами и нигилистами. Пора бы определиться. Я человек прямой и скажу вам прямо: пропадете вы, если и впредь будете пытаться сидеть между двумя стульями. В политике это невозможно. Ну что вас связывает с ними? Недовольство правительством, которое будто бы изменило политике реформ? Я помню наш с вами прежний разговор, вы именно это выставляли главной из причин социального движения. Да ведь это неправда. Такое мнение в вашей среде происходит или из неведения, или из умышленно распространяемого вздора, выгодного эмигрантам бакуниным и лавровым. Процесс реформирования России не прекращался. Да его и невозможно было бы прекратить, если бы кто действительно пытался это сделать. Всем ходом вещей Россия вовлекается на единый для всех европейских стран путь развития, это неодолимый закон. Правда, на этом пути у нас особые трудности, между прочим, усугубляемые безрассудством ваших

каракозовых и нечаевых. Но правительство не намерено идти вспячь. Напротив. Взгляните сюда.

Шувалов указал на грудю объемистых томов в синем переплете и кипу больших корректорских листов на своем столе.

— Вот документы чрезвычайного значения. Это результаты трудов комиссии статс-секретаря Валуева по исследованию сельского хозяйства в России, которую сам Валуев не без оснований называет парламентской,— Шувалов сделал многозначительную паузу.— В этих синих книгах содержатся полные и объективные сведения об экономическом и нравственном положении России, каким его сделало 19 февраля, со всеми проявившимися за истекшие двенадцать лет уродливыми явлениями, которые, как вытекает из подготавливаемого теперь комиссией обобщающего доклада, требуют радикального лечения. Для лечения выявленных язв решено, сообщая вам это доверительно, что вопросы, исходящие из заключений комиссии, очень скоро, может быть, еще в нынешнем году или в начале будущего, послужат предметом длинного ряда прений в законодательном порядке в Комитете министров с участием в них членов от земства, которые призваны будут сюда по выбору (подчеркнул он голосом) самих земств, а не как эксперты, назначенные правительством.

Шувалов смотрел на Любецкого смеющимися глазами. Его красивая, чуть задетая сединою голова была гордо закинута назад, он наслаждался эффектом, произведенным его словами. Видно было, дело, о котором он только что поведал, было для него не чужим, его личным делом, к которому он относился чрезвычайно горячо.

— Вы имеете сказать... правильно ли я вас понял?.. что это начало конституции? — неуверенно произнес Любецкий.

Шувалов улыбнулся:

— Теперь уже очевидно, что для России это последнее самодержавное правление. Сила вещей такова, что вынуждает правительство воззвать к живым силам страны. Вот вам — поле деятельности. Не нужно киснуть в подполье, страна нуждается в энергичных образованных работниках. Идите к нам, Любецкий, под это знамя реального прогресса. Идите открыто, никого не бойтесь. Поверьте искренности намерений правительства, моей искренности, наконец. Доверьтесь мне. Господи, как просто было бы разрешить социальный вопрос, если бы общество доверяло своему правительству, не вынуждало его тратить громадные усилия на борьбу с нарушениями законного порядка. Ну, скажите, почему не удается вашим нигилистам, отчего не подождать, когда социальный вопрос разрешится естественным ходом вещей, когда его разрешим мы, те, кто ныне ведет государственный корабль? Да вот это-то они и не могут перенести, амбиции мешают. Ах ты, господи, как все неразумно, ничтожно. Хотите, я дам вам место у себя? — вдруг круто переменял тему Шувалов. — Да не в Третьем отделении, не пугайтесь, — засмеялся, заметив выражение растерянности на лице Любецкого. — Лично у меня. Мне нужен технолог для моей фабрики в Нарголове. Поразмыслите над тем, что я вам сказал. И перестаньте играть со мною в прятки. Угодно вам от меня услышать, каких знакомых вы встретили по приезде в Петербург и о чем беседовали в первый же день?

Посмеиваясь, взял с круглого столика одну из папок, принесенных Филиппеусом, раскрыл на закладке, которую вложил, когда просматривал дела перед появлением Любецкого, и стал читать:

— «12 марта в 5 часов пополудни проживающий в кв. 7 братьев Топорковых в д. 7 по Кронверкскому студент Плотников был замечен вышедшим из дома, дойдя до Императорского лицея, нанял извозчика... спустя два часа на извозчике, панятом у Николаевского вокзала,

вернулся с молодым человеком по фамилии Левский или Любский (уточняется)»... Уточнилось, не правда ли? — насмешливо посмотрел на испуганного, подавленного Любецкого, — «...прибывшим, по словам извозчика, вероятно, с московским поездом и оставившим вещи (чемодан и сак) в Знаменской гостинице... к Топорковым явились еще двое из коммуны Ивановского (Большая Монетная, дом 9) и две неизвестные девицы, горячо толковали об уехавшем в первых числах сего марта месяца в Москву Александре Васильевиче Долгушине, заведовавшем здесь мастерскою жестяной посуды сыропромышленника Верещагина, переведенной ныне в Москву, о свидании с которым (Долгушиным) в Москве рассказывал гость. Долгушин в кружке коммунистов играет, по-видимому, довольно видную роль...» Кстати, а что же заставило Долгушина переехать в Москву, ведь он, кажется, больше у Верещагина не служит?

— Не служит, — покорно ответил Любецкий; он был в мучительном недоумении, трудно освобождаясь от тяжелого впечатления, произведенного на него цитацией из агентурного донесения, хотя в то же время вполне сознавая общий положительный для себя результат свидания с его сиятельством. — Впрочем, не знаю наперное. Я виделся с ним мельком. Встретил случайно, не успели поговорить, спешил на поезд...

— Да бог с вами, не оправдывайтесь, Любецкий, — вздохнул Шувалов и бросил папку обратно на круглый столик. — По вашему прошению зайдите справиться к господину Филиппеусу в начале следующей недели. Теперь прощайте. Подумайте о том, о чем мы с вами говорили.

...Около полуночи, возвращаясь домой после раута, бывшего у германского посланника, при выезде с Дворцовой набережной на Миллионную, заметил Шувалов в свете углового фонаря смутную фигуру своего утреннего посетителя. Любецкий был как будто в какой-то

нерешительности, беспокойно оглядывался, то ли в нетерпении поджидал кого-то, то ли, от кого-то уходя, выбирал направление, куда бы броситься бежать. Увидев карету Шувалова, он быстро пошел в сторону Царицына луга, во тьму. Когда повернули за угол, уже никого не было ни на перекрестке, ни на улице.

Но у самого дома Шувалова, когда карета остановилась и от толчка качнулась опущенная шторка левого окна и в карету проник свет от фонарей, разнесенных вдоль всего фасада дома, в этот миг к стеклу прикикло с улицы чье-то белое, бескровное, напряженное лицо с большим выступающим лбом, кончик короткого, нервно вздернутого носа слегка расплющился на стекле, и оно тут же запотело, секунду тревожные глаза шарили по внутреннему пространству кареты, пытаясь найти пассажира и не находя его в темноте кареты, и опять Шувалову показалось, что это Любецкий; но тут шторка вновь качнулась и закрыла окно. Выскочив из кареты, Шувалов обошел ее кругом, но никого вокруг, ни у кареты, ни на улице, покуда хватало света фонарей, не было видно. Недоумевая, пошел он к подъезду, там швейцар уже открывал перед ним тяжелую дверь.

В конце марта ранним, не по-весеннему очень холодным утром Любецкий с подорожной, выданной ему по распоряжению шефа жандармов до Архангельска и далее до места отбывания ссылки его женой Елизаветой, выехал из Петербурга, намереваясь вывезти жену и сына с места ссылки к себе на родину, Шувалов телеграфировал в Архангельск об освобождении Елизаветы. Перед отъездом из Петербурга Любецкий побывал в Парголово, взявшись выполнить поручение Шувалова на его фабрике, деловое поручение, давшее Любецкому деньги на проезд в Архангельск и оттуда в Томск, на родину.

В это же самое морозное мартовское утро в Мезени Архангельской губернии, месте своей ссылки, Елизавета Любецкая, Лиза, почти не спавшая эту ночь, как и длинный ряд других ночей, пока болел ее сын, забывшаяся тяжелым сном только под утро, проснулась от леденящего холода и от мучительного предчувствия, которого с паническим ужасом ждала все эти дни, понимая, что судьбу обмануть не удастся, и обреченно готовясь к неизбежному, и все-таки еще надеясь на чудо. Ее сын, четырехлетний мальш, болел всю зиму, чах на глазах, ему нужно было молоко, нужен был хороший уход, тепло, здоровый воздух, где все это было взять в этом убогом гиблом месте? Безумием было тащить его сюда с собой, ей, разбитой жизнью, к тому же в положении, без денег, без надежды на чью-либо помощь, а с кем было оставить его там, в России? Жизнь не удалась, и она, Лиза, сама была во всем виновата. Но мальчик, бедный мальчик, ему за что суждена такая судьба?.. За окном гудел ветер, что-то билось о ветхую стену избенки, сильный сквозняк шел откуда-то сверху, задувал в избу сухие колючие снежинки, должно быть, ветром разворошило солому на крыше. Но леденящим холодом веяло не оттуда, не с крыши, этот холод вызывала особенная неподвижность сына, лежавшего рядом.

Она соскочила с нар, немеющими руками зажгла свечу, торопясь, стала разматывать тряпки, в которые был укутан ребенок, опасаясь коснуться его лица, его ручек своими руками, опасаясь почувствовать тот — особенный — холод, еще на что-то надеясь, неизвестно на что... и все-таки коснулась, и почувствовала... И это было последнее, что она почувствовала в жизни. Нестерпимая боль вспыхнула в мозгу, в сердце, полоснула внизу живота, от этой боли она не смогла удержаться на ногах, села на иол, а когда поднялась, она уже сама была за чертой, разделяющей живых и мертвых, хотя еще дышала, двигалась, что-то еще помнила. Все, что

она делала потом, она делала механически, не отдавая себе отчета, тупо, безразлично.

Весь день она просидела над сыном, согнувшись, обнимая его за хрупкие плечики, покачиваясь вперед-назад, впитывая в себя эту особенную хрупкость маленького тела, его отзывчивую податливость... мальчик всегда был тих и кроток и теперь будто спал, глубоким и безмятежным сном спал в ее руках... а когда стемнело, укутала сына теплее, перекрестила, вышла в сени, вытащила из ниши над дверью тряпичный сверток, с трудом развязала окоченевшими пальцами, освобождая револьвер, выбралась из избы. Спинай прижимаясь к бревенчатой стене, поползла вдоль стены, пока не уперлась боком в выступы поперечных венцов, здесь опустилась на снег, на ледяные комья, слегка припорошенные свежим снежком, легла, скорчившись, уперев рукоятку револьвера в мерзлый ком, чтобы нажать на тугую скобу пальцами обеих рук, навалилась грудью на ствол и нажала на скобу. Боли так и не почувствовала...

Когда Любецкий добрался до Мезени, Лизу уже с неделю как похоронили. Похоронили ее, как самоубийцу, за оградой кладбища, насыпали холмик земли, за неделю его занесло снегом, церковный сторож с трудом отыскал его среди других таких же безвестных холмиков.

Он ее не винил, не упрекал, не слал ей вдогонку проклятий. Не она была виновата в том, что произошло, виноваты были условия ее странной жизни, ее воспитания в коммунах сверстников и сверстниц, в которых она не могла не заразиться мечтой жертвенного служения фантастическому делу. Виноваты были те, кто увлек ее на эту безумную дорогу,— Долгушины, Ткачевы, Флеровские... Но виноваты были и эти, в однобортных мундирах густого зеленого цвета, один из которых ходил бок о бок с Любецким весь день по улочкам Мезени, опора убогой жизни, неприятие которой, здоровое, естественное непри-

ятие не могло не возбуждать в юных головах дерзких мечтаний. Виновата была сама жизнь...

Сопровождавший Любецкого околоточный надзиратель Зеленый (представился с довольным смешком, радуясь соответствию своей фамилии цвету своего мундира) считал Любецкого особо доверенным лицом шефа жандармов, поскольку его появлению в Мезени предшествовала внушительная бумага из Архангельска, которой, со ссылкой на волю шефа, местные власти обязывались оказывать Любецкому в его ходатайствах всевозможное содействие, и все разговоры Зеленого с Любецким были сплошным панегириком в адрес Шувалова, новации которого по петербургской полиции в бытность его столичным обер-полицмейстером благотворно отозвались на состоянии местной полиции. Это раздражало Любецкого, ему было не до Шувалова, хотелось остаться наедине со своими мыслями, притом Зеленый удивительным образом мало что знал о том, как жила Елизавета, он даже до самой ее смерти не знал, что она была беременна, хотя она регулярно, раз в месяц, являлась в полицию за пособием. Впрочем, мало что знали о ее жизни и здешние ссыльные, двое поляков, с которыми Елизавета почему-то не поддерживала отношений. Жила она замкнуто, почти не выходила из дому. Изба, в которой ее поселила полиция, принадлежала какому-то бобылю-охотнику, который с осени ушел па промысел и пронал, до сих пор не давал о себе знать. Вот все, что узнал о жене Любецкий. История ее беременности так и осталась для него загадкой.

Назойливо-предупредительное отношение Зеленого удивляло Любецкого, как-никак он был мужем ссыльной нигилистки, но, значит, безмерен был авторитет прикрывавшей его силы, если это обстоятельство не вредило ему в глазах честного служаки. Впервые в жизни Любецкий чувствовал себя представителем державной силы, которой нет ничего недоступного, которая сама себе закон,

и нельзя сказать, чтобы ощущение этого своего могущества не было ему приятно.

Он решил испытать свою власть на полицейском. На другой день после приезда в Мезень, утром, в очередной раз приведя Зеленого с собой на кладбище, на могилу Елизаветы, он сказал ему внушительно, глядя на него в упор, показав на могилу:

— Вот что надо... надо перезахоронить... и немедленно. **Н а д о**, — повторил он с нажимом. — Туда (показал рукой на кладбище)... рядом с могилой ее сына. **П о н и м а е т е ?**

— Слушаю-с, — ответил полицейский. — Понимаю. Будет исполнено.

И исполнил. Почему и кому это было «надо», этим вопросом он не задавался, даже не счел нужным справиться у своего начальства, можно ли это исполнить, отдал необходимые распоряжения, и к концу дня дело сделалось.

На следующий день, в субботу, в канун пасхи, поставив крест над новой могилой Елизаветы, Любецкий выехал из Мезени.

2

В субботу 7 апреля, накануне пасхи, в Москве близко к вечеру по Большой Никитской ходко проехала простая безрессорная линейка, по обе стороны ее плотно сидели пассажиры не важного звания. У дома Кохановского (меблированные комнаты) с линейки соскочил на ходу небольшого роста молодой человек в русском костюме, темноглазый, темноволосый, с бородкой и усами, с высоким интеллигентным лбом, Александр Долгушин, бывший студент. Легко взбежал на деревянное крыльцо, бегом поднялся на второй этаж.

— Так что, Аграфена Дмитриевна, поздравляю вас помещицей! — весело сказал, входя в переднюю и еще не видя жены. — Где ты, Грета? Сашок? Ау!

В передней их не было, не было и в комнате, перегороженной ширмами на три части — «кабинет» Александра, их с Аграфеной спальню и угол маленького Саши.

Долгушин вышел в коридор, ведущий на хозяйскую половину. Из хозяйской кухни из-за закрытой двери приглушенно доносились озорной смех Сашка и шлепанье ладошками по воде, сердитые окрики Аграфены и притворно-сердитые, в тон барыне, окрики хозяйской прислуги Марьи, — ясно, там купали Сашка. Долгушин пошел к кухне, распахнул дверь.

Как в бане, стоял там густой туман, весь пол был залит водой, заляпан белыми хлопьями мыльной пены, Сашок бесенком вертелся в круглой деревянной лохани, расплескивая воду, обе женщины пытались его утихомирить, ловили за руки, поливали из кувшина свежей водой.

— Исполнено, Гретхен! Завтра идем к Кириллу Курдаеву, и пусть он... — торжествующим тоном заговорил Александр, но Аграфена его перебила.

— Закрой дверь! Простудишь ребенка, — крикнула она, не поворачиваясь к нему. Он закрыл дверь. Аграфена посмотрела на него с недоумением, не отпуская шалившего ребенка. — Что исполнено?

— Получил деньги на землю, завтра же пойдем к Курдаеву, и пусть он нас свозит к этому крестьянину, который продает пустошь в Звенигородском уезде. Посмотрим, что за пустошь. Понравится место — будем строить дачу. Завтра и поедем не откладывая.

Аграфена смотрела на него с тем же недоумением и вместе недоверием, и он пояснил:

— Деньги мне дал заимобразно Виктор Тихоцкий. Лично мне дал, — уточнил он. — Отдам, когда смогу. Он, кстати, сейчас придет, не худо бы сообразить самовар и баранок, что ли, к чаю.

— Подожди, мы сейчас кончим, поговорим, — туманно заявила Аграфена.

— Эвон, барыня, как хорошо-то все обернулось. На землю сядете, куда как хорошо-то, что же лучше-то? — запричитала Марья, радуясь за квартирантку.

— Уж не знаю, хорошо ли, нехорошо,— озабоченно проговорила Аграфена, снова принимаясь за сына, протестующе заверещавшего в ее твердых руках.

Долгушин вернулся в комнату, открыл окно, в комнату вместе с острым свежим воздухом (пахло уже не снегом, успевшим растаять за неожиданно теплую страстную неделю, волнуяще пахло самой оживавшей, обнажавшейся землей) вошел ровный вдумчивый звон колоколов ближних и дальних церквей; теперь, в самый канун пасхи, этот звон казался еще более отрешенным от всего земного, еще более значительным. Долгушин лег грудью на подоконник, радостно вдыхая ароматы близкой земли, прощающимся взглядом озирая открывавшуюся из окна второго этажа панораму соседских дворишков, садов, огородов, его окно выходило во двор, стал вслушиваться в гул колоколов, пытаясь различить голоса знакомых церквей, но, похоже, в этот ранний вечерний час немногие церкви звонили, кроме колокола ближайшей церкви Воскресения за Никитскими воротами, других знакомых голосов не слышал. Подумав о том, что скоро сюда принесут распаренного Сашка, закрыл окно, достал из красного комода с множеством ящичков, единственной солидной дорогой вещи в комнате, небольшую рукопись, десятка два мелко исписанных, сильно исчерканных листков, занялся ею в своем «кабинете». С горделивой улыбкой поймал себя на том, что вчитывается в текст теперь совсем по-особому, не так, как вчитывался вчера и все эти бесполезные четыре недели, прожитые в этом старом московском доме.

Аграфена и Марья внесли разомлевшего притихшего мальчонку, стали укладывать его за ширмой. Александр, улыбаясь, прислушивался к их мирной возне, ласковому

препирательству, ждал, когда сын уляжется и позовет его к себе, потребует сказку. Было еще рано, но они с Аграфеной еще утром условились уложить сегодня сына пораньше, чтобы скорее освободиться от домашних забот, оставить ребенка на попечение Марьи и пойти в Кремль, встретить ночь светлого праздника в Кремле, в самом центре народного гулянья, будто бы, говорили москвичи, какого-то необыкновенного, характерного московского.

— Папа! Расскажи про тележку,— позвал сын, и Александр пошел к нему, мальчик уже лежал на своей кушеточке, розовый, светящийся, голова обвязана платком, с острым любопытством глядел на отца.

— Только чтобы не очень страшное и поменьше прыжков и скачков, а то ребенок опять всю ночь будет вскакивать,— предупредила Аграфена. Они с Марьей удалились обратно на кухню, и Александр присел на кушетку.

— Я тебе сегодня расскажу про то, как наша тележка землю пахала, сделалась самоходной сохой. Вот, значит, выехала она из Тулы-города...— стал рассказывать Александр с того места, на котором прервался рассказ прошлую ночь.

— Постой! — требовательно остановил его сын.— Как она сделалась сохой, она, что ли, сделалась лошадкой?

— Погоди, узнаешь. Так вот, выехала она за городскую заставу, видит, на краю непаханого поля сидит молодой мужик и плачет. «Что ты, мужичок, плачешь? — спрашивает.— Ай горе какое приключилось?» «Как не горе,— отвечает мужик,— была у меня одна лошадь, и та нала. Осталось поле невспаханное, незасеянное, чем семью буду кормить, налоги платить? Не ведаю...» «Не плачь,— говорит тележка,— слезами горю не поможешь. Лучше покажи мне свою соху, а уж я подумаю, как горю пособить...»

Рассказывал Александр ровным голосом, без запишки, будто читал по книжке, хотя еще не знал, что будет

дальше, придумывая сюжет по ходу рассказа. Эту сказку о самоходной паровой тележке, которую в сказке изобрел и построил товарищ Александра по Технологическому институту Лев Дмоховский и пустил в странствование по дорогам России, Александр рассказывал сыну каждый вечер вот уже месяца два подряд. В какие только переделки ни попадала самоходная тележка, с какими людьми ни встречалась, но всегда и везде была она помощницей бедным и слабым, защищала их от богатых и сильных...

Мальчик еще не уснул, и Аграфена еще не вернулась с кухни, все прибиралась там, когда пришел Тихоцкий, статный, стройный, с развернутыми плечами, ростом и осанкой конногвардеец или, пожалуй, бурш-дуэлянт, если взять в соображение какие-то царапины у него на лбу и щеке, будто и правда от ударов студенческих рапир, и то, что несколько лет он учился в каких-то немецких или австрийских университетах, изучал медицину и еще что-то. На звонок колокольчика ему открыл сам Долгушин, и пока поднимались по темной, шаткой и скрипучей лестнице, Долгушин впереди, Тихоцкий следом за ним, Долгушин успел еще раз предупредить Тихоцкого (днем уже предупреждал, когда Тихоцкий передавал деньги и они договаривались снова встретиться вечером у Долгушиных):

— О типографии — ни слова. Можно говорить о прокламациях Флеровского и моей, о самой пропаганде, только не о типографии. Помни, пожалуйста: мы не собираемся делать ничего противозаконного. Поселяемся в деревне для удобства жизни на земле и среди народа, вот все. Пусть она немного успокоится. А там проживем — увидим.

— Но она читала твою прокламацию?

— Читала.

— И что же?

Долгушин засмеялся:

— Неизданная рукопись — какая крамола? Но Грехен боится. Ее можно понять. Эта история с бедной Любецкой...

Они уже поднялись наверх, и Долгушин умолк. Маленький Саша лежал у себя за ширмой тихо, засыпал. Александр усадил Тихоцкого в «кабинете», не теряя времени, взял в руки листки, — днем, договариваясь о встрече, решили, что вечером вместе прочтут прокламацию Долгушина, которую тот начал еще в Петербурге и дописывал здесь, в Москве, и которой Тихоцкий еще не читал.

— Сам будешь читать? — спросил Тихоцкий, оглядываясь. Он сидел за простым квадратным столом лицом к окну, частью отгороженному ширмой, Долгушин устроился у самого окна, возле какого-то ящика или сундука, на котором лежали книги, среди них Тихоцкий узнал свой экземпляр «Капитала» Маркса в русском издании, подаренный им Долгушину еще в прошлом году в Петербурге, когда книга только вышла в свет, книга лежала поверх других книг, была вся в закладках, видно, постоянно открывалась; стол и четыре венских стула, этот ящик или сундук и книги — вот все, что было в этой части комнаты.

— Это пока черновик, много зачеркиваний, ты ничего не разберешь, — ответил Долгушин.

— Может быть, подождем Аграфену Дмитриевну? — деликатно предложил Тихоцкий.

— Времени нет, — нетерпеливо возразил Долгушин.

И он начал читать. Это было написанное простым разговорным языком, с легкой, осторожной стилизацией под народную речь обращение к крестьянам, напомнившее Тихоцкому известную ему прокламацию Чернышевского «Барским крестьянам». Оно не повторяло прокламацию Чернышевского, тексты различались существенно, программной своей частью, построением, но было между

ними и общее. Особенно напоминали Чернышевского места, где разбиралась суть крестьянской реформы, обобравшей крестьян.

— «...По справедливости-то как бы следовало?.. — читал быстро и тихо, почти шепотом, чтоб не разгулять засыпавшего ребенка, Долгушин.— Следовало бы освободить крестьян, наделить их в досталь земель, помочь им на первое время, пока они не обзавелись всем нужным для хорошего хозяйства,— да и все тут. Вот тогда бы они действительно вольными стали, а теперь где же воля? Плохие наделы, большие оброки, обида кругом да и только... да нешто это воля? Полно! Это та же неволя, еще пуще прежней... Так распорядился царь и дворяне. Нечего сказать, себя не забыли...»

Почти по Чернышевскому говорилось в прокламации о том, что народ все-таки сильнее всех дворян вместе с их войском и, если бы он поднялся, как один человек, против своих угнетателей, они бы с ним ничего не могли поделаться. Прокламация и призывала народ восстать против несправедливых порядков, предварительно, однако (так и у Чернышевского), «сговорившись и согласившись», чтобы «действовать дружно», а не «брести врозь». Напоминал Чернышевского и совет, как добиться общего согласия: «Да вот как: ежели одно общество согласилось,— читал Долгушин,— пускай оно пошлет от себя выборных в другое общество, чтобы согласить его действовать заодно; коли оно согласится, тогда послать выборных от двух обществ к третьему, и так дальше — больше, из деревни в деревню, из села в село, из волости в волость, из уезда в уезд...» И даже называлась прокламация схоже с прокламацией Чернышевского — «Русскому народу».

Отличало воззвание Долгушина от прокламации Чернышевского прежде всего то, что написано оно было в иную эпоху. «Барским крестьянам» составлялась,

когда только была объявлена крестьянская реформа и об ожидавшихся последствиях ее приходилось говорить предположительно, теперь, спустя двенадцать лет после ее объявления, можно было подвести итоги. И они подводились в воззвании («та же неволя, еще пуще прежней»). Крестьяне «задавлены поборами», «только и знают, что платят», причем в пореформенные годы развелись, в придачу к прежним притеснителям народа, дворянскому правительству да чиновникам, новые притеснители, богачи-капиталисты, обирающие «до зла-горя рабочих людей», ничем не брезгающие ради наживы, «они обсчитывают, обвешивают, обмеривают, штрафуют, дают людям бедным, беспомощным хлеб и деньги под тяжкие проценты». Дух наживы захватил и церковь христову, ее служители, «забыв всякий стыд, даром молитвы не прочитают».

Со ссылками на Евангелие проводилась в воззвании мысль об исходном равенстве людей и ею обосновывалось право бедных на восстание. «И разве у людей не одинаковы потребности? Нет! мы знаем, что все люди равны от рожденья, и уж от природы наделены неотъемлемыми правами... все люди равны; этому учил и божественный учитель Иисус Христос... Будем же твердо стоять за наше святое дело,— за освобождение народа от угнетателей...»

Заканчивалась прокламация программой действий.

— «...Надо ясно обозначить,— переходил к этой части прокламации Долгушин,— чего мы хотим, чтобы всякий знал, в чем наше дело, и видел, что оно правос и не зря мы как-нибудь за него принимаемся. И так мы требуем, во-первых...»

В комнату вошла Аграфена, и Александр остановился, досадуя на помеху; однако он постарался, сделав над собой усилие, никак не выразить досады. Аграфена подошла к Тихоцкому, поднявшемуся ей навстречу.

— Виктор Александрович, извините, я слышала, как вы пришли, да не могла вас встретить, была занята на кухне. Саша уснул? — посмотрела она на Александра, тот кивнул, но неуверенно, и она, извинившись перед гостем, пошла к мальчику и через минуту вернулась. — Спит. Виктор Александрович, так вы правда дали деньги Александру без всяких условий, на личное употребление?..

— Помилуйте, Аграфена Дмитриевна, какие условия? — развел руками Тихоцкий.

— Я имею в виду — не на общественное дело?

— Какое же общественное дело?

— Да не собираетесь ли вы здесь, в Москве, устроить типографию под видом дачи?

— Почему типографию?

— В Петербурге столько говорили о типографии. Даже, кажется, уж и купили станок. Только почему-то дело у вас там не пошло. Александр мне всего не говорит, да ведь догадаться нетрудно.

— А что вы имеете против станка, Аграфена Дмитриевна?

— Не хочу еще раз испытать прелестей одиночного заключения, Виктор Александрович. Довольно одного раза. Притом у меня ребенок. Вы слышали о гибели Лизы Любецкой?

— Не беспокойтесь, Аграфена Дмитриевна, я дал деньги Александру именно на землю под дачу. Вы же хотели поселиться в деревне? Купите землю, постройте дачу, Александр будет заниматься сыроварением и проповедовать среди местного населения социализм, вы — акушерствовать, а мы, ваши друзья, — гостить у вас. Уединения у вас с Александром не будет, Аграфена Дмитриевна.

— Будет ли так, как вы говорите? — вздохнула Аграфена. — Вы надолго в Москву?

— Завтра уезжаю в Харьков, к себе в имение.

— Мы собираемся пойти на Красную площадь — хотите пойти с нами?

— Пойду с удовольствием.

— Сейчас я напою вас чаем и отправимся, пожалуй.

Аграфена ушла на кухню, и Тихоцкий с Долгушиным вернулись к прокламации, к программе. Для того чтобы народу устроить жизнь свою по правде, довольно было бы, говорилось в прокламации, добиться исполнения хотя бы следующих шести требований: необходимо уничтожить оброки — выкуп земли, произвести передел всей крестьянской, помещичьей и казенной земли и распределить ее «между всеми по справедливости, чтобы всякому досталось, сколько надобно», рекрутчину заменить всеобщим обучением военному делу, завести хорошие народные школы и добиться общей грамотности, уничтожить паспорта, главное же — ввести выборную и сменяемую подотчетную народу власть.

— «...Мы не хотим, чтобы всеми делами заправляли дворяне... А хотим мы, чтобы управлял сам народ через своих выборных; чтобы правительство состояло не из одних дворян только, как теперь, а из людей, избранных самим народом; за ними народ будет наблюдать и спрашивать с них отчет и сменять их, когда будет нужно. Такое правительство будет делать только то, что полезно народу, а чуть оно вздумает сделать что-нибудь вредное, — его остановят и сменят...»

Когда Долгушин кончил чтение и стал складывать листочки, Тихоцкий удивленно спросил:

— Помилуй, ты зовешь мужиков добиваться поравнения по земле, но как равняться? Надо об этом прямо сказать.

— Что сказать?

— Как что? Надо же заявить наши требования — об общественном владении землей, о запрещении наемного труда...

— Кому заявить — мужику? — перебил Долгушин. — С ним нужно говорить о вещах, ему понятных. Передел земли и отмена выкупа — этого больше чем достаточно.

— Но о своих убеждениях должны мы заявить? Просто нечестно было бы умолчать об этом...

— Об этом мы заявим, только в другой прокламации. Обращенной к интеллигентным людям.

— Ты напишешь?

— Напишу.

— И все-таки, мне кажется, следовало бы это сделать теперь.

— Не уверен. Впрочем, я подумаю.

— Подумай. А, в общем, твоя прокламация мне больше нравится, чем брошюра Флеровского. У него не прокламация, а проповедь, будто перевод из аббата Ламенне. Ну что это: «Слушайте, люди, правду великую, — стал читать по памяти Тихоцкий, — только тогда вы счастье изведаете, радость светлую без горести, когда полюбите друг друга любовью сладчайшей и от любви друг к другу сладостной не захотите вы друг над другом возвышаться, а возжелаете все быть равными...» Кто это станет читать? И ты хотел это напечатать?

Долгушин усмехнулся, ответил:

— Там не только это. Там хорош прямой призыв идти в народ и поднимать его на борьбу. Если Дмоховский сумеет издать эту брошюру в Женеве, мы и ее будем распространять. А может, и перепечатаем. Только попросим Василь Василича сократить. Кстати, в его брошюре как раз сказано об общественном владении землей и о беззаконии наемничества.

— Сказано смутно.

— Но все же сказано...

— Сказано так, что не поймешь, он за общественный принцип владения или за поравнение на основе индиви-

дуального владения. И, во всяком случае, у него ничего нет о замене индивидуального труда артельным.

— Этого нет.

— То-то и оно. И название: «О мученике Николае». Мужик прочтет и решит, что это о святителе Николае. Намек на Чернышевского не для его разума. Стало быть, его внимание будет направлено на пустяки...

Вошли Аграфена и Марья, которая внесла самовар, поставили самовар в «кабинете», зажгли свечи, напились чаю и пошли со двора.

3

Ближе к полуночи умолкли церковные колокола, окончились службы, во всех приходах готовились к великой заутрене, московский люд стягивался к церквам, заранее занимали самые удобные места посреди храмов, куда еще в пятницу — страстную пятницу — вынесли из алтарей плащаницы и отгородили бархатными веревками, в полночь сюда не протиснуться.

Ночь была тихая, теплая, площадь Успенского собора в Кремле, когда на нее вышли Долгушины и Тихоцкий, была полна народу, у всех в руках были свечи, еще не зажженные, их зажгут сразу после полуночи, с первыми ударами Ивана Великого. На лестнице и балконах колокольни Ивана тоже был народ, стояли тесно, плечом к плечу. Драповые пальто, казакины, поддевки, кружевные пелерины, бархатные салоны, кацавейки.

— Опоздали, — смеясь, сказал Долгушин. — Оттуда, сверху, с Ивана, говорят, всего лучше наблюдать за крестным ходом. Нечего делать, останемся на площади.

— А мне хочется посмотреть службу. Пойдемте в собор! — сказала Аграфена.

Пока шли к Кремлю, по пути заглядывая в церкви, мимо которых проходили, любясь их необычно щедрым

освещением, Аграфена постепенно заряжалась легкой атмосферой праздника, отходила от своих каждодневных мучительных забот матери и жены при бессребренике муже. Несколько раз она заговаривала о даче, все никак не могла решить для себя, в самом ли деле намерен Александр устроить дачу с расчетом завести коммерческое дело, сыроварение или иное что, или это только слова, дело кончится ничем, как уже бывало с его техническими проектами. Александр уверял ее, что он действительно думает заняться сельским хозяйством, ввести артельное сыроварение на манер швейцарского или американского, сделать то же, что начал делать в России сыропромышленник Верещагин, не зря же он год прослужил у Верещагина управляющим мастерской молочной посуды, кое-чему научился, да и знания, полученные за три года учения в Технологическом институте, пора было приложить к делу. А главное, давно пора ему, Александру, войти в народную среду, натурализоваться в ней в качестве артельщика — лучшего положения для народника-пропагандиста и представить нельзя. Аграфена верила и не верила его словам, ей хотелось верить, земля, дача — это была хотя какая-то надежда на устойчивость в их с Александром нелегкой жизни. Она устала за четыре года замужества, в течение которых слишком много было всего: и радужные надежды, и арест неизвестно за что, одиночное заключение, рождение сына и дочери, и смерть дочери, и безденежье, и неопределенное положение поднадзорной...

Идти в собор, в духоту, в удушливые запахи елea и ладана, не хотели ни Долгушин, ни Тихоцкий, они провели Аграфену в храм, сами вышли на паперть, условившись с Аграфеной, что, когда начнется крестный ход, встретятся здесь, у паперти.

— Скажи, а откуда это название — «Русскому народу»? — спросил Тихоцкий, отойдя с Долгушиным не-

сколько в сторону от паперти, на которой толпился народ. — По аналогии с прокламацией Чернышевского?

— Нет. У Лаврова есть стихотворение под таким названием. Когда-то я прочел его в списке.

— У Лаврова? Что за стихотворение?

— Ходило по рукам в Петербурге после покушения Каракозова. «Проснись, мой край родной, не дай себя в снеденье.... Восстань! пред идолом ты выю преклоняешь, внимаешь духу лжи, свободный вечный дух ты рабством унижаешь, оковы развяжи!..» Злое стихотворение. А я сам был тогда ох злой...

— На кого злился, на народ, в рабстве прозябающий?

— На все на свете. Это уж потом, года два спустя, понял: одной злобой жить нельзя. Как у Некрасова: ею одной сердце питаться устало, много в ней правды, да радости мало. И тогда, кстати, женился.

— Женился — переменялся. Аграфена так на тебя подействовала?

Долгушин засмеялся:

— Нет, друг мой Виктор. Скорее было наоборот. Сперва переменялся, потом женился. Что подействовало? Кто знает. Может, тут законы возраста и ничего больше. Может, влияние поэзии, того же Некрасова например. Во всяком случае, тогда решил, что революционеру, и даже, может быть, революционеру в еще большей степени, чем обыкновенному смертному, надобно испытать обыкновенные радости земного бытия — любовь, отцовство, дружбу. Иначе как представлять за других людей перед историей? Вот каким высоким слогом мы с тобой заговорили. И Аграфена, кстати, когда мы встретились, примерно то же чувствовала, мы легко и быстро сошлись. Ах, славное было время. Ну а потом...

— А в бога ты верил когда-нибудь? В детстве?

— В бога перестал верить в гимназии, прочел Чернышевского «Антропологический принцип» — и будто ни-

когда не верил. Я человек головной, друг мой Виктор. А ты — верил в бога?

— Не знаю. В нашей семье, сколько я себя помню, о боге никогда не говорили, только о политике. Среди моих родственников, знаешь ли, есть декабристы, есть политические эмигранты. Когда я учился в Цюрихе, я жил у своих тамошних родственников, они социалисты, принципалы рабочего движения... Но бог — это ведь философия, вопрос о смысле жизни. Если устранить идею неведомого божественного промысла, что же останется, чем заместить мысль о назначении человека, отдельной личности? Идеей служения человечеству? А человечество — для чего?

— Это тебе мешает жить? — спросил Долгушин насмешливо.

— Да не то чтобы мешает... но надо же наконец разобраться... — Тихоцкий смешался, не нашелся сразу, что возразить.

— Разбирайся сколько угодно на досуге, когда он у тебя есть. У большинства же людей этого досуга нет и не скоро будет. Пусть разбираются господа Достоевские, у них это недурно получается, а мы будем думать о большинстве, о котором некому думать. Не беспокойся, не побежит это большинство резать старух-процентщиц только от того, что бог умер и никто не позаботился о подходящей заменяющей его материалистической идее, этому большинству не до высших материй, ему бы на брентную жизнь заработать. А вот если некому будет думать о его настоящем грустном положении, оно наверняка очень скоро не в силах будет обеспечивать себе земную жизнь, не то что думать о вечной... Не знаю. Для меня смысл жизни в том, чтобы раствориться в среде народа со всеми своими понятиями, знаниями, привычками, слить их с народными привычками и понятиями, и пусть воздействуют одно на другое. И если ценой такого

самоотречения нам удастся... ну да, мне и другим, кто настроен подобным образом, а нас немало и будет все больше... если удастся хотя несколько поднять самосознание народа, градус его жизненных проявлений, каждому из нас можно считать себя спасенным. Вот тебе реальное, не мифическое преодоление конечности личного существования, зачем еще бог?

— Да ведь и я принимаю эту логику и готов раздать свое имя нищим и отнюдь не по слову Иисуса Христа. И все-таки, смотри, какая это сила — вера. Смотри, как люди тянутся к церкви, — обвел Тихоцкий рукой темную площадь, по которой трудно перемещалась плотная масса людей, в густевшей темноте смутно белели лица, и народ все прибывал. — Да и мы тоже...

— Какая это сила? — перебил его Долгушин с жаром. — Это — сила веры? Это — сила жажды зрелища, развлечений. Придумай иное яркое зрелище — соберешь такие же толпы. В Испании, говорят, бои быков привлекают не меньше народу, чем церковные праздники, — в Испании, у народа самого набожного. А в Маниле — петушьи бои...

Тихоцкий засмеялся:

— Что ж, ты, конечно, прав. Тут не о чем спорить...

— Прав, конечно, прав. Но ты, пожалуйста, свое имя все-таки пока не спеши раздавать, успеешь. Считай себя управляющим первой народной экономией, доходы от которой идут на общее дело.

Разговаривая, они время от времени переходили с места на место, когда замечали, что своим разговором привлекали досужее внимание стоявших или проходивших поблизости людей. Несколько раз уже они уходили от назойливого любопытства рослого белобородого старика с ясными доброжелательными глазами, на нем была немужицкая сибирка в талию и мужицкая валяная шапка, старик все жался к ним. Заметив, что молодые люди

смотрят на него, он без смущения подошел ближе, снял шапку, поклонился:

— Извиняйте, господа хорошие, дозвольте полюбопытствовать. Не могу понять, какого вы звания будете? Одеты будто по-крестьянски, а не крестьяне. Для купцов тоже не фигуристы. Дворяне так не разговаривают, к примеру о народе так-то уважительно не отзываются, нет, и за то вам низкий поклон,— он поклонился.— Из секты какой? Да богу не молитесь и судите о нем вольно. Из каких же вы?

Долгушин и Тихоцкий невольно посмотрели друг на друга, в самом деле, по облику они были неизвестно кто, оба в поддевах городского покроя, как у старика — в талию, в косоворотках, в высоких сапогах.

Смеясь, ответил Долгушин:

— Да и ты, отец, по одежке неведомо кто, может, прасол, может, крестьянин, а ликом и по любопытству своему и разговору ни то и ни другое. Грамотен я чай?

— Грамотен.

— Бродишь по святой Руси?

— Дороги, слава богу, никому не заказаны.

— И разносишь, верно, повсюду истинное слово господа? В священном писании небось разбираешься не хуже иного попа?

— Священное писание чту, как иначе...

— Ну тогда поймешь нас. Есть одно звание для смертного: достойный человек. Недостойный — значит, еще не человек, никто. А об том, кто достоин и кто нет, судят по делам каждого. Так ли?

— Истинная правда! — проникновенно сказал старик.— Значит, дай бог вам удачи в ваших делах.

— Это нам очень нужно, отец. Спасибо,— сказал серьезным тоном Долгушин и тоже поклонился низко.

Публика вдруг задвигалась, стали спрашивать друг у друга время, далеко ли до двенадцати («Еще две

минуты... Нет, уж пора... Еще минута...»), головы стали невольно подниматься вверх, вот-вот ударит Иван Великий...

Но первыми часто и звонко, весело, победно зазвонили колокола замоскворецких церквей, и уж после них мягко и гулко, покрывая все звуки, заговорил царь-колокол.

Тотчас площадь стала быстро освещаться, зажигали свечи стоявшие на площади, затем огоньки побежали вверх по лестнице, по карнизам колокольни Ивана, по лестницам и карнизам других обступавших площадь зданий, и вот уже гигантская огненная чаша замерцала посреди Кремля под черным небом, отбрасывая колеблющиеся отсветы на белокаменные стены храмов и дворцов, — зрелище было эффектное. Наконец, из всех соборных дверей с пением потянулись пестрые сверкающие колонны крестных ходов, змеясь, втягивались в огненное море, между рядами зрителей. Над площадью, шипя и треща, поднялась в небо ракета, и с набережной Москвы-реки забухали пушки салютовавшей батареи...

4

К утру похолодало, посыпал дождик, тем не менее на московских улицах в первый день святой недели было оживленно, особенно на улицах, на которых располагались модные магазины. В этот день по традиции, бог весть когда установившейся, начиналась распродажа товаров по дешевым ценам, содержатели магазинов сбывали залежавшийся товар, и толпы народа разного звания, главным образом женщины, сновали из магазина в магазин, осаждая прилавки, заваленные штуками траченных молью тканей, грудями вышедших из моды пальто, панталонов, накидок, покупали нужное и ненужное, впрок, только потому, что дешево.

Когда Долгушины подошли к мастерской Курдаева, на Шаболовке, ни самого Кирилла, ни его жены Марьи на месте не оказалось, работник Кирилла молодой его односелец Сергей Иванов сказал, что хозяйева еще до рассвета ушли на Кузнецкий мост, к началу торгов, не собирались там долго быть, так что должны скоро вернуться. Решили ждать. Аграфена впервые была у Курдаева и попросила показать ей мастерскую, Иванов повел ее за собой. Александр пошел за ними.

Располагалась мастерская в глубоком подвале небольшого кирпичного жилого дома, было там три помещения с оконцами ниже уровня тротуара, одно занимали Кирилл с женой, к ним вход был с улицы, сюда и вошли Долгушины, в другом, проходной комнате, жили работники Кирилла, все молодые деревенские ребята, третье помещение, самое просторное, с выходом во двор, было собственно мастерской. Здесь тесно стояли грубо сколоченные массивные верстаки, отовсюду торчали длинные отрезки рельсов и стальных швеллеров, толстые стальные кругляки, на которых Кирилл и его подручные гнули, выпрямляли, загибали под нужным углом жечь, выделявая корпуса керосиновых ламп, уличных фонарей, металлические ящики. Готовые изделия стояли на широких полках, висевших вдоль глухой стены. Широкая ниша между этой стеной и крутой каменной лестницей, ведущей из подвала, была занята большими листами оцинкованного железа. Когда работали Кирилл и его помощники, грохот в мастерской стоял невообразимый, звуку некуда было деваться, двери и окна во время работы всегда были закрыты, их нельзя было открывать, по условию, которое поставил домовладелец, сдавший подвал под мастерскую.

И месяца не прошло с тех пор, как устроил Кирилл свою мастерскую, а заведение уже прочно стояло на ногах, заказов с первых дней оказалось много, Кирилл

уже подумывал о более просторном и удобном помещении, об этом он сказал Долгушину при их последней встрече. Устроена была мастерская на деньги того же Тихоцкого. Кирилл, переехавший в Москву из Петербурга вместе с Долгушиным, был подмастерьем в петербургской мастерской Верещагина и самым надежным из распространяемых Долгушиным и его товарищами рабочих. Когда хозяин мастерской объявил о переводе заведения в Москву, Кирилл решил отойти от Верещагина, вернуться к себе в деревню и ждать там пропагандистов, готовившихся идти в народ, превратить свое подворье в опорный пункт пропагандистов. Собирался он и сам вместе с ними пойти со словом пропаганды по деревням и селам, но Долгушин и Тихоцкий предложили ему устроить подобный опорный пункт в Москве, под вывеской жестяной мастерской — Кирилл был хороший жестянщик, ему предложили денег на обзаведение, и он согласился. Рабочих на первое время он взял из деревни, а на будущее, условились с ним, рабочими у него будут пропагандисты, которым для поселения в народе понадобится овладеть ремеслом жестянщика, Кирилл и будет их учить. Переселяясь из Петербурга в Москву, Долгушин вывез оттуда (Аграфена об этом не знала) типографский станок, купленный на деньги Тихоцкого и опробованный в его петербургской квартире, решили, что печатать брошюры, обращенные к народу, лучше подальше от шуваловских ищеек, размножившихся в Петербурге. Разобранный станок со всеми принадлежностями печатания и несколькими пудами шрифта в трех длинных ящиках хранился в мастерской Кирилла, в его комнате.

Пришли Кирилл и Марья, оживленные, довольные, с узлом тряпок, купленных на Кузнецком мосту. Марья тут же развернула узел, высыпала на верстак целый ворох разноцветных детских рубашечек, носочков, еще

каких-то предметов, назначения которых не знала, принялась настойчиво и цепко расспрашивать о них Аграфену, — была Марья, совсем еще юная бабенка, на первых месяцах беременности, но уже деловито готовилась к будущему. Кирилл, тоже еще молодой, сноровистый и хваткий, с шапкой густых волос, старался держаться солидно, как подобает х о з я и н у, стоял в сторонке, смотрел на жену снисходительно.

Договорились: только напьются чаю и отправятся в путь. Дождь перестал, да и был не сильный, едва ли размочил дорогу, и даже как будто уже проглядывало солнце, дул ветерок, стало быть, должна была разгуляться погода.

5

Ехать можно было по Смоленской железной дороге до станции Одинцово и там пройти верст пять-шесть до деревни Сареево, родной деревни Кирилла, или примерно столько же до деревни Самынки, Оборвиха тож, где жил крестьянин Федор Ефимов Щавелев, искавший, по словам Кирилла, покупателя на принадлежавшую ему пустошь неподалеку от Сареева. Но на утреннюю машину они уже не поспевали, нужно было ехать на лошади через Дорогомиловскую заставу, мимо Кунцевской роши и далее по Звенигородскому тракту верст двадцать.

— Ничто! — бодро сказал Кирилл. — Здесь езды на доброй лошади часа три, не больше, лошадь возьмем у монахов в Донском монастыре, я уж брал у них подводку, не задарма дают, конечно, делал им лампадки, а деньгами они не охочи расплачиваться. А не дадут — возьмем лошадь в Дорогомиловской слободе на постоялом дворе Михайлы Хухрикова, за полтину всегда можно подрядить тележку до Оборвихи.

Но тележку дали в монастыре, постелили соломки побольше и отправились.

Кирилл правил и развлекал седоков байками о своей деревне, о соседних деревнях, обо всей этой лесной стороне, начинавшейся от Дорогомиловского шлагбаума и уходившей вдоль Москвы-реки на запад от столицы. Дорога была хорошая, правда вся в подъемах и спусках, но подъемах и спусках покойных, отлогих, не утомительных для лошади. А пейзажи открывались один восхитительнее другого. Здесь сохранились еще леса исконные, нетронутые, дорога подолгу шла лесными коридорами, будто ущельями, неохватные корабельные сосны закрывали небо, а когда ущелья расступались — дорога будто повисала в воздухе, с высокого юра открывались обширные холмистые долины, русла древних высохших рек, уходившие налево к Сетуни и направо к пойме Москвы-реки; тележка легко скатывалась вниз и без особого труда одолевала очередной подъем, за ним начинался новый бор. Это все были леса крупных помещиков, потому и сохранились, объяснял Кирилл, однако теперь уж, конечно, и до них доберется топор лесопромышленника, лесные участки усиленно распродавались бедневшими владельцами, покупали их спекулянты и перепродавали дельцам для сплошной вырубки, а у местных крестьянских общин не было денег, чтобы откупить уголья в свое владение,— народ здесь был бедный, на здешних почвах — песок да глина, от земледелия сыт не будешь, к тому же давили выкупные платежи, ну это как везде.

Щавелева застали дома, это был щуплый мужичонка в латаной-перелатаной овчинке и в драной круглой шапке цилиндром, в стоптанных лапотках, безусый и безбородый, хотя уж и не молодой, он возился со скотиной во дворе и не слышал, как подошли гости, двор его стоял на круче над долиной Москвы-реки, оттуда снизу дул сильный ветер, гудел в громадных деревьях, росших по склону обрыва и выступавших из-под обрыва могучей голой кроной. Двор у Щавелева и другие хозяйственные

постройки, а было у него — редкость в здешней стороне — несколько сараев и отдельная конюшня, недавно перебились, старые венцы везде перемежались с новыми, все постройки крыты дранью. Кирилл дорогой предупредил, что с этим мужичком надобно держать ухо востро, хитрющий мужик, видом бедняк бедняком, на деле самый крепкий мужик в округе, в кубышке денег куры не клюют, промышляет извозом, держит несколько лошадей и нанимает в возчики местных бедняков. Он из государственных крестьян, как, впрочем, вся Оборвиха, полный собственник, несколько лет назад выкупил свой двудушный надел, и мир отвел ему отдельный участок, ту самую пустошь под Сареевом, когда-то по какой-то тяжбе перешедшую во владение оборвихинской общины. Впрочем, одежкой они все здесь такие, в Оборвихе, и богатые и бедные, оттого и деревня их так прозывается.

Щавелев даже подпрыгнул от неожиданности, когда его окликнул Кирилл, сдернул с головы шапку, увидев барыню и незнакомого господина в поддевке.

— Встречай гостей, Ефимов! — весело сказал Кирилл. — Привез к тебе покупателя. Пустошь твою смотреть хотим. Ай не рад?

— Рад, чего не рад? Смотрите, что ж, — Щавелев низко поклонился госте, потом гостю.

— За сколько продашь-то пустошь? И сколько там у тебя? Десятин-то сколько? — небрежно спрашивал Кирилл.

— Надо, конечно, посмотреть. Как же! Надо. — Щавелев будто не слышал вопросов Кирилла, на него и не смотрел, смотрел на господ.

— Так за сколько продашь-то? — настаивал Кирилл.

— Посмотреть надо. А когда, примерно, будете смотреть? — обращался Щавелев к господам.

Долгушин ответил:

— Да сейчас, если можно, съездили бы...

— Можно сейчас. Отчего нельзя? Запрягать али как? — вопросительно посмотрел на Кирилла.

— Запрягай. Можно в нашу тележку. Наша лошадь устала, пусть отдохнет. Сена ей дай...

Пока Щавелев и Кирилл перепрягали лошадей, Александр и Аграфена пошли вперед, по деревенской улице, дорога шла через деревню. Избенки вдоль дороги были неказисты, темны, приземисты, с крошечными оконцами, иные без труб, еще топились по-черному, почти все кособоки, под гнилой соломой, ничем не отличалась эта деревенька бывших государственных крестьян от деревень бывших крепостных — те же нищета, грязь, убожество, хотя, считалось, положение казенных крестьян было лучше барских. Встречавшиеся мужики и бабы, хотя и не все такие уж оборванцы, как их аттестовал Кирилл, одетые, однако, худо, в серые свои запашные ветхие хламиды, перехваченные в поясе бечевками, все в лаптях, почтительно, с низкими поклонами уступали им дорогу, с любопытством долго смотрели вслед.

Щавелев и Кирилл догнали их на свежей лошади, ходко поехали дальше. Миновали еще три или четыре дерсвеньки, свернули с большака на боковую дорогу, которая вела к Сарееву, остановились на вершине лесистой горы, откуда начиналась Петрушкина пустошь — земля Щавелева.

— А вон мой дом! — радостно показал Кирилл рукой на Сареево, лежавшее в версте отсюда, на вершине другой горы, за глубоким оврагом, по дну которого текла маленькая быстрая речка, Медвеника, назвал ее Кирилл; он показывал рукой на край деревни, несколько усадеб на склоне, обращенном к третьей горе, за Медвеникой же.

Место сразу понравилось и Александру, и Аграфене, хотя и по разным причинам. Долгушин смотрел на него глазами конспиратора, прикидывая, в какой мере оно удобно для целей пропаганды, можно ли надеяться

укрыться здесь от недреманного ока полицейских агентов, давление которого он постоянно чувствовал на себе в Петербурге, наладить печатание пропагандистской литературы, без которой в народ не пойдешь, а в перспективе — устроить постоянное поселение народников-пропагандистов, вести отсюда систематическую работу среди крестьян. Все говорило о том, что можно. Уже сам по себе край этот, Звенигородский уезд, был подходящим. Уезд был сельскохозяйственный, но одной землей местный крестьянин не мог прокормиться, Кирилл говорил правду, это подтверждали земские статистики, не один год въедливо изучавшие состояние экономики Московской губернии; их отчетами в московских газетах очень интересовался Долгушин. Население уезда издавна искало себе сторонних занятий, здесь развиты были кустарные промыслы, многие же крестьяне уходили на заработки в иные уезды, иные губернии. Статистики подсчитали, что здесь земледелием покрывалась меньшая часть бюджета крестьянской семьи, тридцать — сорок процентов, остальные семьдесят — шестьдесят процентов покрывались доходами от промыслов. Большое число отходников — это же армия стихийных агентов пропаганды, разносчиков революционной литературы, снабди их только этой литературой, обрати в свою веру, — вот он, первый объект приложения сил пропагандиста-интеллигента, по крайней мере на первых порах! А опыт в подготовке пропагандистов из среды самого народа уже был, в Петербурге много внимания уделяли фабричным, к началу сельских полевых работ уходившим в свои деревни и возвращавшимся в город осенью. В верещагинской мастерской не один Кирилл Курдаев был распропагандирован, в той или иной мере затронуты пропагандой были все рабочие.

Петрушкина пустошь, пять десятин пустовавшей, когда-то распахивавшейся земли, занимала весь пологий

склон горы от вершины до речки, часть земли, однако, приходилась на овражки, поросшие березняком и ольхой, часть была занята лесом, целой рощей сосняка, отделявшей пустошь от дороги. Дом, конечно, нужно ставить на середине склона, ближе к речке, намечал Долгушин, деловито вышагивая по щавелевской земле, — очень удобное положение, одновременно близко от дороги и от деревни и в то же время в стороне от них, не на виду у крестьян-соседей и прохожих-проезжих будет протекать жизнь обитателей поселения. Удобство сообщений: большак, железная дорога... Да, подходящее место!

И Аграфена находила место удобным для их поселения здесь. Она, конечно, понимала: не будь Александр увлечен идеей пропаганды в среде народа, не стал бы он забираться в глушь, не стал думать о земле, даче и каком-то коммерческом предприятии, — первой и главной целью поселения на земле была пропаганда. Так было теперь, когда дело только начиналось, и так будет, когда они построят здесь дом и поселятся по-семейному, — на первом плане всегда будут интересы пропаганды. И никуда от этого не денешься. С этим нужно было мириться, это нужно было принимать как неизбежное. И Аграфена с этим мирилась и принимала это. Так — значит так.

Да, собственно против пропаганды она ничего и не имела. В общем, она разделяла взгляды Александра. Она сама была народницей по убеждениям. Когда она окончила в Тобольске пансион благородных девиц, она была оставлена при нем учительствовать. Для нее это было недурно, учительница гимназии — это было прочное положение, почетное, обеспеченное. После смерти отца, тобольского чиновника, ей с матерью и сестрой приходилось своим трудом добывать хлеб насущный. Свое прочное положение она променяла на полную неизвестности жизнь петербургской курсистки, вместе с сестрой уехала в Петербург учиться — чему же? — акушерству, чтобы

затем затеряться вот в такой глуши среди народа. При этом будущая акушерка намеревалась не только честно исполнять свой профессиональный долг, но и по мере возможности говорить с крестьянами о социальных вопросах, подталкивать их сознание к выводу о том, что надобна перемена всего порядка жизни в стране. Она очень хорошо понимала: не изменятся социальные условия жизни народа — не изменятся и ужасающие бытовые и санитарные условия жизни крестьянской женщины.

Нет, она ничего не имела против пропаганды. Пусть будет пропаганда. Но — мирная. Пропаганда словом, а не «делом». Никаких столкновений с законом. В петербургских радикальных кружках обсуждались всевозможные методы ведения пропаганды «делом» и даже такие сумасбродные, как террор, направленный против представителей власти, не исключая самого царя, но как будто Александр и нынешние его друзья не сочувствовали этим крайностям. Правда, в их кружке зимою много было разговоров о тайном печатании, тайный станок — это тоже была пропаганда «делом». Но, к счастью, кажется, они сами оставили мысль о станке. К чему этот риск — им, уже отмеченным особым вниманием власти?

Будет заниматься Александр мирной пропагандой — и в добрый час. Чем сумеет — Аграфена будет ему в этом помощницей. С какой целью намерен он устроить здесь артельную сыроварню, с коммерческой или имея в виду интересы пропаганды, не имеет значения, Аграфена и в этом ему, чем сумеет, поможет. А для устройства такого предприятия место здесь подходящее. В стороне от селения, под боком речка, в версте Москва-река с ее заливными лугами — важное обстоятельство, если думать о перспективе, заведет ли Александр свою молочную ферму или будет побуждать местных крестьян заниматься молочным животноводством, чтоб у них закупать молоко.

Подходящим было место и для осуществления личных ее, Аграфены, планов, связанных с ее специальностью. Еще в январе она окончила повивальную школу при Марининском родовспомогательном доме в Петербурге, состоявшем под августейшим покровительством государыни цесаревны, это был первый выпуск школы, одного из первых в России учебных заведений для женщин, но пока и не пыталась найти себе место, было не до того, всю зиму болела девочка, грудной ребенок, и умерла в феврале, потом перебирались в Москву, а очень хотела заняться делом. Здесь, в Сарееве, у нее, конечно, будет практика, поблизости несколько крупных ткацких фабрик с больницами, можно попытаться при них получить место акушерки...

Долгушин и Щавелев заговорили о цене за участок.

— У нас цена на землю известная, — говорил Щавелев, — тридцать девять целковых тридцать и одна копейка за десятину. Всего, значит, за землю будет без малого двести рублей...

— Постой! Как ты считаешь? — перебил его Долгушин. — Почему тридцать девять рублей? Средняя цена земли по Звенигородскому уезду двадцать восемь рублей с копейками. Это сведения точные, губернской земской управы, за прошедший год.

— Э, барин! Так то по уезду и за прошедший год, а у нас, в Перхушковой волости, земля подороже будет. И каждый год дорожает.

— Почему она у вас дорожает?

— Да по волости проходит чугушка. А нынче кто первый покупатель? Скупщик лесу да ваш брат дачник, вам подавай, чтоб у чугушки...

— Ну хорошо, а что ж ты пустошную землю ценишь по цене земли населенного имения? По крайней мере треть, семьдесят рублей, должен скинуть.

— Никак нельзя! Земля населенного имения и есть, паханная, не целина, гуляет лишь, отдыхает, набирает

силу. Окромя того — лес. Нынче лес пошел в цену, а тут эвон сколько строевику, сколько ты за его возьмешь, прикинь? А луговина? — обвел он рукой низменную часть владения, вдоль речки. — Это ж поемный луг, тута сена самого лучшего качества соберешь пудов шестьсот, считай хотя по пятиалтынному пуд, доходу будет до ста рублей. Окромя того вот что. Не знаю, сказывал тебе Курдаев, нет ли, туточка недалече стоит у меня в срубе лес на добрую избу, когда-то думал поставить усадьбу здесь, да передумал, а лес стоит. Участок продам с тем срубом. Хочешь бери, хочешь нет. Возьмешь — приведу своих плотников, поставят тебе хоромы в две недели. За все про все, значит, за лес да перенос сруба да плотницкую работу в дому, чтоб, значит, подвести под крышу, тоже двести рублей, на круг, стало, четыреста... Что, ай кусачая цена? За полную, считай, усадьбу?

— Да уж не знаю, надо сперва лес посмотреть.

— Посмотришь. Бери, барин, не раздумывай, дешево отдаю, потому мне не резон ждать выгодного покупателя — время терять, лес добрый, звонкой, съездим, посмотришь, туточка рядом...

И они съездили, без Кирилла, который ушел в деревню проведать мать и брата, посмотрели сруб. Лес действительно был добрый, то есть когда-то был добрый, теперь почернел, потрескался, но, должно быть, еще годился в дело, сруб большой, пятистенком, имело смысл согласиться на условия Щавелева, особенно привлекало то, что очень скоро мог быть готов дом и цена не «кусала». Было у Долгушина на устройство дачи восемьсот рублей, стало быть, половина этой суммы выкраивалась для иных расходов кружка. Ударили по рукам, а когда вернулись на пустошь, там уже их ожидали праздные по случаю пасхи сареевские мужики и бабы с ребятней, пришедшие поглазеть на будущих хозяев пустоши, узнавши об их приезде от Кирилла. Самого Кирилла не было среди

них, но к Долгушину подошел похожий на Кирилла мужик средних лет, сказал, что он брат Кирилла Кондратьева, зовут его Максим Кондратьев, Кирилл прислал его сказать, чтоб приезжие шли к курдаевской избе, там Кирилл готовит угощение для них.

Прошли по Сарееву, деревеньке домов в тридцать, в одну улицу, изогнутую дугой, по форме горы, на вершине которой она расположилась. Приезжие и Максим шли впереди, мужики и бабы за ними на некотором расстоянии, ребятишки бежали перед процессией, разбрызгивая черными лапотками жидкую грязь, громко оповещая улицу: «Идут! К Авдоихе-рябой идут!» К плетням выходили старики и старухи, стояли, опираясь на клюки, с непокрытыми головами, согнутые в глубоком поклоне, с живейшим, однако ж, любопытством рассматривая гостей. Топились печи, домовито тянуло березовым дымком, избы, такие же убогие, как в Оборвихе, были, однако, не курные, с кирпичными трубами, топились по-белому, этому заведению в Сарееве, объяснил Максим, уже лет десять, им сареевцы обязаны бывшему своему барину, доброхоту и чудаку, который во время размежевания с крестьянами, как бы в благодарность за мирный исход мучительной процедуры, взялся перестроить за свой счет все печи в Сарееве и перестроил.

Рассказывал все это Максим со странной кривой ухмылкой, не поймешь, с одобрением или с насмешкой над чудачком барином, и все как-то норовил заглянуть в глаза Долгушину, заходя для этого на шаг-два вперед. Присмотревшись к нему, Долгушин нашел, что он только с первого взгляда кажется похожим на брата, у того и у другого была своеобразная, в форме шара, голова, черные густые волосы, но в отличие от брата Максим был вял в движениях, лицо обрюзгшее, красное, глубокая морщина пересекала лоб, придавая его лицу выражение то ли скорби, то ли мрачного отчаяния.

Когда возвращались в Москву, уже после Оборвихи, простившись с Щавелевым, с которым условились, что через неделю Долгушин привезет из Москвы какие нужно, составленные по форме, бумаги и тогда покончат сделку, Кирилл выговорил Долгушину с досадой:

— Сплоховали, Александр Васильевич. Надул вас Щавелев и с землей и с лесом. Рубликов на пятьдесят — шестьдесят надул. Поторговались бы — и уступил. Куда ему деваться? Говорил же вам: хитрющий мужик. Не ездили б без меня смотреть этот лес. Я про него забыл вас предупредить. Дак он его торговать-то, слышно было, перестал. Кто его нынче купит, когда кругом много нового лесу и недорогого? А он вам сторговал. Ах, шельма...

Долгушин слушал, улыбался, молчал. Старый лес, новый лес... Скорее заполучить землю, поставить дом какой-никакой, начать дело — вот главное, все остальное пустяки.

На Фоминой неделе он снова был у Щавелева в Оборвихе, день потратили на оформление купчей крепости, вернулся Александр в Москву ночью уже землевладельцем.

А еще через неделю, в последних числах апреля, отметившись в полиции выбывшим в Петербург, Александр с женой и сыном, со всем скарбом на двух подводах переехал в Сареево, в избу матери Курдаевых, Авдотьи Никоновны, Авдоихи-рябой, как называли ее в деревне и стар и млад за изъязвленное оспинами лицо. У нее и поселились на время, пока должна была строиться дача.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ОТЧЕГО БЕДНЫ КРЕСТЬЯНЕ?

1

Утро в Сарееве начинается рано, еще до свету неслышно подымается в своем закутке за печкой Авдоиха, осторожно, задержав дыхание, зажав рот заскорузлой негнущейся ладонью, чтоб не пробудить чем постояльцев, выбирается, шлеп-шлеп босыми ногами по земляному полу, из избы, кидается к своей коровенке, из-за неплотно прилегающей двери слышны ее ласковые шепоточки-переговоры с коровой и тихое цвиканье струй о железное ведро, потом она выпускает корову в стадо и, если холодно, бежит обратно в избу и растапливает печь, ставит варить картошку в чугушке, опять-таки стараясь не стукнуть чем или загреметь, а если тепло — уносится на час-два со двора в лес за хворостом или в Одинцово с кувшином сливок, продает там сливки какому-то купчику и возвращается, когда постояльцы только слезают с полатей.

Вначале Аграфена пыталась не отставать от нее, вставала вместе с нею, тут же принималась помогать ей по двору или в огороде, готовила грядки под овощи, высаживала морковь и зелень, но хватило ее только на две недели, почувствовала, что больше нет сил недосыпать, да и не было особой надобности вскакивать ни свет ни заря: с коровой Авдоиха сама прекрасно управлялась, а огород после первых посадок не требовал к себе большого внимания. А главное, скоро нашлось для нее

более важное занятие, чем топтанье с вилами в смрадной тесноте двора, и сама Авдоиха возроптала, в уважение к этому ее занятию стала гнать ее обратно в постель, когда Аграфена срывалась за нею следом до зари, — набежало-таки на нее дело, о котором она мечтала, отправляясь в деревню, стала понемногу пользоваться сареевских баб, только что родивших или готовившихся родить, да и всех прочих, не исключая и молодок, все были недужны какими ни то женскими хворями.

Вставали Аграфена и Александр в седьмом часу, когда деревенский люд, наработавшись за зорьку, садился завтракать, возвращалась и Авдоиха из Одинцова с опустевшим кувшином или из лесу с вязанкой хворосту, завтракали по-деревенски, горячим картофелем с солью и хлебом, запивали квасом, а маленького Сашу, спавшего на печи с внуками Авдоихи, детьми Максима, и встававшего позже, ждала, как и каждого мальчика, большая кружка мёлока.

К завтраку иногда приходил Максим. У него был свой дом, он жил бобылем, жена померла несколько лет назад во время родов, детей взяла к себе Авдоиха, до переезда в Сареево Долгушиных и он жил у матери, правда, не всегда, временами, «когда накатывало», помогал ей тянуть «душку», душевой надел Кирилла, свой же надел Максим скинул после смерти жены и жил случайными заработками. Он был хороший работник, когда не пил; при жене он еще держался, тогда с подмогою жены и матери худо-бедно управлялся с обоими наделами, своим и кирилловым, недоимок за ними не значилось, а после смерти жены сильно стал баловаться, пьяным загнал лошадь и купить новую уже не смог, спустил со двора — своего двора — все, что мог спустить, и самый двор спустил, разобрал и продал на дрова соседу, отказался от надела, кириллов же надел мать удержала за собой, сама мужиковала, полевою землю об-

рабатовала с мальцами внуками, лошадь и инвентарь брала у родственников в Петрове, селе за Москвой-рекой, у сареевских не у кого было взять, всего-то в деревне в шести дворах были лошадки. А Максим только косил, и то лишь в общий покос, когда по стародавней традиции назначалась в конце дня выпивка на мирские деньги. В нынешнем году он будто больше стал помогать, взялся сам вспахать поле под яровые. Приходил он к матери за тем, чтобы условиться о работе на предстоящий день, или, это уже после того, как Долгушин купил себе лошадь с тележкой, чтоб попросить лошадь у постояльца, или просто потереться возле новых людей, очень уж любопытен был ему Александр Васильевич, никак не мог ухватить его, что за человек, а очень хотел, даже ни разу с тех пор, как поселились Долгушины у его матери, не напился пьян. Впрочем, и запретил ему Александр Васильевич пьяным появляться у них на дворе, в первый день, как приехали в Сареево и Максим пьяный явился просить на магарыч, вывел его из избы, прижал к стене двора и сказал об этом, так сказал, как умел сказать, чтоб заставить себя слушать и повиноваться.

Купил Долгушин лошадь под николин день, к тому времени они с Аграфеной уже больше недели прожили у Авдонхи, понял, что без своей лошади не обойтись — и съездить куда, и привезти-отвезти, и поле обработать, купил недорого выбракованного за какой-то несущественный изъян кавалерийского еще не старого покладистого меринка, которого можно было и под седлом гонять, и в оглобли заводить. К николе он ждал приезда выписанного им из Петербурга молодого рабочего Аمانия Васильева, работавшего, как и Кирилл Курдаев, в верещагинской мастерской, как и Кирилл, распропагандированного, оставшегося в Петербурге после перевода заведения в Москву. С Аганием у Александра был уговор,

что как только Ананий потребуется для дела ли пропаганды или для личных услуг Долгушину, тот напишет ему из Москвы, и Ананий приедет. Долгушин написал ему перед самым переездом в Сареево, имея в виду вместе с ним заняться земледелием. О маслобойном предприятии нечего было и думать, пока не построена дача, хозяйствовать же начинать нужно было, для начала и недурно было поднять хотя какую-то часть пустоши. Но прошла неделя после никола, Анания все не было.

Дожидааясь Анания, Долгушин готовился к предстоящему крестьянскому труду. Пристроив лошадь во дворе Авдоихи и поручив догляду Максима, с Максимом же перебрал старый негодный инвентарь Кирилла, валявшийся в углу двора: соха с бороной, конская сбруя, тележные колеса без шин и оглобли без тяжей, иззубренные две косы и серп, еще кой-что, все это требовало основательной поправки. Этим добром мог пользоваться Долгушин, пока не обзаведется собственным инвентарем, нужно было только привести его в порядок. Долгушин и стал чинить да поправлять своими руками, с удовольствием раскрыв свой сундучок со слесарным инструментом, собранным им еще в институте, сундучок этот он не раскрывал уже порядочно давно. Максим вызывался за рубль вспахать полоску под ячмень или овес, но Долгушин ему отказал, это было его дело.

2

С утра он возился на дворе, потом, ближе к обеду, отпраиваясь на пустошь посмотреть, как идет работа у плотников, спросить, не надо ли им чего. Щавелев не обманул, скоро прислал артель, ту, что рубила ему сруб, это были тоже оборвихинские крестьяне, давно промышлявшие плотницким делом, три дюжих мужика и паренек, то ли подсобный, то ли ученик старшого,

рослого голубоглазого красавца с бородой лопатой, очень чистоплотного, приходил он всегда в свежестырированной синей косоворотке. Правда, изба обещала быть готовой не через две недели, как говорил Щавелев, а через месяц-полтора, но, если вычесть дни, когда плотники не приходили в Сареево, занятые подоспевшей полевой работой на своих наделах, то, пожалуй, и получалось, что на постройку дома им надобно было две недели. Начали они работать в конце апреля и уже к николе, то есть полторы недели спустя, перевезли на пустошь перемеченные венцы и сложили сруб. Чтобы не затянуть работу, Долгушин не стал вносить никаких изменений в план постройки, об одном только попросил: выкопать и обшить подполье под горницей и покрыть дом не соломой, а тесом.

Работали плотники споро, согласно, тяжелые бревна ворочали и поднимали, ставили на место, казалось, без всяких усилий, шутя. Старшой особенно был замечателен в работе. Некоторые венцы, порченые, плотники меняли; обтесывали под старый венец новое бревно и ставили на место старого. Эту работу быстро и ловко делал старшой, на глазок прикидывал он, где нужно стесать неровность, где сделать вырубку для запуска бревна в лапу, несколько легких, будто небрежных, взмахов топора — и новый венец точно ложился на место, щелей не было, ни достругивать, ни дотесывать, никакой пригонки уж более не требовалось.

Но приходил к ним Долгушин не только за тем, чтобы полюбоваться их работой, приходил, чтобы поговорить, пощупать, чем живы эти мужики, и потому старался выйти к ним, когда они шабашили на обед, чтоб разговор был не отрывочный.

Мужики эти, оказалось, работали не от себя, а от хозяина, от Щавелева же, не только теперь, давно уж так работали, и получить за постройку избы должны

были менее половины того, что стоила их работа, всего-то около полусотни рублей на всю артель. «Да это грабеж! — возмутился Долгушин, когда услышал это. — И что же, выходит, и я участвую в этом грабеже, обираю вас?» — «Все от бога», — со вздохом отвечали ему на это мужики. «Да я порву с ним! Брошу ко всем чертям эту дачу, потребую вернуть мои деньги, пусть и уплачу ему неустойку!» — «А кого накажешь, барин? Нас накажешь. И копейки домой не принесем. У нас по уговору опосля окончания всей работы расчет». — «А что же вы соглашались на такие условия?» — «Куды денеси, где ж взять работу? Мы не знаем — ён знает». — «Почему так?» — «Ён богатой. У его за гумном овин с огневой ямой и сушилом, с передовишьем, сенцами то ись, где молотьба и вейка, и крыт овин не по-нашему, не соломой, а щепой, дранью то ись...» — «При чем тут щепа?» — «Потому ён богатой. Где есть какая работа, что по извозному, что по нашему плотницкому делу али лесопильному, ён знает, мы не знаем, а ён знает. От себя будешь искать работу, ниче не найдешь, не зарабатываешь, а от его хошь какая копейка в дом». — «Полезный, значит, для вас человек Щавелев?» — «Богатой и есть богатой». — «Да хорошо ли, что он обдирает вас как липку? Богатство-то его откуда? От бога, скажете? Или от бережливости? Вон он у вас ходит оборвышем, так, может, за счет воздержания накопил капитал? Да это он для вас обряжается, хочет, чтоб вы так думали! Нет, братцы, простым сбережением капиталы не сколачиваются, только за счет труда других людей, таких, как вы, простаков, которые на богатых работают...» Мужики вздыхали, чесали в затылках: «А что ты тут исделаешь? Так, видно, богу угодно». — «Конечно, ничего не сделаешь, когда все идет, как идет. А если бы пожелали бедные люди, да все разом, защитить себя от обирательства богатых, тогда бы изменился порядок». — «Что

же, примерно, было б тогда, если бы пожелали все бедные люди?» — «Было бы то, что бедный трудящийся люд пользовался своим трудом сполна и не трудился на пользу богатых. А богатых пришлось бы всех отдать под суд и приговорить за подобный грабеж к лишению прав состояния, а иных в арестантские роты...» Рабочие весело хохотали, такая развязка им нравилась. Довольные веселым разговором, приканчивали обед, завязывали узелки с остатками еды, снова брались за топоры, за слезы.

Но это все были не основательные разговоры, едва ли они глубоко задевали сознание плотников, тем более что больше приходилось говорить ему, Долгушину, рабочие больше слушали, а если сами начинали говорить, пускались в посторонние рассуждения, с удивительной легкостью отклоняясь от поставленных вопросов. А хотелось знать действительное отношение их к своему положению, к общему положению вещей. Особенно хотелось Долгушину разговорить старшого, который прислушивался к тому, что говорили другие, с непонятной спокойной улыбкой, сам не высказывался.

Но однажды и старшой заговорил.

— Да, правду говорят, от трудов праведных не наживешь палат каменных,— сказал он тихо, будто про себя, но его товарищи сразу как бы подсобрались, навострили уши.— Ежли малы доходы, так как хочешь, а все уж недостаток: кафтан купишь — сапог нет, сапоги купишь — кафтана нет. Так и живешь... Вот я построил себе двор, а сарая покуда нет, теперь буду сколачиваться на сарай. А когда сколочусь деньгами на сарай, наверно, мой двор сгниет... Правда, ино кажется, будто богатство приобрести можно старанием. Да накопить ешшо можно, а увеличить свои доходы — для этого нужно быть хорошим мошенником...

— Вот то-то и оно...— с жаром было подхватил Долгушин, но оборвал сам себя, чтоб не дать умолкнуть

старшóму, он еще будто не все сказал, что хотел сказать.

— Сына хочу женить,— сказал, помолчав, старшóй,— потому — работать некому. Хотя у нас семья большая, а работников всех трое, я да баба и сын неженатой, а за стол садимся восемь человек. А вон она, наша земля, ее нужно унавозить, а чтоб был навоз, нужно иметь скотинку, а скотину нужно кормить, ну нам и не управиться в рабочее время, чтоб, значит, накопить достаточно сена и сжать поля. Да и сена-то взять негде, нужно всегда нанимать покосу-то. Тут у нас кругом земля все барская да казенная. Что мы трудимся теперь трое целое лето, дай бог, ежели соберем всех хлебов на полтораста рублей осенью. Сено да солома все идет скоту, а на крышу, примерно, али на что не остается, а для нас — рожь, овес и картофель, и из этого сбора нужно продать в подати на двадцать рублей. Ешшо страховка, а сколько нужно на поправку сохи, бороны, да телеги, да крыши? Ешшо одежда, какую ни то, а все ж покупать нужно. Хотя овчины свои, с мелкого скота, да за выделку их и шитье полушубка плати, а обувь, те же лапти, их каждый сам может сплести, так нынеча лыки и те приходится покупать, да и купить-то негде. И хорошо, когда выйдет от Щавелева какая работа. А когда нет — как концы с концами свести? Так отчего же крестьяне бедно живут? И как тут выйти народу из нужды? Без богатых-то?

Вот он к чему вел! Долгушин заволновался, этот вопрос старшóго и был из тех главных вопросов, которых он ждал от рабочих, которые их действительно волновали, и ответить на него надо было серьезно, в полную меру собственного понимания, хотя бы и с риском высказаться поначалу слишком мудрено для рабочих, потом всегда можно объяснить.

— В двух словах на этот вопрос не ответишь,— осторожно сказал Долгушин.— Но если вы хотите, чтобы я сказал, что об этом думаю...

— Скажи, коли знаешь, что сказать.

— По существу это вопрос о том, как создается богатство в обществе. Сейчас, действительно, пока одни работают на других, большинство на меньшинство, копить, богатеть могут только те, на кого работают другие. При таком порядке народу не выйти скоро из нужды. Выйти из нужды, резко увеличить богатство в обществе можно только всеобщим равенством и усовершенствованием орудий труда в производстве товаров, потребных для жизни. Правда, уже одним усовершенствованием можно создать громадные богатства, но без равенства они создаваться не будут. Почему? Потому что пользоваться ими могли бы только те, на кого работает большинство, богатые, а их не так уж и много, для производства же небольшого числа товаров, сукон и ситцев, к примеру, на одежду для богатых можно обойтись и без каких-то особенных технических усовершенствований. Вот тут-то и пропадает бесполезно масса возможного рабочего труда! Когда народ работает не на себя, а на богатых, этим стесняется технический и всякий прочий прогресс. Спрос-то на товары ограничен! Он будет безграничен, когда большинство будет работать на себя. Вот тогда не будет преград для технического прогресса. Тогда вам не придется быть без работы и не будет надобности делать руками то, что можно сделать скорее и лучше машиной.

Долгушин умолк, подумав, не слишком ли он заговорился, не рассеялось ли внимание его слушателей.

— Да вот мы теперь для себя и работаем,— вступил в разговор постоянный напарник старшого, ухмылистый дядя, самый разговорчивый из плотников.— Теперь вон соседской помещик, как у его отобрали крестьян, ён кабак открыл, да у его что-то не везет. Вот там, в Ильинском, немец торгует, так тот богатеет, а энтот прогорает, а его место лучше, чем у того немца, у самого

трахту, да к тому ён и за квартиру не платит, у его дом свой. Теперь мужики смеются ему, когда случится подвыпимши быть у его в кабаке. Намедни Иван Чернай подошел к стойке да и говорит ему: «Да, барин, что было и что стало. Бывало, господа-то, хошь как сам-то не пьян, а мужика заметит выпимши, нагайкой отдерет. А теперь барин трезвый, а мужик пьяный, мужик кричит: «Барин, подай вина!» — и барин слушается мужика и подает ему вина»... Господа-то говорили: «Когда с камня лыки будут драть, тогда и крестьяне получают волю». Но, однако, ошиблись, с камней лык покамест не дерут, а крестьяне уже стали вольными. Слава богу, мы теперь всякий работаем для себя.

— Не совсем еще для себя... — начал было возражать Долгушин, но, заметив, что старшой что-то собрался сказать, не стал продолжать.

Старшой сердито сказал напарнику:

— Ты про Черная не ври. Ну отколь ты про кабак взял?

— Да сам Чернай рассказывал!

— А ты слушай больше того балаболку. Соврет — не дорого возьмет. Балаболка и есть балаболка! Тот Чернай, — повернувшись к Долгушину, объяснил с непонятным ожесточением, — пустомеля и боле ничего. Голь перекатная, ни кола ни двора, а туда же! И весь их род подлай, своего добра у их никогда не было, на дворе шаром покати, и двора-то ино не было, все дареное и все не впрок, перешибались из батраков в лакеи да на счет обчества, а горло, вишь, и злоба на десятерых хватит. То он по злобе своей наплел на барина и что у стойки стоит и прогорает, мол, хуже немца, и будто он, Чернай, говорил с им у стойки. Да кто с им, Чернаем, говорить станет, с голью? Не было того. Барин тот сколько раз выручал его, избу даром построил, обдаривал скотинкой, а он, вишь, плетет на барина. Тьфу!

Ну да известно, у их, у голи, всегда так: кто к им с добром, тем они непременно, ну прямо как зудит у их внутри, нагадить норовят. Ах подлое племя!

Долгушина поразил этот выпад старшого против какого-то Черная, явно бедолаги мужика, пролетария, и поразил этой уж очень явственно просквозившей в его речи связью между нищетой, гольством Черная и его нравственным обликом, как будто второе было следствием первого. Неужели этот рассудительный мужик действительно так думал, высказанное им не было оговоркой? И как же это он, сам бедняк, отзывался так презрительно о нищете своего же брата бедняка? Долгушин даже не сразу нашелся, что на это сказать, спросил с неловкой улыбкой:

— Что же, он такой, этот Чернай, нехороший от того, что гол как сокол?

— А что хорошее может быть у голяка? Голяк и есть голяк. Нет у его ничего — чем ему дорожить? Своим нечем дорожить — чужое готов все пыхом пустить.

— Правда, правда! — закивали товарищи старшого, — энтот Чернай и на каторге побывал, спалил соседа и с им полдеревни. Пришел с каторги — грозил пожечь всех богатых в округе.

— Богатых? — с надеждой переспросил Долгушин, обрадовавшись неожиданной возможности повернуть разговор на ясный путь классовых противоречий.

— А кто богатой? — будто почувствовав, что бариин не совсем так все готов понять, как бы следовало, поспешил объяснить старшой. — Вот я богатой, вот он (показал на своего напарника), он (показал на третьего плотника, серьезного, все как бы что-то обдумывающего), даже энтот (показал на парня), который ешшо примеряется хозяйствовать, но старательной. Всякой самостоятельный хозяин — богатой.

— И Щавелев?

— Вишь ты куда гнешь. Ну и Щавелев Да мы ж говорим о Чернае, как он понимает дело, а не мы. Он-то не различает, кто богатой, кто самостоятельной.

— Да гол-то он отчего? Натура, что ли, такая особая все добро переводить в прах или, может, так уж жизнь складывается несчастливо, хуже, чем у вас?

— А чем же ему хуже нашего? — удивился старшóй. — Натура. Натура и есть. Ну и жизнь, конечно. Натура и жизнь. Беда, когда человек недостаточной доходит до крайности, когда у его ничего нет, внутри он пустеет, бог его лишает разума. Я по себе знаю, тоже горели, ходили с сумой по дорогам, ох тяжко это, не приведи господи. Но иной несет свою беду как крест, а иной как медаль, энто Чернай. А бог с им, Чернаем. Ты о равенстве складно говорил. Сказка то или умные люди обдумали и есть уж где такой порядок, чтоб все работали на себя, а не на богатых?

— Это не сказка. Такого порядка еще нигде нет, но он возможен. И были уже попытки ввести его в жизнь. Только не у нас, а за границей, во Франции. Два года назад в Париже рабочие взяли власть в свои руки и организовали коммуну. Два месяца держались.

— Рабочие, говоришь? Какие же рабочие? Мужики, примерно, али городские?

— Городские рабочие, пролетарии.

— Голь, значит? — с иронией сказал старшóй, поднимаясь, давая понять всем, что перерыв кончился.

Все засмеялись. Посмеялся и Долгушин. Сказал добродушно:

— Вы зря смеетесь. Вот погодите, скоро я вам принесу одну брошюрку, там про все написано: и о нынешней жизни, и о том, как ее сделать лучше.

— Что за брошюрка?

— А вот принесу — увидите. Грамотные есть ли среди вас, чтоб прочесть?

— Эвон Митроха у нас грамотный — прочтет.

— Прочту! — радостно пообещал Митроха, неожиданно оказавшийся в центре общего внимания.

3

Озадачил Долгушина этот разговор с плотниками. С одной стороны, как будто бы и неплохо все получилось: разговорил-таки мужиков, добрался до их заветного, выношенного, и себя слушать заставил будто бы с равнодушным ожиданием ответа на их вопросы. Приди он теперь к ним с прокламацией, пожалуй, она произвела бы на них должное впечатление. Что ж, начало пропаганде, можно считать, положено. Но это с одной стороны. А с другой — этот странный пассаж старшого о голытьбе, деревенском пролетариате.

По новейшим теориям социальной революции именно обездоленный люд, неимущие, городской и сельский пролетарии были надеждой и опорой, главной силой ожидавшейся всемирной подлинно народной революции, предвестницей которой была Парижская коммуна. В городе это были фабричные и заводские рабочие, главным образом заводские, в отличие от фабричных, вполне оторвавшиеся от деревни, в деревне же, тогдашней быстро расслаивавшейся общинной, даром что общинной деревне, — батраки и всякий обезземеленный элемент, перебивавшийся случайными заработками, этот люд был ничем и призван был стать всем, как говорилось в песне Эжена Потье. И вдруг — такое резкое суждение о нем! Что же, считать таких, как старшой и его товарищи по артели, не революционным элементом? Обращаться со словом пропаганды к голытьбе и обходить стороной «самостоятельных», как эти плотники, хозяев? Но ведь это значит обходить стороной подавляющую массу крестьянской бедноты! Обездоленные, подобные Чернаю,

пока еще, слава богу, не составляют большинства в среде народа, община, худо ли бедно, пока удерживает от пролетаризации миллионы крестьян. А кроме того, плотник сегодня «самостоятельной», а завтра, случись что,— и сам голяк голяком, и это очень вероятная перспектива для него, к тому все идет в стране. Стало быть?..

Или, может быть, есть в словах плотника какая-то правда и не все так просто, как кажется, с черными — будущими спасителями человечества? Может быть, и не всякий отчаявшийся бедняк — готовый революционер, как не всякий революционер — образец гражданской доблести и нравственной чистоты, о плутах и мошенниках от революции еще Чернышевский предупреждал, и недавняя история Нечаева убедительно подтвердила его прозрения. Стало быть?..

Вопросов возникало множество, ясно же было только, что следовало посмотреть на этого Черная, прежде чем делать какие-либо выводы. Решил попросить старшого, чтоб свез его к Чернаю, чтоб вместе побеседовали с этим голяком, показалось, что была бы небезынтересна такая общая беседа. Но все как-то не удавалось заговорить об этом со старшим, вплоть до самого последнего дня работы плотников на пустоши так и не удалось об этом поговорить. Да как-то и не складывались уж больше такие откровенные беседы с плотниками, иные заботы стали отвлекать. Но вопрос о Чернае не забылся, сидел в душе гвоздем, нужно было лишь дожидаться удобного случая, чтоб заговорить об этом снова.

Иными заботами были прежде всего земледельческие заботы, с приездом Анания Васильева занялись-таки землей, еще не поздно было посеять овес, вспахали под него две полосы. Нелегко дались эти полосы, лошадь, охотно заходившая в оглобли тележки, почему-то никак не могла привыкнуть к сохе, топталась в борозде, за-

кусывала удила, Ананию приходилось водить ее в поводу, Долгушин шагал за сохой. Не мог привыкнуть к сохе и сам пахарь, хотя и по-барски пахал, да все поджилки дрожали к концу рабочего дня, мозоли натер на руках в первый же день, обертывал ладони тряпичками, так и выходил в поле с тряпками на руках. Однако ж посеялись.

И еще занялся экономическим обследованием быта сареевских крестьян. Хотелось самому выяснить, точно знать, из чего складывается бюджет крестьянской семьи, в чем же источник бедности крестьянина, в самом ли деле все упирается в непомерность выкупных и иных платежей и недостаток земли?

Для обследования выбрал двор лошадного крестьянина Ефима Антонова, во всех отношениях средний, как решил Долгушин, обойдя все сареевские дворы, да и сами крестьяне называли Ефима, когда Долгушин просил указать характерный крестьянский двор. Выбрал этот двор еще и потому, что хозяин, по виду добродушный увалень, на деле ловкий и расторопный работник, и его жена, под стать ему рослая, хватистая, с открытым добродушным же характером, известные в деревне, помимо всего прочего, тем, что вовсе никогда не пили никакого вина, охотно и толково и с полной откровенностью называли свои доходы и расходы, им нечего было таить перед односельцами, стыдиться нечего, — важное обстоятельство для целей Долгушина.

Было у Антоновых четверо детей, да только старший двенадцатилетний паренек, год назад отданный в учение по стекольному делу, выходил теперь в «добышники», начал понемногу зарабатывать от хозяина, отрабатывая долг за учение (за три года учения — семьдесят рублей), остальные, мал мала меньше, сидели на шее родителей. В надежде «дождаться сыновей» — времени, когда они выйдут в работники, Ефим с женой не упускали до-

ставшейся им по смерти отца Ефима землицы, владели наделом на две души, около пяти десятин, обрабатывали надел сами, без посторонней помощи. Из скота у них кроме лошади были корова с телятком, да уже теперь, ободренные выходом в «добышники» старшего сына, они завели лишнюю скотинку — овцу. Изба у Антоновых была, как все сареевские избы, бревенчатая, крытая соломой, с одной горенкой, чуланом да двором, иных построек на их усадьбе не было. Был когда-то сарай, да продали, решив, что могут обойтись без него, завалившийся погреб разобрали на дрова, избу давно не поправляли, а следовало бы, изба и двор осели на одну сторону, не на что было поправлять, — признаки того, что Антоновы с каждым годом беднели. И это несмотря на всю заботливость домохозяина и хозяйки, удачливость Ефима в заработках — осенью и зимой вставлял стекла в помещичьих домах и в Москве.

В подсчетах доходов-расходов этой семьи участвовали кроме Долгушина и Антоновых еще пять или шесть уважаемых членов сареевской общины, в том числе староста Никита Борисов, самый грамотный из сареевских. И вот оказалось, что доходов Антоновых только от земледелия выходило в год 101 рубль 74 копейки. Тут учитывали стоимость, обычную рыночную стоимость собранных Антоновыми мер ржи и ячменя, овса, картофеля, гороха, и молока от коровы, и сена, и льняного семени, и холста, который хозяйка выпрядала и ткала за зиму из своего льна, и даже ниток, которые выпрядала она из того же льна. Не учли разве стоимость соломы, которая вся шла на корм и на подстилку скоту, да стоимость получаемого от скота удобрения, не знали, из какого расчета исходить, но эти статьи не ставили и в расходе, так что на балансе это не отразилось.

От сторонних заработков — стекольного промысла хозяина (105 рублей), косьбы овса у священника (10 рублей) да ожидавшегося к концу года первого заработка старшего сына (23 рубля) — всего выходило 138 рублей. Общий годовой доход семьи, стало быть, составлял 239 рублей 74 копейки.

А расход? Оказалось, что только на питание всей семьи уходило в год 140 рублей 24 копейки. Причем почти треть этой суммы, 45 рублей, падала на прикупку ржаной муки, своего хлеба Антоновым хватало лишь до рождества. Вынуждены были покупать постное масло, капусту и огурцы, гречневую крупу (две меры в год, притом что кашу варили только по праздникам и в тяжелое рабочее время), солонину (опять-таки только к большим праздникам и к заговенью), рыбу к масляной и к храмовому празднику, чай да сахар. Из своих продуктов хватало на год — не то что хватало, о достатке говорить не приходилось, просто обходились своим, не прикупая, — ячменной крупы, картофеля и гороха. Разумеется, ничего из собранного на своем наделе Антоновы не продавали.

На обувь и одежду и разные домашние и иные потребности, на аренду сенокосов (мирских угодий не хватало), на отопление, ремонт инвентаря, помол зерна и тому подобное, на это все уходило в год 104 рубля 9 копеек. Да всех платежей, выкупных и прочих, причитавшихся с Ефима Антонова, сходило в год 26 рублей. Всего же за год расходу было 270 рублей 33 копейки. Таким образом, расходы превышали доходы на 30 рублей 59 копеек.

Несколько раз проверяли счетчики статьи доходов и расходов, складывали и вычитали цифры, думая, что, может, где-нибудь ошиблись в счете, и всякий раз высказывала эта сумма — 30 рублей 59 копеек.

Как же покрывалась эта разница? Ни хозяин с хозяйкой, ни участвовавшие в подсчетах сареевцы объяснить

этого не могли, сами удивлялись, как они жили, как оборачивались?

Объяснил старшой плотницкой артели, строившей долгушинскую дачу, узнавши от Долгушина о возникшем затруднении.

— Да чем покрывается разница? Ясно чем, — сказал он, выслушав расчет бюджета семьи Антоновых и одоблив все пункты, признав счет верным, бюджет — характерным для большинства крестьянских семей в округе. — Самоедъ мы, не хрестияне. Самоедением покрывается.

— То есть это как же? Воздержанием, что ли? На самом деле съедается и выпивается меньше того, что представлено в этих расчетах как крайне необходимое для жизни?

— Ну...

В самом деле, другого объяснения не находилось. Расчет неожиданно оказался неверным, и не по вине считавших. Исчисляя обычные траты крестьянской семьи, они исходили из своих минимальных потребностей, определяли минимально необходимое количество жизненно важных продуктов, которое едва-едва могло обеспечить жизнь, на самом же деле, в жизни, обходились еще меньшим количеством продуктов. Сами себя ели, действительно...

С таким объяснением согласились и Антоновы и их односельцы-счетчики.

Конечно, замечали при этом крестьяне, в семьях с двумя и более работниками такой разницы между доходами и расходами, как у Антоновых, могло и не быть, но дело-то в том, и это не упускал из виду Долгушин, что большинство крестьянских семей, по крайней мере в Московской губернии, состояло из одного работника.

Теперь Долгушину многое стало понятно.

— Ну что, барин, так отчего бедны крестьяне, можешь ты теперь сказать?

Встретили Долгушина этим вопросом вместо приветствия на дворе Антонова все те же счетчики, привыкшие уж сходитьсь здесь по вечерам, готовые продолжить увлекательное занятие, хотя уже дня три, как покончил Долгушин свои расчеты. Были тут, как и всегда, и другие сареевские, приходившие послушать умную беседу, вставить и свое слово, если спросят, был тут и Максим Курдаев, трезвый и пасмурный, зачастивший на последние беседы, отсиживавший час беседы молча и уходивший незаметно со двора прежде Долгушина.

— А вот давайте вместе разберем,— охотно подхватил Долгушин, он пришел к Антонову не для беседы, пришел по хозяйственной надобности — дегтю попросить, на курдаевском дворе не нашлось дегтя, но уйти от интересного вопроса, да при порядочном собрании крестьян, не мог себе позволить.

Мужики сидели на длинном бревне, сгнившем с одного боку до сердцевины, должно быть, венце бывшего ефимовского сарая, не проданном по негодности, задвигались, освобождая место Долгушину возле хозяина.

— Давайте разберем,— повторил Долгушин, усаживаясь.— Скажи, Ефим, взял ли бы ты еще себе земли, если бы ее было вдоволь в вашем обществе?

Мужики засмеялись, предположение было вполне фантастическое. Однако же с интересом уставились на Ефима, ожидая, что он скажет.

— А взял бы! В прошлом году, может, и нет, а нынче взял бы сколько ни то.

— Сколько же десятин взял бы еще? При условии, чтобы обрабатывать все собственными силами, без сторонней помощи?

— Десяти-ин? Скажешь, Василич. Поддесятинки пахоты да с десятину покосу осидил бы, а боле нет.

— Одному боле не осилить, нет,— подтвердили другие мужики.

— Стало быть, только на четверть увеличился бы твой надел. Значит, и доход от земледелия вырос бы на четверть, то есть на двадцать — двадцать пять рублей. Так?

— Так, так! — закивали согласно счетчики и Ефим.

— Да еще если бы добиться отмены выкупных платежей...

И опять засмеялись крестьяне. Долгушина это не смутило, он продолжал:

— Если скинуть только выкупные платежи, пусть бы остальные, государственный, земский и прочие налоги оставались прежними, прибавилось бы в твоём годовом доходе еще пятнадцать рублей. Вот и покрылась бы разница между доходами и расходами и еще бы пять — десять рублей осталось лишку. Стало быть, что же, все дело, действительно, в отрезках да выкупе? Так ли?

Мужики с недоумением смотрели на Долгушина, не понимая, куда он гнет, спрашивает ли их или утверждает положительно, или, может, сам себя спрашивает? Объявил о пяти или десятирублевом прибытке — в насмешку над ними, что ли?

Но и Долгушин смотрел на них в недоумении. Ему только теперь вдруг пришло в голову, что ведь эти две причины — отрезки да выкуп, конечно, важнейшие причины оскудения крестьян, да ведь не бедности, или не просто бедности, а — разорения, нищеты! Устрани эти причины, крестьяне, конечно, вздохнут с облегчением, да из бедности-то не выйдут, многие, многие из них будут спасены от сумы, да бедность-то эта их удручающая, убогость их жизни останутся!

Сил-то взять для поправки положения все равно будет им неоткуда, пяти- или десятирублевый перевес доходов над расходами не выручит,— все равно вся их жизнь будет только в том состоять, чтоб своим изнурительным трудом обеспечить себе элементарное существование, чтоб только-только с голоду не помереть! И это — цель, стремиться к которой он собрался призывать их своим воззванием? Не прав ли был Тихоцкий, предлагавший выставить в воззвании сразу социалистический идеал будущей жизни? Но — что же это значило бы для них, вот для этих реальных сареевских мужиков? Что конкретно, какую программу социальных перемен можно было бы им предложить, чтобы они эту программу приняли как свою заветную? Да что же для них заветно? Понимают ли они сами, что выкуп и отрезки — еще не все, не самые страшные препоны улучшению их жизни, есть препоны пострашнее?..

Впрочем, это-то они, кажется, понимали или, может быть, тоже только теперь поняли, судя по их растерянным лицам, по недоумению, с каким они отнеслись к его двусмысленному вопросу. Похоже, и они были поражены тем, что открылось в результате скрупулезного анализа бюджета одного из них.

— Так это что ж получается? — заговорил, очень неуверенно, староста Никита Борисов. — Это получается, были крепостными и жили лучше? Освобождение, это, что ж, ничего, обман лишь?

— Ты только теперь это понял?

— Так и при барах были бедны крестьяне. При барах — бедность, без их — бедность. Значит, что ж, бедность крестьянина — от бога?

— Скорее от черта, — с мрачной усмешкой возразил Долгушин. — Причем тут бог? И без бога с чертом есть кому на людях ездить.

— Так-то оно так, а все ж, выходит, без чудесной силы крестьянину не подняться,— уныло заключил Борисов.

— Не подняться... Куды!.. Все от бога,— закивали согласно кудлатыми головами другие мужики; только Максим Курдаев не кивал, смотрел на Долгушина выжидающе.

— Нет, мужики, неправда. Подняться можно. Вот в Германии крестьяне, такие же бедняки, поднимаются. Ну, правда, не без помощи государства. Первый толчок к улучшению все же от государства должен исходить. Там министры-то поумнее наших оказались, обустроили освобождение крестьян лучше, чем у нас. Так там крестьяне стали сеять меньше зерна и отводить больше земли под травы и корнеплоды на корм для скота, стали заводить много коров и свиней, держат их в стойлах и продают мясо, масло, сыр. И занятие себе, между прочим, находят в своем хозяйстве в течение всего года, им нет надобности искать дополнительный заработок на стороне. А много животных — лучше удобрено поле, выше урожай того же зерна, стало быть, сообразите-ка, с уменьшившейся площади под зерновыми можно получать то же количество пудов хлеба, что и прежде. Завелись деньги — можно купить лучшие орудия труда, машины, облегчающие труд, молотильные, скажем, или заменить соху плугом, завести лучших лошадей. А то еще вот появились безлошадные плуги, паровые, вспашет тебе такой плуг и быстрее и больше десятка лошадей и сена не попросит. Больше земли можно обработать — значит, и прикупить ее можно, значит, можно устроить лучший севооборот, трехпольку заменить многопольной системой, а это — тоже прибавка урожая. Еще можно заменить семена... Да мало ли что можно! Вот вам вполне осуществимый путь улучшения жизни. А если объединиться, как это делается в рабочих артелях, хоть

бы плотницких, так еще скорее можно достичь обеспеченности. Потому: сообща легче купить дорогую машину и пользоваться ею и всякие расходы, известно, нести легче. А там и школы хорошие завести, чтоб все дети крестьянские учились грамоте да ремеслам разным, да и взрослых обучить грамоте можно... Все можно! Нужно только, чтоб помощь крестьянину была от государства, а не вред, как у нас.

Эту неожиданную вдохновенную тираду мужики выслушали со вниманием, уже без недоверчивых смешков. Долгушин видел, чувствовал: его понимали, с ним соглашались, чем-то он захватил-таки воображение мужиков, может быть, ссылкой на немецких крестьян, даже паровой плуг не показался им фантастической выдумкой. Когда же он сказал про выгоды артельного труда, мужики, все отходники, все так или иначе знакомые с артельным бытом, дружно закивали, одобрительно заговорили: «Верно, верно». Они, впрочем, были удивлены, но удивление их было продуктивно: и правда ведь — все можно!

Опять первым заговорил Борисов.

— Оно, конечно, так. Можно,— согласился он с Долгушиным и спросил с живейшим интересом и со спрятанной ухмылкой, прикрытой преувеличенно простодушным тоном.— Да как же, Василич, так исделать, чтоб была крестьянину-то эта помощь от государства? Али сама она исделается, али как?

Долгушин засмеялся:

— Нет, конечно, само собой это не сделается.

— А как исделается?

— Вы сами должны потребовать эту помощь от государства.

— Это как же, к примеру?

— Ну уж это вы сами должны подумать, как. Будете твердо знать, что вам нужно, найдете способ потребо-

вать. Лучше вот подумайте о том, о чем мы тут говорили, дело ли говорили или так, пустое?

— Но ты-то что присоветуешь? — не отставал Борисов.

— Нет, друзья, об этом меня не спрашивайте, это — ваше дело, что надумаете, то и будет хорошо, — смеясь, поднялся Долгушин, уклоняясь от дальнейших объяснений. И так уж много было всего сказано, пусть сказанное уляжется в их головах. Да и благоразумие требовало не слишком-то открываться с сареевскими, по крайней мере не спешить с этим до поры, среди них ему жить, мало ли как сложатся отношения с этим обществом. Он отвел Ефима в сторону, заговорил с ним о дегте.

Возвращался он от Антонова с Максимом, который вызвался отнести ведро с дегтем на материн двор, было им по пути, изба Максима была в той же стороне, что и Авдоихина. Полдороги шли молча. Пастух гнал через деревню помещичье стадо, в котором ходили и семь сареевских коров, сареевские одна за другой отделялись от стада, останавливались у своих дворов, утробным мычанием вызывали к себе хозяек, из последних усилий несли им навстречу переполненное вымя. Остро, сладко, томительно пахло парным молоком, луговой травой, колодезной глиной. От речки, снизу, поднимался белый вечерний туман.

Максим шагал мрачный, задумчивый. Когда пропустили стадо, он вдруг сказал с кривой улыбкой:

— Я знаю, как надо исделать, чтоб разом их всех взбунтовать.

— Кого их? — не сразу понял Долгушин, о чем он. Нахмурился. — Ты о чем это, Максим Кондратьевич?

— Запалить разом все их деревни, куды б серые делись? Известно, в города б кинулись, а там и без их, сиволапых, народу — деваться некуда. Ну и бунт.

— Да ты что это? Ты что несешь? — смотрел на него с изумлением Долгушин. — В своем ли ты уме? Напился, что ли, опять? Ты пьян?

— Пьян. На всю жизнь пьян, — смотрел на него горячими, сухими и трезвыми глазами Максим, морщина над переносицей темнела жутковатым провалом. — Как в день радости освобождения двенадцать годков тому напился пьян, так с тех пор и хожу пьяный от радости. Да ты, Василич, не думай что. Я — тебе только. Понял я тебя, Василич. Как ты меня, значит, прижал тогда, понял: энтот — не дачник, нет. Да и что с Кирилкой связан — неспроста. Кирилка-то молодой хуже меня был злой. Каков он нынеча, уж не знаю, приехал больно довольный, пытал я его о тебе, смеется, не говорит. Привязал ты его к себе, Василич, что уж. Да я без его знаю: ты из тех, которые с Каракозом царя стрелили да промашку дали.

— Ошибаешься, — смеясь, ответил Долгушин. — Те, кто был связан с Каракозовым, все в тюрьмах да в ссылке.

— А ты разве в тюрьме не сидел?

Долгушин нахмурился: проговорился, видно, Кирилл. Жаль.

Спросил сурово:

— Это Кирилл тебе наболтал?

— Да ты не думай что. Я — могила. Кирилка не виноват, сболтнул без умыслу, я его припер, я — липучий, от меня отстать трудно. За что же ты, Василич, сидел в тюрьме?

— Совсем по другому делу. За сибирские дела. Я сам из Сибири. И зря сидел, потому что судом оправдан.

— Твое счастье. А мне, Василич, нет счастья. И не было никогда и нет. Я его, счастье, не знаю, какое оно на вкус, на цвет. Может, в книжках каких про то написано, да мне такие не попадались.

— Так ты грамотен?

— Печатное разбираю... А толку... Как мы живем, Василич? Для че живем? Ох, как подумаешь... Баба была жива, об том не думал. Жил и жил. Баба у меня была крученая, при ей крутился, горя не знал. Горя не знал, а что знал? Что знают они? — махнул он рукой вдоль деревенской улицы, имея в виду односельцев. — Как кроты в землю носом уткнулись, а она, родимая, и прокормить не может. Померла баба, свез ее туда, откуда не вертаются, вошел в пустую избу, сел на лавку, ребята мои у матери на печке ревут, меня как ударило: для че живем? Нет, эта жизнь не по мне... Худо мне, Василич. Уж так худо, и сказать не могу, — он умолк, отвернулся, сглотнул злые слезы, потом сказал деловито, задумчиво. — Я к тому, Василич, чтоб ты в уме держал. Не знаю, что ты задумал, но, что ни задумал, скажи: Максим, идем! — я пойду. Все одно пропадать, так лучше с музыкой, чем такая жизнь.

Он говорил искренне, но что можно было на это ответить? Долгушин ничего не ответил, положил руку на плечо Максима, похлопал дружески.

Спросил с необидной усмешкой:

— Про красного петуха ты сам придумал или решил последовать примеру Черная из Ильинского? Знаешь такого?

— Знаю, — сказал Максим тем же своим мрачным тоном. — Жег да не сжег православных. Не брался бы. Всех надо разом. Чтоб для пользы. Иль не берись.

— Да ты как будто и не шутишь? Что, уж сам-то не примеривался ли сделать это?

— А ты спытай? Скажи: Максим — исделай! Только укажи, с какого конца, краю то ись, почин исделать. Спытай?

— Нет, уж не нужно, — содрогнулся Долгушин, подумав, что ведь и в самом деле спьяну ли, со злого похмелья этот мужик может натворить беды.

— А то подумай. Поду-умай! — зловеще протянул Максим, посмотрев прямо в глаза Долгушину, забежав для этого несколько вперед и как бы встав у него на пути.

Они уже были у Авдоихиной избы, Максим поставил ведро на землю перед калиткой и пошел дальше, к своей избе.

5

В конце мая дача была готова, сделали плотники, как просил Долгушин, подвал, обшили его досками, покрыли крышу тесом, да сверх того Долгушин попросил их, все за дополнительную плату, уже от себя, поставить в горнице две перегородки с дверьми, так что вышли три комнаты — кухня с печкой, она же и прихожая, с окном на Медвенику, комната с одним окном на речку и двумя окнами на Сареево и еще узкая комнатка с окном на Сареево же. Вход в прихожую был из сеней, за сенями — чулан с окошком. В подвал спускались из горницы, из маленькой комнаты, люк был в полу около печки.

В последний день работы плотников приехал Щавелев, подбили с ним окончательный счет за работу артели и дополнительный материал, пошедший в дело, вышло еще около ста рублей, отдал Долгушин деньги, выставил, как полагается, угощение, Щавелев только пригубил, пить не стал, вовсе не пил вина, потому баловство, поклонился хозяину с хозяйкой, пожелав счастливой жизни, и уехал. А плотники еще оставались, доделывали свое. Уже перед вечером, когда старшой стал складывать свой инструмент в мешок, а его товарищи выносили из избы обрезки досок, стружку, расколачивали ненужные уже подмости, верстак, Долгушин заговорил о Чернае. Начал же разговор старшой, напомнил об обещанной Долгушиным брошюрке:

— Где же твоя грамотка, в которой написано, как жизнь сделать лучше? Али не судьба узнать о том? — спрашивал он с легкой усмешкой. — Разойдемся сейчас и уж больше не свидимся.

— Это почему же? Не на край света, чай, уходите. Погоди немного. У меня ее пока нет на руках, как будет, пришлю тебе с кем-нибудь. Или сам завезу.

— Ну погодим, что ж.

— А вот я хотел тебя о чем попросить. Очень ты меня заинтересовал своим суждением о Чернае. Не съездим ли как-нибудь к нему, уж больно мне на него посмотреть охота. Мне б вместе с тобой хотелось к нему съездить, при тебе с ним поговорить. Можно это сделать?

— Почему нельзя? Только что ж далеко ездить, когда у вас тут в Цареве (Сареево мужики иногда называли Царевым, может, таким и было изначальное название деревни) свои чернаи есть. Один из них брат твоего хозяина, Максимка, все тут, замечаю, кругами порхает, когда добрые люди в поле али где работают, ты его привечаешь, смотри, мужик некрепкой, неверной. А другой вон он, — показал он рукой на Анания, распрягавшего лошадь, — работник твой. Отчаянный малой. Поговорили мы с им. Все о бже пытал: верим мы, нет ли? У его, вишь, веры нет. Ни в бога не верит, ни в людей. Смотри, Василич, оно, конечно, твое дело, а только такие работники тебе наработают. А к Чернаю съездим, почему не съездить? Когда скажешь, так и съездим.

В тот же вечер и перебрались в свою избу. Стелили на лавках, которые соорудили плотники из остававшихся досок, Аграфена с сыном разместились в маленькой комнате, Александр в большой, Ананий в чулане. Затопили печь, ее складывал местный печник, сареевский староста Борисов, каким-то образом выучившийся печному делу за время солдатчины. Сложил Борисов

печь на совесть, сразу занялись щепки, обрезки досок, загудело в трубе, пошел по избе сухой жилой дух. В красном углу поставил Александр на приколоченную плотниками полку, назначенную под икону, вместо иконы — вырезанный им из елового корня крест с процарапанными надписями «Во имя Христа» вверху и «Свобода, равенство, братство» на перекладине, чтоб было на что перекреститься будущим гостям-крестьянам.

Поужинали, уложили Сашка, ушел к себе спать Ананий, а хозяин с хозяйкой долго еще колготились, вешали занавески на окна, разбирали пожитки, прикидывали, что еще нужно сделать в избе и на усадьбе, чтобы с удобствами жить. Потом, когда уж совсем стемнело, вышли на воздух, сели на крыльце, обнявшись, умиротворенные, молчали, проникаясь звуками и ароматами теплой ночи. Стрекотали циркуны, полевые сверчки, в буйной луговой траве, много сена будет в этом году, говорили мужики, плескалась рыбешка в Медвенике, сом лениво ворочался в корягах у изгиба речки, ночные птицы перекликались в лесу, оттуда, из глубины леса, вытекал густой медвяный дурман, мешался с влажными запахами речной низины. Просторно лежала вокруг, давно уж спала деревенская Русь. Что она обещала? Что таилось там, за этими холмами, речками и реками, в глубине, в недрах этой деревенской страны?..

Только собрались ложиться спать, размягченные, стали перестилать, чтобы лечь на полу в большой комнате, у Авдоихи спали врозь, в тесной избе нельзя было позволить себе особых проявлений нежности друг к другу, как услышали дребезжанье быстро приближавшейся телеги. Долгушин высунулся из окна, телега, слышно было, катила прямо по лугу от Сареева, тяжело подпрыгивая на кочках, правил, должно быть, не местный человек, путь держал на освещенные окна дачи, сареевский ехал бы дорогой, которую Долгушин с Ананием про-

ложили от сареевской дороги чуть выше по склону холма. Долгушин вышел на крыльцо, телега подкатила, с нее соскочил рослый мужик, в темноте лица было не разобрать, подбежав к крыльцу, рухнул на колени:

— Барин! К твоей милости. У тебе жена кушерка. Дозволь сказать к ней... Баба у мене помирает, родить не может, нужна кушерка...

Долгушин сбежал с крыльца:

— Ты встань, встань! Пойдем в избу. Жене все скажешь... Да вставай же!

Аграфена в белом платке, накинутом на плечи, вышла следом за Александром. Мужик, вставший было на ноги, снова бухнулся оземь, пополз к крыльцу на коленях, запричитал рыдающим голосом, а голос у него был низкий, трубный:

— Барыня! Голубушка! Спаси! Век не забуду. Едем счас. По гроб жизни буду тебе служить, уж отработаю.. Не откажи...

— Да что с твоей женой? Разродиться не может? Кричит? Ты встань-ка, встань.

— Кричит, так кричит, вся изошла криком, а родить не может. Вся синяя иделалась, страсть.

— Когда начались схватки?

— Чаво?

— Кричать когда начала? Давно?

— Днем ешшо. В поле были с ей, думали, там и родит. А нет и нет... Помогите! Барыня голубушка! Помрет — куды я без бабы? Три дочки маленьки...

— Откуда ты? Из какой деревни? Далеко ли ехать?

— Из Покровского, за Истрой. Верст десять всего будет.

— Что ж, там у вас разве нет повитухи?

— А мы наслышаны про твое старание, барыня голубушка, уж не откажи...

— Хорошо, хорошо! Сейчас поедем, соберусь только.

Собираться, собственно, было нечего, чемоданчик с акушерскими принадлежностями был под рукой, разбудили Анания, попросили остаться с ребенком, Александр решил ехать с Аграфеной, и отправились на телеге мужика.

Десять верст мужика оказались с гаком и порядочным, мужик настегивал лошадь не жалея, но и через полтора часа довольно быстрой езды все не могли добраться до его деревни. Ехали трактом, проселочными дорогами, через какие-то поля и луговины, мосты, ночь была не темная, и все-таки было удивительно, как мужик находил дорогу в этом бездорожье, а он выбирал кратчайший путь и ни разу не сбился с пути, не опрокинулся, не влез в грязь.

Наконец из темноты выявились избы небольшой деревушки, спрятанной в полевом овражке («Приехали!» — радостно и тревожно объявил мужик), подъехали к избе со светящимся оконцем, дверь была настезь, две или три бабы, должно быть соседки, суетились в низких сенцах, что-то вытаскивали из горницы или втаскивали, встретили они приехавших озабоченно и деловито, Аграфена скрылась вместе с ними в избе, Александр остался у лошади, взялся сам распрячь ее и поводить — вся была в мыле, хозяину было не до лошади; в избу хозяина не пустили, куда он сунулся было следом за женщинами, велели нагреть воды и побольше, на воздухе, чтоб не топить печь в избе.

Управившись с лошадей, напоив, заложив ей сена, Александр подошел к избе, заглянул в открытое окошко, — из полутьмы избы, освещенной двумя лучинами, пахнуло какими-то лекарствами, которыми пользовалась Аграфена. Окруженная бабами, она что-то делала с лежавшей на широкой лавке роженицей, мерно сгибаясь и разгибаясь, роженица молчала, то ли была в забытии, то ли, притерпевшись к боли, перемогала ее. Постояв,

послушав, Александр вернулся к лошади, сел на телегу.

Небо начинало светлеть. Было тихо. Был тот пред-рассветный час, когда затихали все звуки, умолкало все живое, даже циркуны ненадолго замирали, лошадь перестала хрустеть сеном, и в этот-то самый тихий час ночи в низенькой, бедной, должно быть, курной — трубы не было видно — избе слабо пискнул ребенок, потом еще раз и зашелся здоровым голодным криком. Бабы вышли из избы, что-то вынесли, смеясь, отдали мужику и вернулись в избу, мужик несмело вошел в избу следом за ними и скоро вышел, подошел к телеге, к Долгушину, в слезах:

— Мальчонку родила, слава те господи! Оно хоть бы и девку, а уж мальчонку... — прогудел он и осекся, не мог говорить от волнения.

— Жена-то как?

— Заснула, намаялась... Спит. Ох, намаялась. Спасибо тебе, барин, добрый человек...

— Мне-то за что? — засмеялся Долгушин.

— Сам знаешь. И вот я тебе скажу. Слышал я, у тебе какая-то грамотка али что про нашу мужицкую нужду и как из нужды выйти...

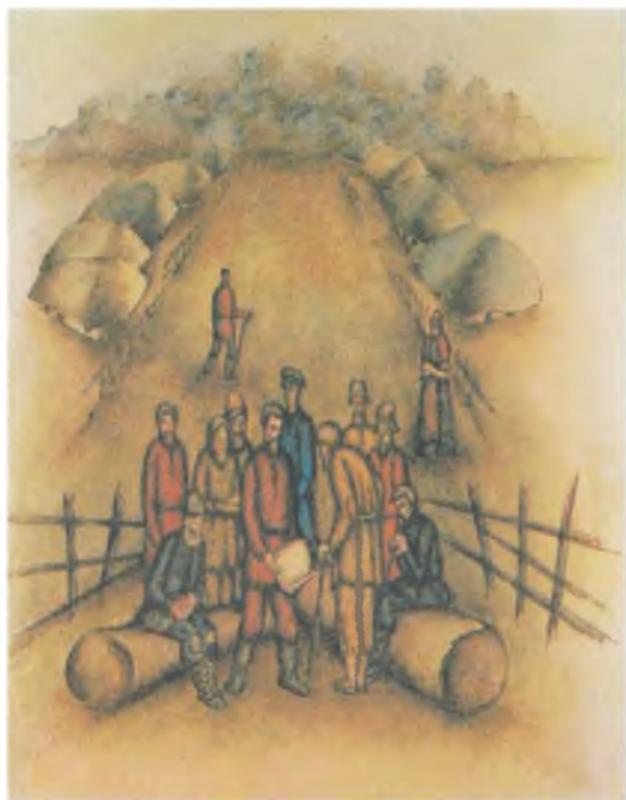
— Откуда тебе это известно? — поразился Долгушин.

— Свояк у мене в Оборвихе, а у его свояк — по плотницкому делу, дом тебе ставил, Игнатий, он рассказывал. Про грамотку скажу тебе...

— И о жене моей ты узнал от него, ну, что акушерка? — перебив его, спросил Долгушин.

— От него, от него! И помимо его бабы принесли на хвосте... Так о грамотке я скажу: собираешь ли ты кумпанню али что, дай мне знак, Егорше Филиппову, послужу тебе неший ли, конный. А грамотку ту и нам бы, покровским, почитать охота, грамотеи есть у нас.

Вот тебе на! Еще один инсургент объявился. Причем в отличие от Максима этот был, можно сказать, продукт



прокламационной пропаганды. Воззвания уже производили свое действие, а их еще не было. Что же будет, когда удастся их наконец отпечатать, да в таком количестве, чтобы можно было раздавать широко?

Ответить Егорше не успел Долгушин, Аграфена в сопровождении баб вышла из избы, сияющая, бодрая.

— Все, Егорша Филиппович, моя помощь твоей жене больше не нужна, вовремя же мы приехали, теперь Аннушка с Полюшкой присмотрят за ней,— полуобняла она засмеявшихся смущенно женщин,— они знают, что нужно делать, слушай их, а мы поехали. Нет, нет, ты оставайся! — остановила она кинувшегося было к лошади Егоршу.— Тебе сейчас лучше быть подле жены. Оставь нам свою лошадь, заберешь ее через день-два.

— Понял, все понял, барыня-голубушка, как мне тебя благодарить, не знаю...

— Не думай об этом, ничего ты мне не должен. Ну, ну, встань, это я не люблю,— сердито прибавила Аграфена, потому что Егорша снова стал было опускаться на колени.

Запрягли лошадь. Перед тем как тронуться в обратный путь, Долгушин сказал Егорше:

— Я пришлю тебе грамотку, Егорша Филиппов.

Ехали не спеша, стараясь не сбиться с пути, каким вез их из Сареева Егорша. В свете занимавшегося дня выбирать дорогу было нетрудно, теперь как бы само собой делалось ясно, как ехать, нужно было только не терять направления движения, держать чуть правее быстро светлевшего края неба. День занимался чудный, при ясном небе, было тепло, тихо, слышны были только скрипы телеги да фыркание лениво трусившей лошади. Тем не менее довольно быстро добрались до брода через Истру, это было примерно полпути.

Лошадь стала часто спотыкаться о корни, выехав из леса, решили дать ей передохнуть, спустились к реке

через какое-то большое поле, должно быть помещицье, со стожком соломы у самого берега. Аграфена соскочила с телеги, подбежала к стогу, разгребла с торца черный внешний слой, вывалила на землю ворох золотистой соломы, рухнула на него в изнеможении.

— Ух, устала, если б ты знал! — сказала, смеясь, глядя снизу вверх на подходившего Александра счастливыми глазами. — Если б ты знал, как мне хорошо.

— Хорошо, — улыбаясь, сказал Александр, устраиваясь рядом на пружинящем пахучем ворохе, любуясь энергическим выражением ее одухотворенного лица, ее особенной, с ямками в уголках губ, зазывной улыбкой.

— Все задуманное исполняется и у меня, и у тебя, кажется. Так ведь? — посмотрела она на него пристально; ее маленькие, всегда как бы сонные глаза теперь казались большими, сияли влажным блеском.

— Да, так, — ответил он.

— Даже не верится, что это может продлиться долго.

— Что это?

— Столько в нашей жизни было всего, неужели больше не будет? Да нет, это невозможно, — коротко вздохнув, сама же и ответила себе. Налетевшее было облачко тревоги тут же и растаяло без следа, снова она смотрела на Александра с улыбкой. — Ложись ко мне ближе. Вот так. Обними меня. Крепче. Еще крепче. Пусть будет что будет, а теперь нам хорошо, правда?

— Правда, — дрогнувшим голосом сказал он, целуя ее улыбающиеся, с ямочками, губы, зарываясь лицом в щекочущую копну ее шелковистых волос...

Проснулись они одновременно и счастливо от бьющего прямо в глаза солнца и оглушительного звона полевых сверчков, хлопотливой трескотни воробьев, прилетевших к стогу, должно быть, из деревни, видневшейся на заречном холме. Солнце поднялось еще совсем невысоко, но уже припекало, река была недвижна, без

единой морщинки, зеркально отражала противоположный обрывистый берег; едва заметные ключья теплого тумана стояли над сонной еще рекой.

— Искупаемся! — радостно вскочила Аграфена. — Вода должна быть теплой. А, кстати, ты умеешь плавать? Послушай, Саша, да не странно ли, что я не знаю этого? Ведь мы четыре года вместе!

— Действительно, четыре. Из них два года в крепости, но это, конечно, не в счет.

— Не надо о грустном. Так ты умеешь плавать?

— А ты?

— Я-то умею, а вот умеешь ли ты... — начала было она подзадоривающим тоном, торопливо раздеваясь, сняв тяжелое платье, осталась в нижней юбке, стала снимать чулки; он не дал ей договорить.

— А вот мы сейчас проверим! — закричал он, обхватив ее за талию, потащил к реке.

— Сумасшедший! Что ты делаешь? Дай же раздеться! Пусти же! Я сама... Ай!

Они бултыхнулись в осоку, в тину, вода, еще не прогревшаяся, обожгла их, вымазанные в тине, с хохотом выплеснулись из воды, бросились вплавь прочь от грязного берега, саженками, чтобы скорее согреться. В одежде было неудобно плавать, и они уже в воде все посрывали с себя, побросали на берег, стесняться было некого, вокруг ни души. Вода уже не обжигала, бодрила.

Ниже по течению был чистый песчаный берег, они доплыли до этого места, вышли на песок, смеясь, пустились бегом наперегонки к разбросанной по берегу одежде. Стали было сушиться, но нестерпимо хотелось есть, с собой же взять из еды ничего не догадались, натянули на себя сырое, погнали лошадь; через час они уже были дома.

На крыльце дачи сидели, ожидая их, приехавшие с утренним поездом Виктор Тихоцкий и Лев Дмоховский.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ДЕЛО

1

— Ну-с, господа, так что же — за дело? — с одушевлением сказал Дмоховский.

Осмотрев дачу, они с Тихоцким возвращались в Москву, только за тем и приезжали, чтоб посмотреть, как строится дача, не ожидали, что она уж готова. Долгушин взялся подвезти их до станции, Ананий сбегал в Сареево за лошадью, резво выехали со двора, переехали по шаткому мостику через быструю Медвенику, стали подниматься в гору за Медвеникой. Тут пришлось всем соскочить с телеги, гора была крутая, подталкивали тележку, помогая лошади, тогда и заговорили о деле, а потом уж не садились, шли пешком прохладной лесной дорогой и говорили. Говорили о том, о чем на даче, при Аграфене и Анании, не следовало говорить. На даче вспоминали о поездке Дмоховского за границу, в Вену, Париж, Женеву, где он за полтора месяца успел сделать множество дел, выполнил кое-какие поручения петербургских «чайковцев» к тамошним «чайковцам», эмигрантам, поездил по заводам клееварным и выделяющим металлическую посуду штампованием, это уже по поручению сыровара Верещагина и московского заводчика Платонова, в первую голову Платонова, предлагавшего Дмоховскому место у себя на клееварном заводе. О главном же, ради чего и ездил за границу Дмоховский, о напечатанной им в Женеве, в типогра-

фии «чайковцев», прокламации Берви, на даче не было сказано ни слова. Обо всем этом — о прокламации Берви, о готовности дачи для оборудования типографии, о распространении воззваний — и заговорили теперь, в лесу, после Медвеники.

— Виктор мне рассказал о твоей прокламации, Саша, она ему понравилась больше, чем прокламация Берви. Так, что же, пусть брошюрка Берви полежит, отпечатаем твою прокламацию и тогда уж пустим обе в ход? Или все же, не дожидаясь твоей, начнем теперь же распространять эту? — рассуждал Дмоховский, бодро вышагивая сбоку телеги; маленький, рыжий, с длинным висячим носом, в длинной красной рубахе, перехваченной в поясе шелковым кушачком, с суковатой палкой, подобранной им у моста через Медвенику, чтоб ставить под колеса как тормоз, он был похож на щеголеватого лесовичка, выводящего путников из дебрей леса к свету. — Мы, Саша, везли с собой в Москву несколько экземпляров этой прокламации, чтоб тебе показать, да не довели, извини, по пути пришлось раздать разным добрым знакомым, из разных кружков, последнюю отдали уже в Москве, чайковцу Чарушину, он ехал куда-то на юг, пусть покажет ее на юге. В Петербурге же мы с Виктором многим чайковцам показывали. И не только чайковцам, конечно.

— Так вы с Виктором в Петербурге встретились?

— Лев написал мне в Харьков, когда будет в Петербурге, и я помчался туда, чтоб встретить его там, в Москве не останавливался, — ответил Тихоцкий.

— Зачем же в Петербурге надо было встречаться? — удивился Долгушин. — Почему не в Москве? Лев один не мог приехать в Москву?

Дмоховский и Тихоцкий засмеялись, переглянувшись

— Прокламации-то оставили в Петербурге?

— Да, — ответил Дмоховский.

— У нас там кроме прокламаций было еще дело личного свойства, которое надобно было уладить, как только Лев вернется из-за границы, — объяснил Тихоцкий.

— Уладить с Татьяной? — догадался Долгушин.

И снова засмеялись, переглянувшись, Дмоховский и Тихоцкий:

— Да.

Татьяна, очень красивая и своенравная девица, ярославская крестьянка, бывшая лет десять в услужении у матери Дмоховского Анастасии Васильевны, которая обучила ее грамоте, шитью, приличным манерам, года три тому сошлась со Львом, последний год они прожили отдельно от его родных, он не прочь был бы и жениться на ней, но мать не позволила, прошедшей же зимой Татьяна ушла было к Тихоцкому, который тоже был не прочь жениться на ней и у которого для этого не было препятствий со стороны родных, да что-то не заладилось у них, Татьяна решила вернуться к Дмоховскому, плакала, тосковала, и вот этот-то треугольник, о котором Долгушин знал и от самого Дмоховского, и от Аграфены, принимавшей участие в судьбе Татьяны, пытались в Петербурге разрешить Дмоховский и Тихоцкий.

— Ну и как — уладили? — спросил Долгушин.

— Уладили, — ответил Дмоховский. — Сейчас она в Ярославле, недели через две приедет ко мне сюда в Москву, будем жить в Москве, если поступлю к Платонову, или поселяю ее у тебя здесь, на даче, Аграфене твоей будет веселей. Не возражаешь?

— Милости просим.

— Вот и отлично. Так о прокламациях. Печатать ли сперва твою прокламацию или теперь же распространять брошюру Берви, все равно надобно нам с Виктором снова ехать в Петербург, подбирать компанию

распространителей. Подберем — и вернемся. И привезем с собой всю партию брошюр Берви. А ты тем временем пригодишься к печатанию.

— Хорошо. Но вот о чем я хотел с вами посоветоваться, друзья. Я беседовал с мужиками, они понимают, что выкуп и отрезки — еще не все, помимо передела земли и отмены выкупа надобно еще что-то. Другое дело, что они не знают — что. И когда им говоришь об артельном труде и крупном хозяйстве, о машинах, о распределении по труду, они слушают хорошо. Так не вставить ли, в самом деле, наши требования в текст, пока не поздно?

— Я не знаю твоего текста, Саша, решайте с Виктором, — сказал Дмоховский.

— Нет, — решительно сказал Тихоцкий. — Все-таки не стоит этого делать. Тебя, Саша, убедили мои доводы, а меня — твои. Что поймет полуграмотный крестьянин, которому случайно попадет в руки наша брошюрка? Ты ведь не будешь с каждым крестьянином, кому отдашь прокламацию, беседовать так, как беседовал со здешними мужиками. Нет, пусть все остается как есть. Во всяком случае, не спеши набирать прокламацию, если и устроишь станок до нашего возвращения. Лев прочтет, вместе решим. Жаль, что он теперь не прочел. Надо было бы тебе, Саша, захватить рукопись с собой, сейчас бы он и прочел.

— Вернемся?

— Нет, теперь некогда. Да не беда, мы скоро приедем.

— Хорошо. — согласился Долгушин. — Еще вопрос. Как быть с Аграфеной? Вот загвоздка. Она решительно против конспираций. Привезем станок — взбунтуется. Скрыть от нее печатание невозможно, да и не хотелось бы скрывать...

— Почему бы тебе не отправить ее куда-нибудь на время печатания, хотя бы в Петербург? — сказал Дмоховский.

— Одна, без меня она не поедет. Ей там делать нечего. Здесь же у нее дело...

— Тогда поезжай с ней сам в Петербург, не связываясь с печатанием. Отдай нам свою прокламацию и поезжай. Мы сами все сделаем — отпечатаем, распространим.

Долгушин засмеялся, покачал головой.

— Не подходит тебе это? Тогда чего же ты хочешь?

— Хочу понять, где ошибка, почему так получается? Я виноват, впутал в свою жизнь ее, ребенка, или...

— Виноват, впутал! — сердито перебил его Дмоховский. — Что же, по-твоему, и я виноват в том, что впутываю в свою жизнь Татьяну? Попробуй это объяснить ей... Тут нечего морализировать. Если есть тут вопрос, то практический: сможешь ты наладить типографию при Аграфене, не отправляя ее никуда, или не сможешь?

— Что же остается...

— Вот и весь вопрос... Давайте лучше подумаем о том, кого будем звать к себе в компанию. Из коммуны Топоркова можно будет предложить приехать сюда Василию Тихомирову, да Плотникову с Папиным, да самому Топоркову и его брату. Из коммуны Ивановского — самому Ивановскому да, может, Ветютневу. Из чайковцев и прочих — Шишко, Соловьеву, Ковалику...

Проводив друзей, Долгушин поспешил вернуться на дачу, гнал лошадь крупной рысью, нужно было многое устроить в доме и на усадьбе, чтобы жизнь на пустоши сделалась мало-мальски удобной в бытовом отношении.

2

В конце мая резко похолодало, небо задернулось серенькой мутью, днем и ночью побрызгивал холодный дождик, несколько раз с запада налетали свирепые

грозы, приносили с собой стремительные потоки ледяной воды, загоняли по избам напуганное крестьянское население, а в июне опять распогодилось, как-то вдруг потеплело, небо очистилось до гуттаперчевой черноты, пропитавшаяся влагой земля жарко парила, выгоняя к солнцу хлеба и травы. Весь день над пустошью, над луговой ее частью, над пашней стояло душистое марево. Хлеба и травы поднимались небывалые, говорили мужики.

С нетерпением ожидая возвращения из Петербурга друзей, Долгушин все дни проводил на даче, строил сарай, колодец, начал ограждать усадьбу, сам рубил в лесу, в запущенном лесу помещика Гребнера, колья и жерди для плетня, выскивая недавно упавшие деревья, березу, как было условлено с Гребнером, обстругивал, обжигал на костре основания столбов до обугливания, чтоб не гнили в земле, ставил на место. Спешил покончить со всем этим до приезда друзей, чтобы уж потом, когда начнется дело, не отвлекаться на бытовые мелочи.

Типографией решил не заниматься до приезда друзей. Так решил из-за Анания. Что-то случилось с Ананием, когда перебрались из Сареева на дачу, будто положил на него дурной глаз оборвихинский плотник Игнатий. До переезда на дачу был Ананий безотказным помощником, вместе с ним подняли полоски овса, проторили дорогу к усадьбе, начали, еще при плотниках, рыть колодец и ладить сруб для него. Ухаживал Ананий за лошадью, выполнял разные услуги, до него исполнявшиеся Максимом Курдаевым, вполне заменил собою Максима, который с его приездом как-то вдруг выпал из поля зрения Долгушина, исчез. Думал Долгушин вдвоем с Ананием устроить типографию, обучить его набору и даже, может быть, вместе с ним начать набирать «Русскому народу», до поры, однако, не спешил открывать ему тайну станка, думал, когда будут пере-

возить станок из Москвы, тогда и откроет; и хорошо, оказалось, делал, что не спешил открывать.

Задурил Ананий. Начал с того, что стал с какой-то нарочитостью отлынивать от работы. Пошлет его Долгушин за хворостом в лес, он пойдет — и исчезнет, нет его час, два, отправится Долгушин на поиски, найдет его в лесу, в старом березнике, где обычно валежник собирали, ни палочки не поднял Ананий, лежит на стволе упавшей березы, руки закинул за голову, в небо смотрит. «Ты чего?» — «Ничего», — отвечает, встает, начинает собирать валежник. Соберут по охапке, вместе вернутся на дачу. Скажет ему Долгушин идти к колодцу, нужно углубить яму; через час сам придет к колодцу — Ананий и не думал спускаться в яму, сидит на краю, ноги свесил вниз, болтает ногами. «Что не работаешь?» — «Работаю», — отвечает, встает, берет лопату, лезет в яму. Уйдет Долгушин — снова вылезет из ямы, сядет на краю, будет сидеть без дела, куда этого не заметят.

Смысл этих демаршей Анания не сразу понял Долгушин, поняв — подивился странной прозорливости плотника Игнатия.

Стал вдруг Ананий снова приставать к Долгушину с вопросами о боге, было уже такое, в Петербурге, в верещагинской мастерской, когда поразил Анания новый управляющий мастерской утверждением, что ни бога нет, ни загробной жизни нет, что религия придумана одними людьми для одурачивания других, а все странное, непонятное в явлениях природы и ощущениях человека объясняется физическими законами. Тогда Ананий как будто согласился с доводами Долгушина, хотя и нелегко ему было расстаться с верой в бога, особенно с верой в загробную жизнь, все никак не мог понять, как это со смертью человека все для него так сразу и кончается, никак не мог представить себе небытие. Теперь

снова заговорил о загробной жизни, но уже с иной точки.

— Вот вы говорите, Александр Васильевич, что религия есть ложь и загробной жизни не существует,— начал, как всегда без видимого повода, Ананий, они с Долгушиным только вышли из лесу, вынося по охапке хвороста, было тепло, тихо, ясно вечерело, над Медвеникой со звонким пронзительным скрипом низко носились стрижи, жди на завтра дождика.— Так. Но ежели так, то к чему мои добрые намерения, какая мне от них польза? В таком случае я должен лишь стараться воспользоваться настоящей жизнью, хотя и не вредить другим, потому себе же вредно, но и не тратить своих сил на пользу других, в особенности при таких свинских порядках, как у нас. Так?

— Нет, не так,— ответил Долгушин.— Странно, что тебе пришла в голову эта мысль. Я тебе уже, кажется, говорил, что люди в обыкновенной жизни поступают по-человечески, а не по-звериному вовсе не потому, что думают, что бог им за это воздаст в загробной жизни, а в силу элементарных законов общежития: именно потому, что выгодно делать добрые поступки, тратить силы на пользу других, каждый человек это понимает бессознательно. А попы придумали, будто только из страха перед богом человек может иметь добрые намерения, а по природе своей он, мол, зверь. И свинские порядки тут ни при чем. Если ты порядочный человек, никакие свинские порядки не заставят тебя поступать по-свински. Порядочный человек должен в любых условиях оставаться порядочным...

— А почему должен? Кому должен? — поспешил перебить его Ананий, ухватившись за слово «должен».

— Себе — должен! Прежде всего — себе.

— Вот этого я не понимаю. Как же это, ежели, примерно, условия будут такие, что мне никак не будет

выгодно поступиться своей пользой для пользы других, примерно, взойти на крест, как Иисус Христос, для спасения других, как же это я поступлюсь своей жизнью? Вот ежли б я верил в загробную жизнь и в воздаяние бога, тогда б я еще подумал, а не начхать ли мне на эту земную мою конечную жизнь, когда мне за мой крестовый подвиг предстоит вечное блаженство за гробом? А когда я не верю в загробную жизнь, какая мне выгода жертвовать собой?

Долгушин, усмехнувшись, покачал головой:

— Ты неправильно ставишь вопрос, друг Ананий, ты все упрощаешь, все сводишь к корысти, к зависимости добронравия от воздаяния за гробом, а ведь такое добронравие еще не добронравие и даже, если хочешь знать, не добронравие с точки зрения самой религии, подлинного учения Иисуса Христа, суть которого в ином. Когда я говорю, что попы придумали страх перед богом и прочее, я имею в виду не собственно религию, а опрошенную форму религии, религию для народа, действительно придуманную, чтобы дурачить массы. Подлинное добронравие, или нравственный закон, строится ли он на чисто философских основаниях или на религиозных, неважно, обращается к разуму человека, к осознанию им не просто выгоды или невыгоды того или иного способа поведения, а — и с т и н н о с т и жизни. Тут речь о смысле жизни, о поиске истинного содержания жизни, о том, чтобы строить свою жизнь по и с т и н е. В конечном счете истинное жизненное поведение и оказывается выгодным, но на первом-то плане истина, а не выгода...

— И ежли по истине требуется умереть, как у того мудреца, который яд выпил, значит, и умереть — выгодно?

— Даже если в особо трагических случаях истина требует, как это было у Сократа, о котором я тебе рассказывал, если требует истина смерти, для человека

лучше, выгоднее умереть, чем оставаться в живых и жить не по истине.

Ананий недоверчиво засмеялся, но ничего не возразил, промолчал.

— Это нелегко понять, Ананий, но это так. Если ты серьезно будешь думать о смысле жизни, рано или поздно поймешь, как важно человеку найти истину. О том, что истина — цель жизни, и в Евангелии говорится: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». И ни при чем тут воздаяние божье и загробная жизнь. Следуй в жизни заповедям нагорной проповеди — и построишь свою жизнь на каменном основании, а не на песке, никакие превратности судьбы тебе не будут страшны. Вот в чем суть учения Христа. Неважно, из веры в бога ты следуешь этим заповедям добронравия или пришел к этому путем философского размышления, ты равно угоден богу: «всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Изменишь правилам добронравия от того, что потерял веру в бога и в загробную жизнь, — только себе повредишь: основание-то жизни будет непрочное, на песке. «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое». Так что, друг Ананий, лучше считай идею загробной жизни и божьего воздаяния аллегорией, символом спасения души человека, живущего по истине, не принимай буквально...

Ананий даже затрясся от трудно сдерживаемого раздражения, все, что говорил Долгушин, было слишком мудрено, казалось высокомерным и потому подозрительным, хотелось ответить на эту премудрость дерзостью. Чтобы и правда не нагрубить, Ананий поспешил спросить:

— А вы нашли истину?

— Я нашел.

— Ну и в чем она?

— В служении народу.

— И какая ж вам в том выгода?

— Да ведь я же тебе говорю, — тоже начиная раздражаться и с трудом удерживаясь от резкого тона, заговорил Долгушин, — для всякого, кто ищет истину, на первом плане сама истина, а не выгода. Мы не той партии, чтобы извлекать для себя какие-то выгоды из служения народу...

— Глупа же ваша партия, — все-таки сорвался Ананий.

И полетел вперед, получив удар по шее. Бросив хворост, нелепо замахал руками, пытаясь удержаться на ногах, удержался, пробежав несколько шагов, остановился, с удивлением оглянувшись на Долгушина:

— За что?

— За глупость. Вперед думай, что говоришь, — сурово сказал Долгушин, но гнева уже не было, он уже раскаивался, что дал волю гневу, впрочем, Ананий заслужил затрещину, слишком занесся, для него же старались, перед ним разливались, развивая, может быть, никем еще не изреченное новое слово, и вместо признательности такой плевков, обидно...

— Вот вы как, значит. Вы, значит, баре, а мы ваши холопы, нас можно взашей. Все правильно.

— Хватит болтать.

— Нет, все так и есть. Так бы и говорили сначала, когда звали сюда. А то «дело! дело!». Теперь знаем, какое дело.

— Не болтай чепуху, Ананий, — нахмурился Долгушин.

Но Анания понесло. Долгушин, остановившись у брошенной Ананием вязанки хвороста, опустил на землю

и свою вязанку, тяжело смотрел на расходившегося парня.

— Ага, не нравится? Я еще не то скажу. Я все скажу. Вы мне денег не платите. Дачу построили, помещичаете, а денег не даете. Обещались платить, как у Верещагина, а только и дали червонец, как приехал. А на работы гоняете...

— Опомнись, Ананий. Что ты говоришь? Мы построили дачу не для того, чтобы помещичать. И не было у нас с гобой уговора насчет платы, как у Верещагина, я тебе обещал платить пятнадцать рублей в месяц и заплачу, когда будут деньги, а теперь денег нет, и ты это знаешь.

— Ничего не знаю. Не буду работать, покуда не отдадите деньги. Не будете платить, как обещались, уйду от вас.

— Ну и уходи.

— Уйду. Но сперва вы мне деньги отдайте, — зло посмотрев на Долгушина, повернулся и, так и не подняв своей вязанки, зашагал к даче. Долгушин взвалил обе вязанки себе на спину.

До утра где-то пропадал Ананий. Утром явился с синяком под глазом. «Что случилось?» — «Ничего», — хмуро ответил, взял хлеба со стола, сидели в горнице завтракали, и ушел к себе в чулан. Опять, должно быть, побили деревенские парни за девок, к которым был Ананий очень неравнодушен, такое уже случалось.

Падок до девок оказался Ананий, и девки липли к нему, чем-то он их притягивал, хотя собою был как будто и не больно виден, маленький, худенький, с мелкими и нежными чертами лица, скорее смахивал на мальчика подростка, чем на взрослого парня, да многие и принимали его за мальчика, это всегда его обижало. Однако ж была в нем какая-то для девок притягательность, может быть, в его редкой для русского парня

черноглазости при белокурых-то кудрявых, длинных, до плеч, волосах, в нервности, да ласковости, да опрятности, за одежкой и обувкой очень следил, ходил в крепких сапогах с медными подковками, синем доброго сукна казакине, картузе с лакированным козырьком, в красной (подражая Долгушину и Дмоховскому) косоворотке. Грамотный, бойкий, многознающий парень был интересен в разговоре, уж, конечно, интереснее любого деревенского молодца. Тянулись к нему девки, не боялись удаляться с ним для интимного разговору в укромные углы, не боялись его ласковых объятий, легко теряли голову, а он не очень-то заботился об их репутации, пользовался этим, за что и доставалось ему от местных парней. Раз Долгушин застал его с одной из девок на сеновале у Авдоихи, рано утром полез на сеновал за вилами, а они, голубки, сладко спят, обнявшись, только ноги прикрыты кожушкой, одежки раскиданы по всему сеновалу. Будить не стал, но потом отчитал Анания, велел больше в дом никого не приводить. Ананий больше не приводил, но синяки все-таки появлялись на его физиономии.

Опять исчез Ананий на целый день, не было его видно до середины следующего дня, потом прибежал встрепанный, испуганный и смущенный: «Спрячьте меня, Александр Васильевич, за мной мужики гонятся». — «Что ты еще натворил?» — «Потом, потом...» — нервно оглянулся. С той стороны, откуда он прибежал, со стороны леса, близко подступавшего к усадьбе в верхней ее части, послышались громкие возбужденные голоса. Глянув затравленно на Долгушина, Ананий юркнул в дом.

Из-за леса вышла толпа горлающих мужиков, обогнула огороженную сторону усадьбы. Завидев хозяина, мужики притихли, приостановились, потом все же, несмело подталкивая друг друга, вошли в ограду, при-

близились, подергивали шапки с голов. Возглавляли компанию два еще не старых крестьянина, одного из них, востроногого, с бородой клином, Долгушин знал, он иногда заходил на двор Ефима Антонова послушать разговор о крестьянском житье-бытье, случалось и сам вставлял словечко, всегда с толком, видно было, человек с разумением; другого, щербатого, с большой лысиной, видел впервые: должно быть, не сареевский. Эти двое были серьезны и озабочены, за ними же видны веселые лица, явно, те пришли ради веселого зрелища.

— Иде твой работник, Василич,— решительно заговорил сареевский,— он сюды побег, иде он? Вели ему вытти, мы с им потолкуем.

— Ужо потолкуем! — с веселой угрозой, со смешками поддержали востроногого другие мужики.

— Да что стряслось?— спросил Долгушин, догадываясь, что, верно, захватили мужики Анания на месте преступления, да он увернулся от расправы.

— А ты у его спроси! Он расскажет! Мало ему, вишь, городских девок, беспутных, наших взялси портить. Экой, скажи, кобеляка! Шкодил с сареевскими, взялся за лызловских. С его, Митрохой, девкой, сваты мы с ими, лызловскими,— показал сареевский на лысого, все молчавшего,— нашли в стогу, девку выдрали, а энтот убег. Вели ему вытти счас. Все одно от нас не уйдет.

— Вот что, мужики,— подошел ближе к толпе Долгушин.— Обещаю вам, я с ним разберусь. Строго. Уж будьте уверены. А вы идите теперь по своим делам...

— Счас его давай!.. Мы сами разберем...— загомонили мужики.— Пушай мотает отседова... Забрюхатит девка — ноги ему повыдергаем!.. От нас не уйдет...

— Я же сказал, мужики, разберусь. Обещаю вам. А теперь идите. Идите.

— Разберись, сделай милость... Василич разберется... Идем, мужики... Эй, Митроха, а как оженим кобелька на твоей Настехе?.. На всех дурехах не оженишь... А по очереди! Ха-ха!...— галдели и смеялись, уходя, мужики.

Долгушин нашел Анания в его чулане, тот лежал на лавке, закинув руки за голову, смотрел на Долгушина с улыбкой, он все слышал, был уже спокоен.

— Я тебя предупреждал раз, веди себя прилично, если хочешь оставаться с нами,— сказал Долгушин.— А ты что делаешь?

Ананий ответил смеясь:

— Да я при чем? Они сами на шею вешаются. Только погладишь дурочку, она и отворяет ворота.

— Если понесет эта Настеха или кто там, женишься на ней?

— Еще чего! — снова засмеялся Ананий.— Мне рано жениться.

— И тебе не жалко девахи? Ты с ней поигрался и уехал, а ей жить здесь. Какая за ней слава пойдет? Кто ее замуж возьмет?

Ананий сел на лавку, прищурился зло:

— Девку пожалели. Мужиков жалеете. А меня кто пожалеет? Я за них, может, завтра в тюрьму сяду. Мне свободой пользоваться сколько осталось — месяц? Меньше? Пойду с вашими книжками и попадусь. И на всю жизнь запечатают в каменную яму, завяжут в железа. И за кого? За них, лапотных. А вам девку жалко,— он встал, сгреб с лавки поддевку.— Уйду я от вас. И с книжками вашими не пойду. Да и где они? Все вы говорите, говорите. (Пошел к двери, но у двери обернулся, бросил ядовито.) Но сперва вы мне деньги отдайте!

И вышел, сильно толкнув дверь.

Нужно было с ним расставаться. Были бы деньги,

отдал бы ему его червонец или сколько там ему причиталось — и дело с концом. Но денег не было. После того как рассчитался с Щавелевым и плотниками, осталось около трехсот рублей, вручил их Дмоховскому и Тихоцкому, им деньги были сейчас нужнее, оставил на жизнь несколько рублей. Нужно было ждать возвращения друзей.

3

Из Петербурга вернулся только Дмоховский, Тихоцкому пришлось, по депеше из Харькова, уехать к себе в имение, позвали неотложные дела, уезжал он туда неохотно, с намерением поскорее покончить с делами и приехать в Сареево.

В Петербурге удалось склонить на пропаганду только двух человек, неразлучных приятелей-студентов — филолога Николая Плотникова и медика Ивана Папина из коммуны Топоркова. Вообще-то участвовать в распространении прокламаций соглашались многие, но с оговоркой, что не теперь, а когда приготовятся, переехать же в Москву теперь, бросить учебное заведение или службу, порвать все связи с обществом, перейти на нелегальное положение, жить по подложному паспорту, на это решились только эти двое. Оба они были уроженцами Сибири, тобольцы, старые знакомые Долгушина, оба в свое время входили в кружок сибиряков.

Впрочем, пока довольно было и двух новых товарищей. Довольно для того, чтобы пустить типографию, приготовить должное количество прокламаций. Плотников и Папин обещали приехать через несколько дней, только развяжутся с Петербургом.

Появился Дмоховский на даче не один, привез с собой Татьяну, с которой съехался в Москве. Обрадова-

лась ей Аграфена, тут же решили женщины поместиться вместе, в чулане, выдворив оттуда Анания, оставив для мужчин обе комнаты в горнице, тем более что в скором времени ожидалась на даче и другие гости-мужчины. Был чулан обыкновенной комнатой в одно окно, попросторнее той комнаты в горнице, в которой помещалась Аграфена с сыном, только это была холодная комната,— когда топилась печь в горнице, тепло сюда не шло, но теперь-то, с наступлением теплых дней, это было очевидным достоинством чулана, печь и теперь приходилось топить, обед готовить, находиться в это время в горнице было невозможно.

Перемещение женщин обрадовало Долгушина и Дмоховского, неожиданно появилась возможность, не открываясь им, перевезти станок на дачу, установить в подполье и начать набирать прокламацию, а то и тискать втайне от них. Решили печатать прокламацию, не переделывая ее. Дмоховский, прочтя рукопись, сказал, что прибавление социалистических требований действительно только бы озадачило неподготовленных крестьян, в руки которых попала бы прокламация. Наметили наутро же отправиться в Москву за станком.

Утром уезжали вместе с Ананием. У Дмоховского были крупные купюры, нужно было разменять деньги, чтобы отдать Ананию заработанное им. Всю дорогу Ананий просидел в телеге молча, отвернувшись от друзей, и они к нему не обращались, говорили между собой, будто его и не было. Разменяв в Москве ассигнацию, Дмоховский отдал деньги Ананию, тот взял их равнодушно, повернулся и пошел себе, так и не сказав ни слова, не попрощавшись...

Поздним вечером подъехали к мастерской Кирилла Курдаева, перенесли на телегу ящики с деталями станка, благополучно простоявшего у Кирилла с марта, погрузили купленные уже в Москве Дмоховским и Тихоц-

ким в их прежний приезд два бочонка с типографской краской и кипы тонкой бумаги для печатания, укутали все рогожами, обвязали веревками. Тронулись в обратный путь, когда совсем стемнело. Ехать решили ночью, чтобы не привлекать к себе внимания прохожих и чтобы подъехать к даче в такое время, когда женщины спали бы сладко, не стали бы любопытствовать, что в ящиках, а на случай расспросов решили отвечать, что в ящиках — оборудование для лужения и штампования жести. Ночь была светлая, дорога хорошо просматривалась, отдохнувшая за день лошадь без натуги тянула тяжелый воз. Все же большую часть пути молодые люди прошли пешком, шли, тихонько переговариваясь, на подъемах подталкивали телегу, помогали лошади. До поворота на Сареево добрались без приключений.

Когда свернули на сареевскую дорогу, Дмоховский заметил впереди неясную фигуру человека, быстро перебежавшего дорогу справа налево, от кустов, отграничивавших крестьянское поле, к подлеску, подступавшему здесь к самой дороге, и скрывшегося в темноте подлеска. За этим подлеском был поворот к даче.

— Смотри, кто-то там ходит.

Долгушин посмотрел вперед, но никого не увидел.

— Тебе показалось. Кто там может быть?

— Да нет, кто-то перебежал дорогу. От тех кустов...

Проехали то место, там никого не было. Повернули к даче. Отсюда начиналась дорога, проложенная Долгушиным и Ананием, она шла краем леса, изгибаясь налево, повторяя изгиб леса, дача все время оставалась скрытой от глаз, пока дорога не упиралась в решетчатые легкие ворота ограды.

— Ну вот, видишь, никого нет. Все добрые люди об эту пору давно спят, — сказал добродушным тоном Долгушин, прислушиваясь, однако, к тишине леса. Было такое чувство, будто и в самом деле кто-то осторожно

шел лесом, параллельно дороге, направляясь в сторону дачи. Не хотелось думать, что это человек, что за ними следили, было бы обидно оказаться на полицейском крючке именно теперь, когда еще ничего не сделано.

Вот и последний поворот дороги, дача, ограда,— дом на месте, ворота на месте, мир и покой кругом, ни звука, ни огонька...

От угла ограды, из лесной тени, вышел на дорогу лохматый человек, остановился, поджидая подводу.

— Да ведь это... Курдаев? Кирилл? — всмотревшись, с удивлением произнес Дмоховский.

— Курдаев, только не Кирилл,— усмехнувшись, сказал с облегчением Долгушин, узнав Максима.— Ты чего здесь?

— Вас жду, потому ежели помощь какая потребуется,— ответил Максим, по голосу чувствовалось, что он улыбается.

— Помощь не потребуется. Ступай себе. Сами управимся,— сказал Долгушин.— Впрочем... Только тихо, не шуметь.

Он подвел лошадь к воротам, раскрыл их, взяв лошадь под уздцы, ввел ее в ограду, тихонько повел к крыльцу.

— Поможешь перенести ящики,— шепотом сказал Максиму.— Но не шуметь! Потом отведешь лошадь. Понял?

— Понял! — отозвался шепотом же Максим.

Развязали рогожи, стали переносить ящики в горницу. Взялись за ящик со шрифтом, Максим в усердии поднял было рывком свою сторону и тут же опустил, не рассчитав силы.

— Тяжело! Что ж тут, никак камни?

— Много будешь знать, счастья в жизни не будет. Берись как следует. И ты берись, Лев,— командовал Долгушин.

Втроем они перенесли ящик, поставили в маленькой комнате на лавку. Вернулись к телеге. Перенесли два других ящика, стали носить остальные вещи. Максим взялся один перенести массивный стол о пяти ножках, с особыми вырезами под станок.

— Стол какой чудной. И для чего такой?

— Лудить жечь, — коротко ответил Долгушин. — Неси давай. И не топай в снях, хозяйку разбудишь.

Покончили с вещами, женщин как будто не разбудили. Долгушин вышел вместе с Максимом к лошади, Максим взял в руки вожжи, полез на телегу, но Долгушин удержал его за локоть:

— Вот что. На деревне не болтай о том, что мы привезли какое-то оборудование, пойдут ненужные разговоры, это ни к чему. В тех ящиках, чтоб ты знал, оборудование для жестяной мастерской, мы будем лудить жечь и делать из нее посуду выдавливанием. Но когда еще наладим дело. Дело новое. Понял? Ну, езжай.

Долгушин вернулся в избу. Вдвоем с Дмоховским перетаскивали стол и ящики с деталями станка в подполье, там давно определили место станку, наборную кассу оставили пока в маленькой комнате, в подполье было тесновато, да и надобно было прежде собрать станок. Расколачивать ящики решили не торопиться, вдруг женщины захотят взглянуть на доставленное из Москвы, пусть увидят ящики.

Утром выяснилось, что женщины слышали, как приехали мужчины и привезли с собой какие-то тяжелые вещи, но выйти посмотреть поленились. Дмоховский объяснил им, что в ящиках находится выписанное из-за границы оборудование для жестяной мастерской, их это объяснение вполне удовлетворило, лезть в подвал смотреть на ящики они не захотели.

Через неделю приехали Плотников и Папин, к их приезду Долгушин и Дмоховский собрали и отладили

станок, начали набирать долгушинскую прокламацию. Набирали в маленькой комнате, зашторив окно, не хотелось забиваться в подполье, да и женщины как будто не стремились заходить сюда, на мужскую половину. На всякий случай взяли за правило: кто-то из четверых неотлучно должен находиться в большой комнате в то время, когда остальные будут заниматься набором в маленькой комнате или работать на станке в подполье, если же всем надобно будет выйти из дому, кассу будут прятать в ящик, подполье запирают, шторы на окне раздвигать в стороны — мелочь, но и о мелочах в деле конспирации нельзя забывать, постоянно зашторенное окно могло бы обратить на себя внимание местных жителей.

4

И все же, как ни заботились о мерах предосторожности, их тайна вскоре открылась.

В тот день, когда делали пробные оттиски с набора первых страниц текста и все наборщики спустились в подполье, позабыв о конспирации, в горницу вошла Аграфена, искавшая Александра. Никого не застав в большой комнате, вошла, постучавшись, в маленькую комнату и увидела раскрытую наборную кассу и, взглянув в открытый люк подполья, увидела в свете керосинового фонаря, подвешенного к стене, всю компанию, увлеченно хлопотавшую вокруг громоздкой печатной машины. Ничего не сказала она, постояла над люком, посмотрела и пошла назад из комнаты.

Папин, случайно глянувший наверх, заметил Аграфену, толкнул в бок Долгушина. Подняв голову, Долгушин успел ухватить взглядом край ускользавшего из квадратной рамки люка темно-серого тяжелого платья Аграфены. Нахмурился, помрачнел. Потом лицо его приняло прямое и жесткое выражение.

— Придется идти объясняться.

— Только, пожалуйста, не руби сплеча. Пусть она говорит, ты — слушай,— напутствовал его Дмоховский.

— Боюсь, что и тебе предстоит объяснение

— С Татьяной? Я готов...

— Твое счастье,— сказал Долгушин.

Аграфену он нашел в чулане, она собирала вещи в свой кожаный дорожный чемодан, тут же находилась и Татьяна, расстроенная, сидела на лавке в неловкой позе, боком, сложив руки на животе; ее красивое, будто резное, четкое лицо уже начинало трогательно дурнеть. Александр удивился, не застав здесь Сашка, но не стал спрашивать о нем, подумав, что, возможно, он в Сареве, с курдаевской ребятней, на Авдоихином догляде; с первого дня, как переехали на дачу, он все просился, говорила Аграфена, назад в деревню, и Аграфена иногда оставляла его там на весь день, а то и на ночь, должно быть, и теперь оставила. В последние дни, занятый станком, Александр почти не выходил из своего подполья и не видел сына.

— Что это значит?— спросил он, кивнув на чемодан.

— Это значит, что я уезжаю. Хватит. Погостили, пора и честь знать. Сашка забираю с собой. Она тоже едет со мной,— Аграфена показала на Татьяну.— Будем жить вместе. Авань не пропадем.

Говорила она бодрым голосом, даже как будто весело, но он не сразу решился снова заговорить.

— И куда вы решили уехать?— спросил наконец осторожно.

— А вот это тебе уже знать необязательно,— отрезала она.

— Как так? Что же, ты решила вовсе уехать? А как Сашок...

— Сашок! О сыне вспомнил,— перебила она его с нервным смехом.— Да зачем тебе Сашок, скажи? Зачем тебе мы оба, зачем?

— Грета!..

— Нет, ты скажи, зачем? Ну ладно, я тебе еще, положим, нужна, обед приготовить, рубаху заштопать и что еще. А Сашок тебе зачем? Видишь ты его? Поиграл с ребенком полчаса в неделю и думаешь, на этом твои родительские обязанности кончились? Живем вместе, под одной крышей, а ребенок его забывать стал! Называет,— ведь это кому сказать, не поверят! — отца называет по имени-отчеству. «Александр Васильевич еще занят? Александр Васильевич еще долго будет занят?..»

— Не говори так, Грета. Мне больно это слышать...

— Тебе больно? Ах, тебе больно...— она задохнулась от гнева, от обиды.— Тебе больно! А мне — не больно? Ты же ничего не знаешь, ничего не видишь, не замечаешь! Ты не знаешь, что это значит — не иметь ни гроша, чтобы накормить ребенка! Что ты знаешь?.. Ты обманул нас. Если бы ты не обманул, я, по крайней мере, знала бы, как мне быть. Но теперь хватит... А ты сиди! — остановила она вставшую было со своей скамьи Татьяну, попытавшуюся незаметно удалиться.— Сиди и слушай. Тебя это очень касается. И делай выводы, пока не поздно. Знаешь, кто ты?— снова обратилась она к Александру.— Теперь я тебя поняла. Долго не могла понять. Ты — эгоист! Ради своих интересов ты не считаешься ни с чем и ни с кем.

— Своих интересов?..

— Ах, оставь, пожалуйста! — раздраженно остановила она его.— Я знаю, что ты скажешь. Ты скажешь, что твои интересы — это не твои интересы, ты не о себе думаешь, а о других. Да мне-то что от этого?.. Словом, я уезжаю. И, пожалуйста, не говори ничего. Не надо. Оставим разговор.

Он и не говорил. Что тут было говорить? Некоторое время сидели молча, слушали, как билась муха о

стекло закрытого окошка. Потом он все же решился сказать:

— Хорошо, оставим разговор. Но вот что я хочу предложить. Давай не будем пока принимать окончательных решений. Не будем спешить. Уехать вам с Татьяной отсюда, пожалуй, нужно. По крайней мере, на время. Но не сию же минуту ехать? Сделаем так. Завтра Лев поедет в Москву, найдет вам квартиру и перевезет вас. Ну куда вы поедете сейчас одни, с ребенком? Подумай о Татьяне, каково ей будет, в ее положении? И как же ты бросишь своих здешних женщин? Или у тебя сейчас нет никого на попечении? Оставайтесь хотя бы на несколько дней. За это время покончишь свои дела...

Аграфена молчала. Он обратился к Татьяне:

— Вы что скажете, Татьяна?

— Как Аграфена Дмитриевна скажут,— нерешительно улыбнулась Татьяна.

— Хорошо,— сказала наконец Аграфена.— Останемся на несколько дней. Только ради Татьяны.

5

В самом начале июля Дмоховский перевез Аграфену с Сашком и Татьяну в Москву на квартиру, нанятую для них на Шаболовке, близко от мастерской Кирилла Курдаева, и сам остался в Москве, получив-таки место на клееваренном заводе Платонова в Кожевниках; жил при заводе, в Сареево ездить теперь мог только два раза в неделю, на день, не больше.

Да особенной надобности ему оставаться в Сарееве уже и не было, станок действовал исправно, с работой вполне могли справиться три человека: один вынимал из-под катка свежеотпечатанный лист и вешал его для просушки на гвоздик на потолке, загнутый крючком, ук-

ладывал чистый лист на печатную форму, другой типографщик прокатывал по листу тяжелый каток, предварительно нанеся на форму свежую краску. Третий же выполнял всякую подсобную работу, да когда накапливались листы, пропечатанные с обеих сторон, складывал их в определенном порядке, чтобы потом, по завершении печатания, получилась книжечка, — набирали прокламацию так, чтобы составить книжечку в двадцать одну страницу небольшого формата.

И еще была у третьего обязанность — принимать гостей и по возможности скорее их выпроваживать, стараясь не пускать в дом дальше прихожей. Каждый день кто-нибудь да заходил на дачу из местных крестьян или из крестьян недалежных деревень, наслышанных о приветливом барине-крестьянине и его жене-«кушерке», говорили об урожае, о ценах на сено и всегда спрашивали об Аграфене, скоро ли вернется, жалели о том, что она уехала. Поневоле третьим стал Долгушин.

На станке работали Папин и Плотников. Рослый, цветущий сангвиник Папин поначалу взял на себя более тяжелую работу — двигать каток, но, как выяснилось в первый же день работы, он с трудом мог выносить ее монотонность, страдал от ограниченности движений, напротив, хилому телом меланхолическому его другу эта работа пришлась больше по душе, чем метанье по подполью с листами бумаги, друзья поменялись местами и так все время работали — Плотников катал тяжелый вал по набору, это не мешало ему думать его лингвистические думы, вечно он был сосредоточен на разгадывании темных семантических ребусов, Папин вволю двигался, сгибался и разгибался, занимаясь отпечатанными листами. Все же за несколько дней работы они порядком выматывались, и, когда приезжал Дмоховский, друзьям давали передышку, Дмоховский с Дол-

гушиным становились к станку, а им поручали брошюровку листов.

Рассчитывали заниматься печатанием не более месяца, напечатать тысячи по полторы экземпляров долгушинской прокламации и прокламации Берви (решили перепечатать ее у себя, самовольно сократив, не было времени ехать к Берви в Финляндию, где он жил в ту пору) да напечатать несколько сот экземпляров обращения к интеллигенции, которое Долгушин еще не написал, но содержание которого обсудили всей компанией. Решили, что, покончив с этим, не будут рассыпать набор, с отпечатанными прокламациями отправятся в народ, если прокламации пойдут хорошо, всегда можно будет вернуться в Сареево и допечатать необходимое количество экземпляров. До середины июля работали спокойно, кончали уже «Русскому народу». Получалось недурно, правда, не без ошибок, однако не важных, главное — текст читался, читался с обеих сторон листа, несмотря на то что тонкая бумага просвечивала. Натиск листов был ровный, будто печатались они на скоропечатной машине, а не на ручном станке, — заслуга Дмоховского с Тихоцким, купили хороший станок. Думали через день-два начать уж набирать прокламацию Берви, но тут случились два происшествия, которые заставили несколько изменить планы. И оба происшествия были связаны с Максимом Курдаевым.

Непросто складывались отношения с этим мужиком. После отъезда Анания Максим снова прилепился к долгушинскому хозяйству, обхаживал меринка, вывез на пустошь несколько подвод навозу с Авдоихина двора, за три рубля, сам назначил цену, обкосил всю луговую часть пустоши, сена вышло пудов триста, не меньше. Он тянулся к Долгушину и его друзьям, пожалуй, был бы не прочь вполне заместить собою Анания в их маленькой коммуне, пригласи его Долгушин, с готовностью

переселился бы на пустошь, но Долгушин не приглашал, услугами его пользовался, однако держал на расстоянии, дальше порога в дом не пускал, — не мог, не решился доверить ему тайну станка.

В пятницу тринадцатого числа, несчастливое число, ездил Долгушин в Москву по делу. Собственно, «дело» было предложением поездки. «Делом» было повидать Николая Васильевича Верещагина, который, как Долгушин знал от Дмоховского, в этот день должен был быть в Москве, и напомнить ему о его долге Дмоховскому, сотне рублей, невыплаченной части вознаграждения за привезенные Дмоховским из-за границы сведения о способах холодной штамповки жести, сделать это собирался сам Дмоховский, об этом говорили в последний его приезд в Сареево, но Долгушину непременно нужно было съездить в Москву, и он взял на себя переговоры с Верещагиным.

Ему страстно, мучительно хотелось повидать своих. Желание это было нестерпимо, терзало его с того самого дня, как увез их Дмоховский с дачи, да все не было основательного повода оставить типографию и уехать. Когда Аграфена и Сашок были рядом, он мог не думать о них, мог не замечать их, даже тяготился ими, они отвлекали его от дела. Стоило им уехать — и затосковал. Особенно не хватало ему сына. Хотелось прижать его к себе, вдохнуть в себя родной запах, коснуться щекой его щеки. Все эти дни каждую ночь ему снилось, как он играл с сыном и все прижимал его к себе, прижимал, с этим просыпался и до слез делалось обидно, что это лишь сон. Права была Аграфена, упрекая его в том, что он в последнее время не занимался сыном, слишком увлекся делом, не читал ему ничего, бросил рассказывать, не досказав, сказку о паровой тележке. Конечно, надо было бы больше отдавать ему времени. Да откуда было его взять?

Поехал в Москву верхом, меринок шел мелкой ры-

сю; пускал его в галоп, но конек быстро начинал задыхаться, спотыкался, приходилось опять переводить его на рысь. Должно быть, в его дурном галопе и заключался изъян, из-за которого он был списан из строя.

Аграфена встретила спокойно, не удивилась, как будто ждала, на столе стоял горячий самовар, сразу же сели пить чай, Александр посадил сына к себе на колени, но мальчик тут же сполз на пол, перешел на другую сторону стола, к матери, молча смотрел на отца оттуда, из-за самовара.

— Ну как ты? — спросил Александр, подняв глаза на Аграфену.

— Ничего. Ищу место акушерки. Пока нешла.

— А вы, Татьяна?

— Шью-с, — ответила Татьяна. — Вместе с Аграфеной Дмитриевной шьем белье для военного госпиталя, знакомые Аграфены Дмитриевны достали заказ.

— Кто это?

— Далецкие.

Увидел у окна раскрытую ножную машину Аграфены, привезенную из Петербурга еще весной, простоявшую с тех пор без надобности у Кирилла Курдаева. Теперь понадобилась.

Посидел час, легче стало. Прощаясь, сказал, что скоро снова придет, будет теперь приезжать часто, и потому, что дела в Москве, и потому, что скучает по ним, не может без них. Она промолчала. И еще сказал, что о ней спрашивают в деревне, ее там ждут, надеются, что она вернется. Может быть, следует подумать об этом? Она и на это ничего не сказала. Обнял ее на прощание, прижал к себе, она не ответила на ласку, но и не оттолкнула.

Побывал у Верещагина, самого Верещагина не захватил, ждать не стал, торопился на дачу, спросил у Фриделя, доверенного Верещагина, не купит ли Николай Васильевич у него, Долгушина, сена пудов триста для

своей фермы, не говорить же было с Фризелем о верещагинском должке, тот ответил, что, может быть, и купит, они с хозяином приехали в Москву для разных закупок, между прочим и сена, но он, Фризель, не уполномочен входить в условия сделки, договорились, что дня через два Долгушин снова приедет в Москву и тогда решит это дело с хозяином. Вышло кстати заговорить о сене, недурно было бы продать его по московской рыночной цене.

Не стал заезжать к Дмоховскому, с ним предстояло увидеться на следующий день, в субботу, поскакал прямо на дачу. Торопился, гнал коня не жалея, выжимал из его галопа что можно было выжать, раздражался, когда конек начинал спотыкаться, и все-таки не переводил его на рысь. Что-то тревожило, томило душу. Совесть мучила: не слишком ли легкомысленно было оставлять Плотникова и Папина одних на даче...

Еще издали, выехав на пустошь из лесу со стороны одинцовской дороги — сокращая путь, проехал от тракта лесными тропами, — увидел под окнами дачи человека, занятого странным делом. В первое мгновение не понял, что он там делал, поняв — вскипел, хлестнул коня, помчался к дому напрямик, не разбирая дороги. Человек двигался по завалинке от окна прихожей к окну горницы — среди бела дня, не таясь. Не раз уже замечали Долгушин и его товарищи, что в окна их дачи пытались заглядывать, не слишком волновались по этому поводу, полагая, что любопытствовали крестьяне; а вдруг не крестьяне? Человек на завалинке дошел до окна горницы, но заглянуть не успел, услышав топот коня, оглянувшись, присел от неожиданности, спрыгнул на землю, унял, поднялся и заковылял к изгороди, неловко перевалился через изгородь и пустился бежать вверх по склону горы к сосняку, отделявшему дачу от сареевской дороги.



Долгушин настиг его у самого леса, сбил конем с ног, соскочил с седла, схватил за шиворот, сильно тряхиул, поворачивая к себе лицом, — и остыл, узнав в пойманном насмерть перепуганного сареевского подпаска. Парнишка был сирота, тихий, кроткий, страстный музыкант, ловко играл на берестяном рожке, когда они с пастухом водили стадо поблизости, гундосые рулады его рожка слышались в течение всего дня. Все же спросил его со всей возможной суровостью:

— Отвечай как на духу. Ты зачем в окна заглядывал? Тебя кто послал? Ну? Отвечай скорее!

Парень молчал, хлопал выцветшими, совсем белыми ресницами, от страха, должно быть, не понимал вопроса.

— Кто тебя послал, говори? Сейчас же отвечай! Кто велел в окна смотреть? Быстро говори! Кто?

— Не... никто, — ответил наконец пастушок.

— Зачем смотрел? Что хотел увидеть? Что высматривал?

Парень не решался отвечать. А вопрос, должно быть, был в точку, это почувствовал Долгушин.

— Говори, что хотел увидеть? — строже спросил он.

— Энту... котора...

— Что? Говори!

— Котора машина... Стол...

— Какой стол?

— Монету льет. Стол...

— Монету льет? Да ты что, думал тут делают деньги, что ли?

Парень потерянно молчал.

— Откуда ты взял эту чепуху? Кто тебе об этом сказал?

— На деревне... Максим Курдаев видел стол, как у его брата Егора...

— Какого еще Егора?

— Евонный брат... делал фальшивые деньги, теперича на каторге...

— Брат Максима Курдаева? Я не знал, что у Максима есть брат Егор.

— То не родной, двоюродный...

— Ах вот что...

Долгушин задумался. В самом деле, что-то он как будто слышал от Кирилла Курдаева о каком-то деле фальшивомонетчиков, в котором был замешан какой-то его родственник. Значит, двоюродный брат Егор — фальшивомонетчик... Но Максим! Ах, болтун...

— Как звать тебя? — спросил Долгушин.

— Семка.

— Семен, значит. Вот что, Семен, я тебе скажу. Все это глупости и неправда. Никаких денег мы не делаем. Запомни это. А вот за то, что ты в окна заглядывал... Ладно, так и быть, я тебя прощаю. Но ты вот что...

Блеклые, почти бесцветные глаза Семки засветились надеждой.

— Сбегай к Максиму Курдаеву и передай ему, пусть придет ко мне. Сейчас же. Не говори ему ничего. Или нет, скажи, что Василич, мол, зовет для расчета за сено. Деньги, мол, из города привез. Понял?

— Понял...

— Ну, ступай.

Парень бросился исполнять поручение. Долгушин пошел к дому, ведя мокрого, в пене, совсем выдохшегося конька в поводу.

Ах Максим, Максим...

Часа через полтора явился Максим. Долгушин провел его в большую комнату горницы. Там уже сидели Папин и Плотников, дверь в маленькую комнату была затворена. Когда вошли Долгушин с Максимом, Папин подошел к входной двери и запер ее на ключ, ключ положил к себе в карман, Плотников прошелся перед окнами, за-

дергивая шторы. Уже вечерело, и в комнате сделалось сумрачно. Все молчали. Максим насторожился.

— Подойди сюда,— приказал Долгушин, показывая рукой на середину комнаты.— Встань здесь, лицом к окну.

Максим встал, как приказывал Долгушин, лицом к одному из окон, смотревших на Сареево, там, за Сареевым, за горой садилось солнце, и света в этой части комнаты было побольше.

— Вот что, приятель! — сурово сказал Долгушин, подойдя к нему вплотную и упершись ему в глаза тяжелым взглядом.— Слушай меня внимательно и запоминай. Если ты еще вздумаешь где болтать о том, чем мы тут занимаемся, сочинять вздор, будто мы делаем деньги, то жизнь твоя кончится,— он вынул из кармана револьвер с коротким стволом и сунул его Максиму под подбородок, тот отшатнулся, замер.— Ты нажрался водки как свинья и говорил про виденный тобою стол, что на нем делают деньги, хотя я тебе объяснял, что этот стол предназначен для лужения жести. Объяснял или нет? Да или нет?

— Да,— с трудом ответил Максим, задирая голову, стараясь отклониться от револьверного ствола.

Долгушин опустил револьвер.

— Почему же, черт тебя побери, стал распускать эти слухи? Что мы тебе сделали плохого?

— Не я... Не пускал, не...

— Не ты? Откуда же пошел слух?

— Говорили... Народ говорил. И как не говорить? Дача, то ись...

— Что дача?

— Дача не дача. Окна завешены, дверь всегда заперта. Известно, делают деньги.

— Что значит — известно?

— Были уж здесь такие. Брат Егор...

— Это я знаю. Ну и что, стол, который ты видел тогда у нас, действительно похож на тот, на котором твой Егор делал деньги?

— Не,— усмехнулся Максим, он уже оправился от потрясения, говорил с какой-то тайной усмешкой.

— Почему же напел, что мы на нем делаем деньги?

Максим ответил, чуть помедлив, явно рассчитывая на эффект:

— А вам было бы лучше, ежели бы я сказал, что вы на ем печатаете книжки? Стол типографской-то...

— Что? Да откуда ты это взял? — изумленно спрашивал Долгушин.

— Откуда взял, оттуда взял. Чай тоже не дети малые,— вдруг обиделся Максим.— Оно, конечно, мы народ темный, а только и мы кой-что на белом свете повидали. Откуда взял? В Москве видал, в типографии господина Каткова. Были-с в молодые года у господина Каткова в услужении. В типографии был такой стол о пяти ногах и на ем винтовая машина и рычаг. Что несручно было печатать на скорой машине, печатали на той, ручной. Видали!..

Слушал Долгушин эту речь Максима и не переставал удивляться мужику: каких еще неожиданностей ожидать от него? Однако Максим поступил подло, разболтал про стол.

— Ну хорошо, все же ответь мне,— сказал Долгушин, пряча револьвер в карман.— Пустил слух не ты. Но почему ты напел про литье денег? Про стол почему стал болтать? Я же просил тебя не болтать о том, что ты тогда у нас увидел.

Максим молчал, чувствовалось, ухмылялся.

— Ну почему же?

— А не почему! — заявил он с вызовом.

— Что, без причины?

— Может, и без причины.

— А может, и была причина?

— Может, и была.

— Вот как! Значит, мы тебя чем-то обидели. Ну скажи, чем?

Максим заносчиво молчал.

— Тем, должно быть, что в дом не пускали? За один стол с собой не сажали, на вы не величали? — зло задирает его Долгушин.

Но Максим только головой покачал на это. Вздыхнув, произнес укоризненно:

— Вот-вот, оно, конечно... И ты, Василич... Барское и есть барское. Говорите против барства, а оно, барское, не уходит. Нет, куды...

Долгушин уже раскаивался, что заговорил с ним в таком тоне, и, похоже было, не одобрили его Папин и Плотников, все время тихо и молча внимавшие разговору, но при последних словах сильно задвигавшиеся на своих местах.

— Ладно, не обижайся, — сказал, усмехнувшись, Долгушин. — Извини, если действительно обидел. Обидеть я не хотел. Но войди, брат, в мое положение. А как бы ты сам держал себя на моем месте? Вот то-то! Ладно, будем считать, произошло недоразумение. Да мы и сами виноваты. Пожалуй, и правда со шторами перемудрили, себя перехитрили. Ладно. Забудем эту историю. Забудем?

— Я что? Я ничего, — сдержанно отозвался Максим.

— Забудем. А тебе, Кондратьев, я еще скажу. Помнишь, ты говорил мне: «Василич, скажи, Максим — идем, и я пойду»? Говорил?

— Ну...

— Так вот, открою тебе: скоро я действительно скажу тебе это. Понял? Но больше пока ничего не могу сказать. Подожди немного и все узнаешь. И поймешь: не от бар-

ства или чего-то запирались мы от тебя и других крестьян... Все! Больше пока ничего не скажу. Ты доволен?

— Да я что? Я разве что? Василич...— смущенно заговорил Максим.

— Теперь ступай и отведи коня. Я чуть не загнал его сегодня.

Они вышли во двор, расседланный конек понуро стоял над оханкой свежего сена, брошенного перед ним Долгушиным, так и не притронулся к сену. Максим накинул на него седло, слабо затянул подпруги, повел со двора под уздцы.

На другой день после полудня прибежал Максим с известием, что в Сареево приехал звенигородский исправник, расспрашивал о новых людях в окрестностях и в том числе о нем, Долгушине, и его даче, никто о нем ничего худого не сказал исправнику, если не считать за худое, что Борисов, староста, доложил про беседы с крестьянами о житье-бытье нынешнем и дореформенном, о крестьянской бедности; особенно интересовался исправник, не читал ли Долгушин крестьянам каких книжек, но про это никто ничего не знал. Может, и пустое все это и зря он, Максим, всполошил Василича, а может, и не пустое, ему, Василичу, виднее, а только он, Максим, решил об этом предупредить.

— Ладно, спасибо тебе, Кондратьев. Где же он теперь, еще в Сарееве или уж уехал?

— Уехал в Кольчугу, должно, к господину Гребнеру чай пить, а вернется, нет ли, кто знает?

— С кем же он еще из ваших разговаривал, кроме Борисова?

— Мужиков в деревне он мало кого застал, разговаривал со стариками да с бабами. То я и думаю, не вернется ли к вечеру...

Что привело в Сареево исправника? Может быть, пронохали власти про женевскую брошюру Берви и запо-

дозрили в ее распространении Долгушина и его товарищей? Как-никак какое-то количество экземпляров этой брошюры ходило уже по рукам в Петербурге, Москве и иных городах, и это, конечно, могло сделаться известным полиции. Но даже если приезд исправника и не означал ничего более, как обыкновенную полицейскую проверку, все равно, решил Долгушин, и с ним согласились Папин и Плотников, не следовало безмятежно дожидаться визита полицейского, надо было принять меры на случай возможного обыска. Этим и занялись прежде всего.

Хорошо еще, успели кончить «Русскому народу», отпечатав-таки около полутора тысяч экземпляров, как намечали, можно было уже и не заботиться о сохранности набора, набор рассыпали, все отпечатанное сложили в два тюка, вперемежку готовые брошюры и еще не сброшюрованные листы, завернули тюки в рогожи и клеенку и закопали в разных местах в сосняке. Спешно разобрали станок, уложили части в ящики, оставили в подполье, авось в таком виде станок не привлечет внимания проверяющих. Стали ждать исправника.

И ждать Дмоховского, чтобы решить, как быть с типографией. Ясно было одно: в Сарееве нельзя было больше оставаться. Увы, не удалось затеряться для полиции в глуши...

Исправник так и не появился. Вечером еще раз зашел Максим, сообщил, что мужики, вернувшиеся с покоса из-за тракта, с москворецкого луга, видели исправника, проехавшего по тракту от Кольчуги в сторону Звенигорода мимо поворота на Сареево. Когда Максим уходил домой, вместе с ним в Сареево отправился Долгушин, решил расспросить об исправнике старосту Борисова. Но тот мало что мог добавить к рассказанному Максимом.

Ночью приехал Дмоховский, согласился, что надобно уезжать из Сареева. Куда перебираться?

— Да всего лучше в Москву! Все же, пожалуй, в большом городе лучше делать такие дела, легче затеряться. Сделаем так. Мы с Татьяной найдем отдельную квартиру и там поставим станок. Татьяна возражать не станет. Завтра и увезем его.

— А дача? Будем продавать?

— Зачем? Продать успеем. Она еще пригодится. Отсюда будем распространять прокламации.

6

Утром разъезжались. Папин и Плотников уехали в Москву поездом, Долгушин и Дмоховский повезли на лошади станок. Дачу оставили на догляд Максима, условились платить ему за это пять рублей в месяц, вручили ключ, на случай, если кто придет из друзей Долгушина, чтоб впустил и устроил. Распорядился Долгушин и насчет сена, если придет за ним покупатель с запиской от Долгушина, чтоб Максим отпустил сено.

И еще одно поручение решили возложить на Максима. Один из двух тюков с отпечатанными экземплярами «Русскому народу» молодые люди увозили с собой в Москву, уложив на дно телеги под ящики, другой оставляли здесь и хранение его решили доверить Максиму. Привели его в сосняк, к кусту бузины, под которым был закопан тюк, и Долгушин сказал, положив доверительно руку ему на плечо:

— Ну вот, Кондратьев, пришла пора и тебе послужить общему делу. Хорошенько запомни это место. Здесь, под этим кустом, зарыт вот такой (показал, раздвинув руки) тюк с запрещенными книжками, их-то мы и печатали, теперь можем тебе открыться. Смотри за этим местом, чтоб не случилось чего. А чтоб ты знал, что это за книжки, вот тебе несколько штук,— передал ему небольшой сверток,— прочти и, ежели согласишься

с тем, что там написано, можешь раздать эти книжки кому сочтешь нужным, и необязательно у себя в Сарееве, у тебя есть знакомые в разных деревнях. Пусть грамотные люди читают их тем крестьянам, кто сам прочесть не может. Чем больше народу прочтет, тем лучше. Но действуй осторожно, помни, попадешься с книжками — полиция по головке не погладит. Понимаешь?

— Как не понять...

— Недели через две-три мы вернемся и заберем тюк. Но в случае чего, вдруг нас схватят или что, отдашь тюк тому, кто придет к тебе с письмом от меня или же от него (хлопнул Дмоховского по спине) или с словесным паролем, запомни его: «Максиму, честному человеку, привет от ДД».

— А что это — ДД?

Долгушин засмеялся:

— Это неважно. Ну хоть первые буквы наших с ним фамилий (снова хлопнул по спине Дмоховского). Или, если хочешь, — демократическое движение. Запомнил?

— Запомнил. ДД.

— Вот и ладно. А теперь прощай.

Выехали за ограду усадьбы, заложил Долгушин жердью решетчатые ворота, оглядел в последний раз дачу, двор с недостроенными, так и не удалось достроить, сарайчиком и колодцем, поспевающий овес, стожки сена до самой речки, всю эту душистую, пронизанную утренним солнцем, стрекочущую, поющую просторную котловину между тремя горами, и защемило душу, жалко стало покидать полюбившееся место. Доведется ли еще вернуться сюда?

Однако надо было спешить.

Конек, за два дня так и не отдохнувший вполне, с трудом тащил тяжело груженный воз, все время приходилось подталкивать телегу. Особенно неприятны были подъемы, конек не мог сдвинуть телегу с места.

У Оборвихи при подъеме на гору он и вовсе сдал, к тому же от какого-то его неловкого рывка соскочила левая оглобля с плеча оси. Позвали на помощь вышедшего из крайней избы крестьянина, тот сказал, что надо менять лошадь, спросили его, не мог бы он свезти вещи в Москву, хотя бы до постоянного двора у Дорогомиловской заставы, он согласился, порядились за два рубля, и крестьянин пошел за лошадью. Выпрягли меринка.

— Вот что, Александр,— предложил Дмоховский, оглаживая дрожащего напряженного конька.— Что мы будем оба терять время? Ты вези вещи, а я поеду вперед на нем (потрепал коня по шее), авось довезет меня. Надо предупредить наших женщин. И еще. Есть у меня на примете квартира, удобная для дела, тоже на Шаболовке, хозяин — архитектор, нос к нам совать не будет. Если договорюсь о квартире до того, как ты подъедешь, прямо туда и завезем станок. Я тебя встречу. Аграфена о станке и знать не будет. Что ты на это скажешь?

Долгушин ничего не имел против, и Дмоховский уехал верхом, подседлав меринка, седло везли с собой в телеге.

Когда Долгушин с вещами, переложенными в телегу крестьянина, добрался до постоянного двора Михайлы Хухрикова в Дорогомиловской слободе, там уже дожидалась его записка от Дмоховского, чтоб ехал с вещами прямо к дому архитектора Степанова, в самом начале Шаболовки, там Дмоховский встретит его.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ МОСКОВСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ

1

Квартира в доме архитектора Степанова действительно оказалась удобной для устройства типографии. Располагалась она не в самом доме, в котором жил архитектор, а во флигеле, и состояла из шести комнат с кухней. Флигель был одноэтажный, стоял в глубине обширного двора, был неприметен за кустами сирени, густо посаженной перед окнами. Станок установили в средней комнате с двумя окнами во двор и двумя дверьми, в прихожую и в зал. Можно было заниматься печатанием и днем и ночью, стука машины никто не услышит. Одно только было плохо — низкие окна, их все время приходилось держать завешенными, но, надеялись, в городе это не так будет бросаться в глаза, как в деревне.

Печатать начали не сразу; пока переезжали, устраивались (Долгушины тоже перебрались на отдельную квартиру, поблизости, на Коровьем валу), пока хлопотал Долгушин по разным делам, житейским и не только, которые надобно было устроить в Москве, да просто вникал в московскую жизнь, от которой был оторван почти три месяца, прошло несколько дней. Это были не пустые дни, за эти несколько дней удалось почувствовать, что изменилось в общественных настроениях, чем занята была теперь, летом, учащаяся молодежь.

В тот же день, как приехали в Москву, едва обняв жену и сына, поспешил Александр к Далецким, которые, это он знал от Аграфены, месяца два были в разъездах, а теперь снова осели в Москве, снова их просторная квартира на Остоженке была в любое время дня и ночи открыта для знакомых, а знакомых у них было пол-Москвы. Жили Далецкие, муж с женой и дочь, втроем, без прислуги, очень скромно, но всегда любой голодный и бесприютный студент, здешний или проезжий, мог найти здесь кусок хлеба с сыром, крепкий чай и кров над головой. Притом у них можно было узнать и все последние газетные новости, они выписывали несколько газет и журналов. На что они жили, это было загадкой и для них самих. У Далецкого было имение в Рязанской губернии, однако заложенное-перезаложенное, несколько лет он слушал лекции в Петровской земледельческой академии в Москве, потом в Лесной академии в Петербурге, еще где-то, но курса не кончил и не служил, тем не менее на что-то же они с женой жили и поддерживали других. Теперь Далецкий готовился стать народным учителем, его жена — акушеркой, она занималась дома, по книгам, которые брала у Аграфены. Дмитрий Иванович Далецкий был стремительный в движениях стройный молодой человек с узкими плечами и хилой грудью и лицом циркового борца, с мощным бритым подбородком и мощным лбом, приплюснутым, как бы раздавленным, носом, с прекрасными густыми волнистыми и длинными каштановыми волосами. Варвара Корнильевна, его жена, была года на три старше его, но эту разницу в возрасте невозможно было уловить по ней, тоненькой, быстрой, умеющей все делать на ходу, на бегу, не способной присесть на минуту.

Долгушина встретили радостно, усадили за самовар. Далецкий, метнув на стол перед Долгушиным целый во-

рох московских и петербургских газет, тут же заговорил о главной, по его словам, новости, о недавно изданных многотомных трудах комиссии по сельскому хозяйству министра государственных имуществ Валуева, газеты высказывались об этих трудах и о самой комиссии, в работе которой участвовали представители общества, мало сказать, благосклонно — с особенными надеждами. В трудах комиссии, правда, говорилось о нравственном разложении народа как следствии отмены крепостного права, о вреде общины, делались и другие ретроградные выводы, однако, интриговал Далецкий, дело не в трудах самих по себе, а в надеждах, связанных с их дальнейшей судьбой.

— Катков в «Московских ведомостях» намекает,— говорил Далецкий, то присаживаясь к самовару, то вскакивая и принимаясь бегать за столом,— что готовится конституция, ни больше ни меньше. В английском парламентском духе, мол, трудится штат министра государственных имуществ. Главное же то, что для обсуждения выводов комиссии и разработки на их основе законодательных актов будто бы будут привлечены выборные от земства. Выборные! Что вы на это скажете?

— Вы сами эти труды видели?— вместо ответа спросил Долгушин.— Нет ли их у вас ненароком?

— Их у меня нет пока, но надеюсь достать. Любопытно, конечно, взглянуть на эти blue books...

— Blue books?

— Парламентские синие книги. Говорят, их так называет сам Валуев. И, говорят, ему помогает двигать конституцию — кто бы вы думали?— шеф жандармов...

— Говорят! Не говорят, а говорит Любецкий,— ворвалась в разговор Варвара Корнильевна, вбегая на минуту, чтобы поставить на стол тарелку с ломтиками сыра, и тут же устремляясь еще за чем-то.— Да можно ли ему верить?

— Почему нельзя?— живо возразил ей Далецкий, но ее уже не было в комнате. Он опять обратился к Долгушину.— Любецкий в какой-то чести у Шувалова, был у него по делу своей жены, до ее самоубийства, и добился ее освобождения из ссылки, к несчастью, как оказалось, слишком поздно. Шувалов почему-то был с ним чрезвычайно откровенен. Он рассказывает, то есть Любецкий рассказывает, поразительные вещи.

— Вы давно виделись с ним?

— Да он бывает у нас каждый день!

— И давно он в Москве?

— Этого не знаю. Я сам в Москве всего недели полторы. И адреса его не знаю. Вы хотите ему что-то передать? Передам, когда он придет. Может быть, еще сегодня зайдет.

— Мне бы хотелось с ним повидаться. Нельзя ли здесь у вас, ну, скажем, послезавтра в это время? Или в любой следующий день, когда ему будет удобно?

— Извольте, я ему передам.

— Так вы были в разъездах. И в Питере были?

— Да, две недели.

— Ну и что там, какие настроения?

— Да то же, что здесь: молодежь возбуждена, все готовятся идти в народ. На сходках обсуждается один вопрос: нужно или не нужно переодеваться?— засмеялся Далецкий.— Большинство склоняется к тому, что нужно, покупают мужицкое платье, лапти, учатся наворачивать онучи. Это, конечно, смешно, но ведь, в самом деле, не пойдешь же по деревьям в немецком платье.

— И когда намерены отправляться? Лето проходит.

— Кто знает? Все чего-то ждут. Одни говорят, вот выйдет первый номер обещанного Лавровым журнала, там должна быть программа действий. Другие считают, что надо сперва научиться какому-нибудь ремеслу, и для

этого заводят мастерские. Кстати, а что ваш рабочий, с которым вы приехали из Петербурга, жестянщик? Можно ли к нему послать на обучение кого-нибудь? У меня есть знакомые, которые хотели бы научиться чему-нибудь, да не представляют, как взяться за дело.

— Я выясню, как у него дела, и послезавтра скажу вам. Вы знаете кого-нибудь, кто уже ушел в народ?

— Знаю нескольких сельских учителей, бывших студентов. Между прочим, знаю одну молодую особу, купеческую дочку, которая учительствует в Тверской губернии на каком-то сыроваренном заводе и занимается пропагандой...

— В школе грамотности при сыроваренном заводе Верещагина. И я ее знаю. Ободовская Александра Яковлевна.

— Да, Ободовская... Иные в Петербурге занимаются с фабричными. Виделся там с чайковцами. Жалуются на недостаток литературы для народа. Хотя у них, кажется, в Женеве своя типография. Впрочем, все жалуются на это.

— А вы сами не собираетесь идти в народ?

— С чем? С устным словом? Я не мастер беседовать с мужиками. Вот если бы книжки...

— Если я вам достану такие книжки, пойдете?

— Доставайте, посмотрим, что за книжки...

— Вот возьмите, — вытащил Долгушин из кармана и отдал экземпляр своей прокламации. — Прочтите, и, если с этим решите идти, доставлю вам сколько скажете экземпляров.

— О! Прокламация? Интересно, — живо сказал Далецкий, листая брошюрку. — Позвольте, я сейчас же и прочту. А вы тем временем посмотрите газеты.

Он побежал в другую комнату, оставив Долгушина при самоваре и с газетами. Газеты были за летние месяцы, отчасти за весенние, разрозненные номера, сохра-

ненные ради каких-то важных или любопытных сообщений, сложены они были, за исключением отдельной пачечки номеров с отзывами о трудах валуевской комиссии — эту пачечку Долгушин сразу же отложил в сторону, не просматривая, — в хронологическом порядке, и открывал кипу номер «Правительственного вестника» с правительственным обращением к русским девушкам — студенткам Цюрихского университета, которым предписывалось оставить университет и вернуться в Россию. Об этом обращении, возмущившем всю образованную молодежь, Долгушин знал со слов друзей, но прочесть еще не было случая. Девушек обвиняли в увлечении социалистическими идеями и в том, это особенно возмущало всех, что они будто бы отправились за границу, чтобы под предлогом занятий наукой беспрестанно предаваться утехам «свободной любви». Грубость навета поражала. Правда, тут же говорилось о намерении правительства открыть при медицинских факультетах российских университетов курсы акушерского искусства для женщин, по образцу женских курсов, действовавших при Медико-хирургической академии, и даже учредить в больших городах самостоятельные высшие учебные заведения для женщин, но это были лишь обещания. Газеты же отзывались об этих обещаниях с одушевлением, уверяли, что в деле введения женского высшего образования «наше правительство опережает другие правительства Европы, еще ничего почти не сделавшие по этому важному вопросу», как написала «Всемирная иллюстрация». Прочтя это, Долгушин почувствовал, что с него довольно газет. Однако Далецкий еще не возвращался, и он продолжал листать их.

О чем писали газеты? О победах 10-тысячной мятежной армии монархистов-карлистов над войсками республиканского правительства в Испании... О мирном

парламентском свержении правительства Тьера во Франции... О походе русских войск на Хиву (оправдывали поход цивилизаторской миссией России на Востоке: с падением Хивинского ханства кончится «язва невольничества», падет «последний оплот рабства» в Средней Азии)... О пребывании Александра Второго с семейством в Эмсе на водах... О помолвке царской дочери великой княжны Марии Александровны с английским принцем Альфредом... О первом публичном опыте нового электрического освещения лампочкой накаливания Лодыгина в Петербурге... О решении многих сельских обществ в Пензенской и Тверской губерниях закрыть питейные заведения на их землях... О смерти в июне в Карлсбаде 70-летнего члена Государственного совета, обер-гофмаршала графа Андрея Петровича Шувалова и прибытии к его смертному одру двух его сыновей, одного из Петербурга, другого из Эмса... О полетах в Петербурге и Москве капитана Бюнеля и офицера генерального штаба Николаева на воздушном шаре «Жюль Фавр»... О распоряжении министерства народного просвещения вменить в обязанность воспитанникам учебных заведений в Петербурге отдавать честь господину градоначальнику...

Вбежал возбужденный Далецкий:

— Замечательно! Это, я полагаю, то, что нужно! Не спрашиваю, откуда у вас эта прокламация. Но вы действительно можете доставить некоторое количество экземпляров?

— Да.

— А что еще есть у вас в этом роде?

— Скоро смогу доставить еще две прокламации, одну, обращенную к народу же, другую — к интеллигенции.

— Что ж, подождем. Этот экземпляр можете мне оставить?

— Пожалуйста, — Долгушин встал. — Мне пора. Итак, послезавтра в это время.

В тот же день Долгушин побывал у Кирилла Курдаева, перевез к нему тюк с прокламациями, рассовал их в ящики своего комода, отданного Кириллу на сохранение еще в апреле, когда перебирались из Москвы в Сареево, запер ящики, предупредил Кирилла, что в комод прокламации и что в случае чего он должен заявить, что ничего о них не знает, и сослаться на него, Долгушина, как на хозяина комода. Дела у Кирилла шли недурно, на днях он собирался переводить мастерскую в более удобное помещение у Калужских ворот, поближе к квартирам Долгушина и Дмоховского; когда устроится там, тогда, пожалуй, сможет заняться учениками из студентов.

2

Через день снова был Долгушин на Остоженке у Далецкого, пришел с кожаной дорожной сумкой через плечо, принес прокламации.

— С Любецким я виделся, — встретил Долгушина Далецкий, провел в зал, усадил за стол с самоваром и сам сел рядом, — передал ему ваше предложение о встрече, он должен сейчас прийти... Принесли прокламации? — показал на сумку.

Долгушин вытащил из сумки объемистый пакет:

— Здесь пятьдесят штук. Распространите все — доставлю еще... Что-нибудь не так? — остановился, заметив странное выражение на лице Далецкого.

Далецкий был как бы в некотором затруднении.

— Видите ли... — начал было он и запнулся. — Скажу вам прямо. Сам я распространять пока не берусь. Разные обстоятельства пока не позволяют мне идти в деревню. Я, конечно, буду готовиться... Я не отказы-

ваюсь, нет! — заметив движение Долгушина, собравшегося положить пачку обратно в сумку, потянулся за ней. — Оставьте мне прокламации, я отдам их одному моему знакомому учителю, он получил место в фабричной школе Реутовской мануфактуры и берет ее распространять прокламации среди рабочих мануфактуры, я уже с ним об этом говорил...

— Кто это?

— Дмитрий Иванович Гамов, бывший студент Петровской академии.

— Хорошо. Сколько прокламаций оставить?

— Оставьте все! Что не возьмет Гамов, пуцу в ход через других лиц... Что мастерская?

Долгушин отдал ему пачку.

— С мастерской придется подождать. Пока не все устроено.

— Подождем... Извините, Александр Васильевич, если я внушил вам на свой счет особые надежды... — сокрушенно стал оправдываться Далецкий, но в это время в зал вошел Любецкий, и он с облегчением вскинул. — Вот и Любецкий! Я вас оставляю, господа...

— Нет, мы пойдем, — встал и Долгушин; ему тяжело было смотреть на Далецкого. — Мне надобно на Тверскую, Сергей Георгиевич проводит меня. (Повернулся к Любецкому.)

— Охотно, — ответил тот.

Они вышли из дому, спустились по Остоженке к бульвару и пошли, разговаривая. После каменной раскаленной Остоженки здесь, в тени высоких деревьев, был рай, было много чистой публики, играющих под присмотром мамок нарядных детей. Тяжелое чувство, с которым Долгушин вышел из дома Далецкого, постепенно улетучилось. И сам теперь подивился, с чего вдруг накатило на него это неприязненное чувство к Далецкому. Отказался человек идти в деревню, так что же.

многие ли достойные люди были готовы идти? Но разбираться в этих тонкостях не хотелось. И было уже не до того, интерес к новому собеседнику захватил его внимание.

Любецкий был хорошо одет, в цилиндре, перчатках и с тростью, Долгушин в своей расстегнутой косоворотке и смазных сапогах рядом с ним выглядел странно, вызывал недоуменные взгляды встречных дам и барышень, он это замечал, не смущался, напротив, это забавляло, он даже в какую-то минуту пожалел, что не надел, день был жаркий, поддевку, вид был бы еще более шокирующим. А Любецкий как будто ничего во-круг не замечал, был сумрачен, сосредоточен на своем.

Да, подтвердил он, он был хорошо принят Шуваловым, тот своей властью отменил наказание для его беременной жены и с удивительной откровенностью говорил о конституционных намерениях правительства или по крайней мере влиятельнейшей части правительственных лиц, их оппозиционности государю.

— Почему же он был с вами откровенен? — спросил Долгушин.

— Кто знает? Возможно, в его интересах было, чтобы шире разошлись слухи об этих намерениях правительства. Может быть, он рассчитывал на то, что я буду рассказывать об этом в радикальной среде, и это прибавит пылу у радикалов?

— Может быть. А вы сами верите в эти намерения?

— Не знаю, что и сказать. С одной стороны, как будто и не было еще такого, чтобы несколько министров да вместе с шефом жандармов чуть ли не в открытую говорили о конституции, и не только говорили, но и делали что-то в этом направлении. Я имею в виду валуевскую комиссию. А вдруг что-то и выйдет из этого?

— Что же, например?

— Трудно сказать. Во всяком случае, очевидно, что какая-то часть молодежи будет захвачена новыми веяниями, если земству в самом деле предоставят право выбирать представителей в законодательные органы...

— А с другой стороны?

— Что с другой стороны?

— Вы сказали: с одной стороны, может быть, что-то и выйдет из жандармской конституции. А с другой? Любецкий засмеялся:

— Да вы сами и ответили: конституция жандармская...

— Вот именно, — удовлетворенно заключил Долгушин, сочтя тему исчерпанной, заговорил о другом. — Вы чем занимаетесь? Где-то служите?

— На частной службе, — неохотно ответил Любецкий. — Устанавливаю паровые машины на ткацких фабриках. Между прочим, на фабрике графа Шувалова в Парголово тоже, — неожиданно для самого себя прибавил он с вызовом и уставился на Долгушина.

Долгушин удивился не столько тому, что сказал Любецкий, сколько этому вызывающему тону, впрочем, не придав ему значения.

— Вот как? Ну и что, поэтому вы с ним накоротке? Любецкий смешался, засмеялся натянуто, стал объяснять:

— Я не с ним имею дело... Случайно получилось. Так получилось...

Снова подивился Долгушин его тону и снова не придав ему большого значения. Смущен человек тем, что волею случая оказался связан с частными интересами шефа жандармов. Чего не бывает?

— Сергей Георгиевич, вы не догадываетесь, зачем я попросил вас о встрече?

— Нет.

— Хочу предложить вам дело... Но давайте сядем, тут нам никто не помешает,— повлек он Любецкого к скамейке, стоявшей в стороне от пешеходной дорожки, за кустами, тут можно было говорить, не опасаясь, что их подслушают.

Сели, и Долгушин продолжал с грубоватой дружеской прямоотой:

— Вот что, Сергей Георгиевич, оставьте ваши буржуазные занятия, обойдутся и без вас господа русские капиталисты, тем паче сиятельные. Займитесь настоящим делом. Здесь, в Москве, есть группа людей, готовых не когда-нибудь, уже теперь отправиться в народ. Имеются и средства для этого, своя типография, своя литература, обращенная к народу. Вступите в этот кружок, Сергей Георгиевич, будем снова вместе. Вот, кстати, познакомьтесь с одним из печатных произведений кружка,— он достал из сумки прокламацию, передал Любецкому.— Прочтите.

— Сейчас?

— Да, сейчас. Читайте не торопясь.

Любецкий стал читать, Долгушин, чтобы ему не мешать, достал из сумки газету и тоже занялся чтением. Он даже отодвинулся от Любецкого к краю скамьи, отвернулся.

Любецкий читал долго, похоже, вчитывался в текст; кончив чтение, не сразу заговорил. Долгушин, однако, ждал, чтобы он заговорил первый.

— Что ж,— вежливо кашлянув, сказал наконец Любецкий.— Интересно. Продуманно. Наверное, с этим можно идти в народ. Но...

— Но?

Любецкий прямо и твердо посмотрел в лицо Долгушину, уперся в него тяжелым взглядом:

— Но должен вам сказать: я в ваш кружок не вступлю.

— Почему?

— После того, что было, не хочу больше рисковать своей свободой.

— Только поэтому? — помолчав, спросил Долгушин.

— А этого мало?

— Мало...

— Ну что ж, скажу еще. Не считаю пригодными, если хотите — перестал считать пригодными методы тайных действий, тайной войны с правительственными запретами. Тайные типографии, тайные притоны, пятерки, десятки, этим путем ничего не достичь, власть всегда будет сильнее. Я хочу сказать, гипноз или обаяние реальной власти для массы народа всегда будет сильнее любых призывов тайных ее противников, какими бы соблазнительными они ни были сами по себе. Да и не призывами вызываются революции, об этом еще Чернышевский говорил...

— Да, но он же говорил: все зависит от состояния умов нации, — терпеливо возразил Долгушин. — Дух нации пробуждается к возмущению историческими событиями, а не призывами, так. Но качество этого духа от чего зависит? Как же возвысить это качество — поднять сознание народа, когда власть не позволяет интеллигенции прямо связываться с ним? Или, может быть, вы теперь отрицаете самую необходимость такой связи? Скажите, благотворно ли само по себе, для прогресса нации, нынешнее стремление интеллигенции к народу?

— Я этого не отрицаю.

— Так как же иначе выйти к народу, как не тайно от правительственной власти?

— Надо искать легальные пути...

Долгушин засмеялся:

— Вы повторили слова моей жены, у нас с нею был как-то подобный разговор. Легальные пути. Это для

меня что-то непонятное. Это что же? Легально проповедовать свои взгляды мы можем в салонах — стало быть, по-прежнему красноречиво, убеждать друг друга в том, в чем каждый из нас давно убежден? Еще мы можем, пока можем, устраивать мастерские, — так будем их устраивать, в условиях, когда кругом господствует личный эгоизм? Какие еще пути? Земство! Службою в земстве, конечно, можно будет много пользы принести народу, когда земству дадут какие-то права. А если не дадут? Можно добиваться личной независимости, заниматься благотворительностью... Это ваши пути? Прекрасные, главное — реальные возможности двигать прогресс. Да только при этом придется всю жизнь оставаться паразитами народа. Не замучит вас эта мысль?

— Все так. А только в ваш кружок не вступлю, — упрямо повторил Любецкий, как показалось Долгушину, с ноткой злорадства.

— Хорошо, — холодно сказал Долгушин. — В таком случае я вас прошу: распространите эти прокламации (вытащил из сумки небольшую пачку) среди ваших фабричных. В том числе и на фабрике Шувалова. Здесь двадцать штук.

Любецкий не решился отказаться, молча кивнул, взял пачку, сунул во внутренний карман сюртука.

Они встали, отправились дальше, но теперь натянуто молчали, и Долгушин поспешил сократить прогулку. Перешли Большую Никитскую, и у ближайшей боковой улочки, сказав: «Мне сюда», он сунул руку Любецкому и свернул в улочку.

3

Он был сильно раздосадован: что же это такое, чуть не силой пришлось навязывать прокламации старому товарищу. И с Далецким вышло не лучше. Пошло

струсили эти двое, или проявилась в их поведении какая-то общая черта, что-то характерное для времени? Может быть, еще недостаточно вызрела в массе молодежи идея пропаганды в народе? Дмоховскому с Тихоцким тоже ведь не удалось сговорить в Петербурге на пропаганду многих, на кого рассчитывали. Неужели не довольно было разговоров о пропаганде, нужно еще что-то, чтоб от слов переходили к делу?

Вечером, зайдя к Дмоховскому, заговорил с ним об этом:

— Знаешь, кажется, надо нам поспешить с печатанием, и первым делом отпечатать воззвание к интеллигенции, да побольше экземпляров. Разговаривал сегодня с Далецким и с Любецким. Оба отказались участвовать в деле и выставили причиной...

— Василий Тихомиров, из Земледельческого института, тоже отказался, — перебивая, сообщил Дмоховский. — Приходил Папин, они с Плотниковым от себя посылали ему через кого-то приглашение приехать в Москву, и он ответил, что не приедет.

— Почему?

— Папин с Плотниковым поняли из его ответа только, что он не сочувствует нелегальной пропаганде. Как будто пропаганда может быть легальной...

— Вот и эти отказались потому же... Словом, надо писать обращение к интеллигенции. И я знаю, как надо писать...

— Ну?

— Коротко и хлестко. Убить иронией иллюзии насчет земской службы, артельщины, благотворительности... Помнишь, у Берви в одном из его набросков, которые он читал нам зимой, есть фраза: «Раскройте же ваши сердца для нужды народной»... Так бы и начать. Или еще проще: «К вам, интеллигентные люди, мы обращаемся...» Так бы и сел сейчас писать.

- В чем дело? Садись и пиши.
- Здесь?
- А почему нет? Пиши, пока в ажиотации.
- Да если не удастся написать скоро?
- Ну и что? Будешь писать, покуда не напишешь.

Вот тебе бумага, вот перо,— Дмоховский достал из-под стола перо и бумагу и положил на край стола, дальше от самовара, они беседовали в зале, пошел из зала.— Мы с Татьяной тебе мешать не будем.

Оставшись один, Долгушин не тотчас сел к столу, он был возбужден, чтобы успокоиться, принялся ходить вокруг стола. Но текст, сложившийся, стоял перед глазами, дразнил, и, присев, чтобы только записать первую фразу, Долгушин уже не поднимался, пока не кончил работу.

«К вам, интеллигентные люди, которые вполне поняли крайнюю ненормальность современного порядка вещей,— к вам мы обращаемся и приглашаем вас идти в народ, чтобы возбудить его к протесту во имя лучшего общественного устройства,— писал быстро, без поправок.— Пусть, кто только может, направляет все свои силы на это дело народного освобождения и не думает, чтоб какая бы то ни было жертва была для него слишком велика. И где можно более принести пользы?..»

Где можно более принести пользы? Земство бесправно, оно лживая форма, наполненная и постоянно исправляемая рукою деспота. Заниматься устройством артелей в существующих экономических и политических условиях — значит вливать новое вино в старые мехи, сажать новое растение на неподготовленную почву. Благотворительность не выдерживает никакой критики... Отвергая иные возможности полезной деятельности для интеллигенции, кроме пропаганды в народе, вспоминал удачные выражения, которыми побивал сегодня Любецкого.

Легко складывались заключительные патетические фразы воззвания, писал их и невольно видел перед собой смущенные лица своих сегодняшних собеседников: «Докажем, что мы искренни, что наша вера горяча,— и наш пример изменит лицо земли. И не думайте, чтоб русский народ не мог понять вас и грубо оттолкнул бы вас от себя; если это говорят иногда, то говорят на основании фактов, которые всегда доказывают только неумение действовать, а чаще-то всего отсутствие искренней преданности делу... пусть же люди, которым дорога правда, для которых проводить истину в жизнь стало органическою потребностью, пусть эти люди идут в народ, не страшась ни гонений, ни смерти...»

В полчаса прокламация была готова.

4

Раздосадован, раздражен свиданием был и Любецкий. Негодовал на себя: зачем согласился взять прокламации, что теперь будет с ними делать? Нужно было тверже заявить о своем отношении ко всем этим вещам, не оставить Долгушину повода думать, будто он может, как прежде, заявлять какие-то права на его личность. Правда, при этом легко могла лопнуть и без того туго натянутая тоненькая нить, еще связывавшая их, но уж лучше конец отношениям, чем эта неопределенность...

Нет, не лучше, конечно, не лучше. Полная определенность в отношениях — мечта, увы, недостижимая. Что делать, когда так устроена жизнь, что для поддержания добрых отношений с людьми, близкими тебе по духу, общение с которыми — единственная твоя отрада и так же необходимо тебе, как воздух, нужно притворяться, лгать, скрывать какие-то поступки, в которых ты неповинен, потому что не свободно их совер-

шал. И хорошо еще, что удастся иногда уменьшить степень этой неопределенности. Довольствуйся этим.

Хорошо, что заявил Долгушину о своем неприятии нелегальных путей. И хорошо, что откровенно объявил о службе на шуваловской фабрике. Долгушин принял заявления с пониманием, как должно, что устранил многие неловкости в будущем. И слава богу... И все-таки как быть с прокламациями?

Распространять их он не собирался. Но и уничтожить не мог, рука бы не поднялась. Он не лукавил, когда говорил Долгушину, что считает нужным и благотворным само дело организации народа для борьбы с существующим порядком вещей. Ему, демократу по жизненным принципам, претил порядок, при котором ход жизни целого народа направлялся волею небольшого числа людей, не народом избранных, не ответственных перед народом, и, поскольку, как он был убежден, единственно лишь народная революция могла разрушить этот порядок, он желал революции и готов был ей служить, произойди она. Но в ближайшей перспективе народная революция не ожидалась. Долгушин и другие надеялись ускорить ход вещей, подготавливая почву, сознание народа к будущим событиям, и это была важная и нужная работа, но это была работа на века, те, кто делал ее, добровольно шли на то, чтобы самим лечь в почву, стать навозом истории. Любецкий понимал, кто-то же должен идти на это, но понимал и то, что едва ли заметно изменится ход истории, если подобный выбор сделает кто-то другой, не он. Это он понял еще тогда, три года назад, когда из волглокаменного уединения доставили его однажды в ослепительный бело-золотой кабинет и жизнерадостный молодежавый голубой генерал с красивым лицом и неожиданной сединой в тщательно зачесанных волосах до странности легко сделал ясным для него выбор: либо его жизнь, либо жизнь

дорогих ему людей, не менее его достойных спасения, но ведь других... Нет, не мог он уничтожить прокламации, в которые было вложено — кому, как не ему, было это знать — столько самоотверженного труда, святого вдохновения и риска. Всего лучше было бы передать их кому-нибудь, кто взялся бы их пустить в дело, они должны были быть пущены в дело, должна была сработать заложенная в них правда. Но кому передать? Этого пока не знал.

Дойдя до Тверской, Любецкий взял извозчика и поехал к себе в гостиницу в Замоскворечье, где должен был ждать посыльного от Шувалова, несколько дней назад назначившего ему депешей встречу на этот день в Москве, куда Шувалов должен был заехать, возвращаясь из-за границы в Петербург кружным путем, через центральные губернии. Интересно, что сказал бы Долгушин, открой ему Любецкий и то, что не пройдет и часа после их разговора, как он поедет на свидание с Шуваловым? Любецкий жил в Москве с начала лета, занимаясь, по рекомендации Шувалова, на здешних ткацких фабриках, принадлежавших замоскворецким купцам, тем же, чем занимался на парголовской фабрике самого Шувалова, — установкой новых паровых 35-сильных двигателей. Рекомендация Шувалова заключалась, собственно, в том, что он передал Любецкого в распоряжение своего доверенного, инженера немца Штенгеля, директора парголовской фабрики и управляющего шуваловским же «Складом паровых котлов», коммерческим предприятием, которое закупало за границей по заказам российских фабрикантов новейшие паровые машины и устанавливало их на фабриках заказчиков. В распоряжении Штенгеля было несколько инженеров и механиков, которые и выполняли эту работу. Заказчиков искали по всем губерниям специально подготовленные агенты Штенгеля. Со Штенгелем и имел

дело Любецкий, получал от него задание, отчитывался перед ним за исполненную работу, с ним договаривался и о размере вознаграждения. И в Москву, к купцам в Замоскворечье, был направлен им, Штенгелем. Что мог означать теперешний вызов к Шувалову, было загадкой, нечего было и думать ее разгадать, — если не по делам «Склада» вызывал Шувалов, а он этими делами не занимался вовсе, то других дел просто быть не могло. Любецкий и не пытался разгадывать. Никакой вины за собой он не знал, мог быть и на этот счет вполне спокоен. Пришлось только позаботиться о своем костюме, неприлично было бы явиться к его сиятельству бедно одетым: добыл фрак, купил новые перчатки, трость.

В гостинице справился, не интересовался ли им кто, пока его не было, нет, ответили, никто не интересовался. Приказал принести к себе в номер стакан чая и крендель от лоточника, торговавшего на набережной Москвы-реки, против входа в гостиницу, умылся, переменил манжеты и воротничок, принял от человека чай и крендель, хлебнул раз из стакана, но тут в дверь постучали и вошел ливрейный лакей с бритым, то ли хмурым, то ли недовольным толстогубым лицом:

— Вы будете господин Любецкий?

— Да.

— Велено доставить вашескорodie к их сиятельству, — заметив недопитый чай на столе, тут же добавил. — Велено, вашескорodie, поспешать, потому их сиятельство отъезжают.

— Что ж, едем, — тут же встал из-за стола Любецкий. — Далеко ли ехать?

— Недалече, — лаконично ответил лакей, на лице его опять было то ли хмурое, то ли недовольное, нелюбезное выражение, однако, когда Любецкий снял с плечиков фрак, собираясь надеть, лакей проворно сколь-

знул к нему от двери с услужливым «позвольте-с», ловко и удобно подал фрак и, с поклоном забежав вперед, отворил дверь.

Перед входом в гостиницу стояла нарядная светлая карета, лакей посадил Любецкого, захлопнул дверцу, крикнул кучеру: «Пошел!» — и уже на ходу вскарабкался к нему на сиденье.

Ехать действительно было недалеко. За Пречистенкой въехали в раздвинутые солдатом узорчатые кованые ворота какого-то дворца, лакей передал Любецкого рослому швейцару в подъезде одного из крыльев здания, тот проводил его до двери во внутренние покои и передал чиновнику в зеленом вицмундире, сидевшему за дверью в небольшой комнате у небольшого белого столика, чиновник дернул раза два за шнур внутреннего звонка, звона при этом не услышалось, и провел Любецкого в соседнюю комнату с несколькими дверями и рядом стульев с мягкими сиденьями вдоль одной стены и рядом круглых столиков и стульев с жесткими сиденьями вдоль другой, попросил здесь подождать, должно быть, это была приемная или зал для подачи прошений. Скоро послышался приглушенный расстоянием знакомый малиновый звон шпор, и в зал вошел адъютант Шувалова:

— Вовремя приехали, минутой позже могли бы не застать графа. Прошу.

Они миновали анфиладу странных сверкающих, слепящих комнат, в комнатах почему-то было множество зеркал, на всех стенах, в окна било низкое солнце, и свет его, многократно отражаясь в зеркалах, преследовал неотступно, слепил до рези в глазах. Пройдя зеркальные залы, поднялись на второй этаж и вошли в просторную комнату с диванчиками у стен, еще одну приемную, перед высокой белой дверью адъютант остановил Любецкого, попросил подождать, скрылся за дверью.

Оглядевшись, Любецкий обнаружил, что он не один в приемной. На ближайшем диванчике в покойной позе сидел жандармский генерал с невыразительным лицом, благодушно и приветливо глядел на Любецкого. Встретившись с ним взглядом, учтиво встал, представился:

— Иван Львович Слезкин.

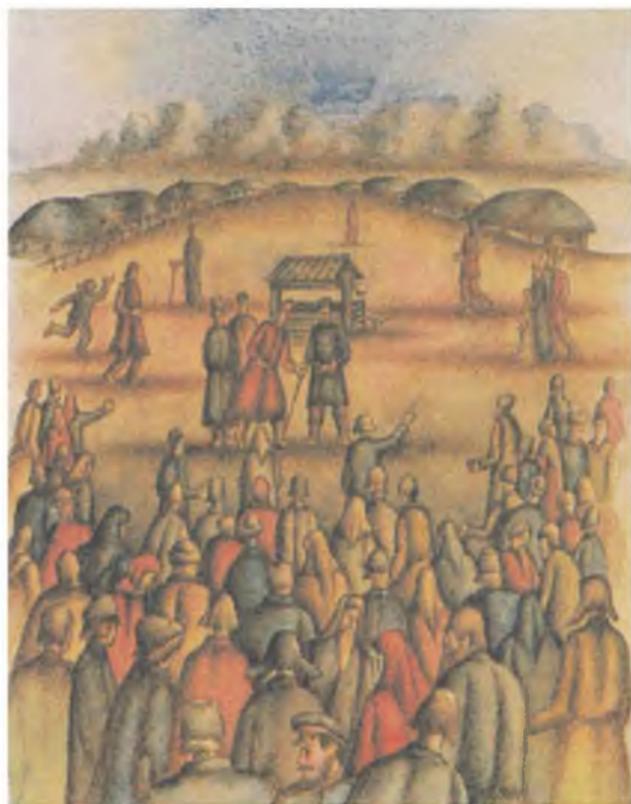
— Простите? — невольно вырвалось у Любецкого, показалось, что ослышался, не сразу сообразил, что эта смешная для жандарма или, может быть, напротив, зловещая фамилия ему знакома, что это фамилия начальника здешнего губернского жандармского управления, как-то не связалось в первую минуту представление о генерале Слезкине с этим приветливым генералом.

— Иван Львович Слезкин, — охотно повторил благодушный генерал.

Любецкий назвал себя, несколько смущенно, ожидая увидеть выражение разочарования на лице Слезкина, которому, конечно, было известно его недавнее жалкое прошлое, но тут из-за белой двери вышел адъютант и пригласил его в кабинет.

Шувалов был картинно красив в белоснежном летнем фраке, со своей элегантно серебряной прядью в волосах, он выходил из-за громадного письменного стола, на краю которого на зеленом сукне стоял белоснежный цилиндр, подхватил цилиндр, кивнув Любецкому, заговорил на ходу:

— У меня нет времени, Любецкий, поэтому скажу, может быть, не все, что следует, да вы разберетесь. Я вызвал вас по поручению, — он улыбнулся, — Штенгеля, он был со мною за границей и остался там для очередных закупок чего-то к чему-то, я в вашем деле не специалист и не вникал, да это неважно. К вам поручение такого рода. Здесь, в Звенигородском уезде, на фабрике какой-то госпожи Шумиковой мы обязались



установить наши машины, да возникли какие-то щекотливости с владелицей. Штенгель поручает вам вести дело, свяжитесь с директором фабрики, немцем же, он чем-то обязан Штенгелю и введет вас в обстоятельства дела, положитесь на его рекомендации. Это я должен был вам передать изустно, остальное сообразите сами или запросите Штенгеля, пишите ему в Берн на имя нашего посланника князя Горчакова. Адрес же и прочие сведения о фабрике Шумиковой узнаете у генерала Слезкина, которого, должно быть, видели в приемной.

— Да.

— Вот все. Надеюсь, справитесь. Ну, а у вас что?

Шувалов спросил, вовсе не рассчитывая получить ответ, спросил рассеянно, подвигаясь к двери, но Любецкий ответил. Вытащил из кармана сверток с прокламациями и молча подал Шувалову.

— Что это? — недовольно нахмурился, приостанавливаясь, Шувалов. Любецкий промолчал, и он развернул сверток. Удивленно. — Прокламации? Откуда они у вас?

Любецкий ответил бесстрастно:

— Мне дали их для распространения в народе.

— Кто дал?

— Незнакомый студент дал их мне как студенту.

Кажется, этих штук изготовлено много.

Шувалов внимательно посмотрел на Любецкого:

— Зачем вы мне это доставили?

Любецкий пожал плечами. Зачем! Как будто он знал — зачем. Прокламации жгли ему руки. Так и не придумав, как их лучше пристроить, он взял их с собой к Шувалову, еще не зная, что с ними сделает. Отдал их теперь Шувалову, подчинившись смутному чувству. Зачем? Прокламации должны были работать. Так и м образом они тоже работали.

Шувалов вернулся к столу, сел, пробежал глазами текст прокламации. Снова внимательно посмотрел в лицо Любецкому. Показал на кресло:

— Сядьте. Поговорим. Так зачем вы мне это доставили?

— Я доставил вам все, что получил сам. Никому не передал ни одного экземпляра.

— Еще бы не хватало. Тогда бы я вынужден был вас арестовать. Но вы могли доставить эти прокламации, например, генералу Слезкину. Почему вы решили их доставить мне?

Любецкий молчал. В самом деле, как это объяснить?

— Ладно, не трудитесь придумывать благопристойное объяснение, — вздохнул Шувалов. — Я вам скажу, почему. Вы, Любецкий, все еще пытаетесь сидеть между двумя стульями — положение, удобное для человека с авантюрной складкой, но не для вас. Вам льстит доверие, которое я вам оказываю, но и доверие нигилистов не хотите обмануть. Как вы сами не чувствуете неудобство этого положения? Ах, Любецкий, Любецкий. Что же мне с вами делать? (Помолчав.) Ну, хорошо. Вот вам мое решение. Отныне, если вы намерены продолжать у меня работать, вы прекращаете всякие сношения с радикальной средой. Всякие, Любецкий. Никаких, даже случайных, встреч ни с единой душой. Довольно. Штенгель вас аттестует дельным работником, я ему верю. Служите по своей специальности. Вам надобно кончить институт? — извольте, помогу. Подготовьтесь, и я доставлю вам разрешение держать выпускные экзамены. Но про политику забудьте. Либо... Либо вы теперь же, слышите, Любецкий? — теперь обратите ваши связи с нигилистами прямо и откровенно против них. Не уверен, что вы способны исполнить эту роль, но если намерены попробовать...

- Вы мне предлагаете роль агента?
- Нет, это вы примериваетесь к этой роли.
- Я примериваюсь?

— Не валяйте дурака, Любецкий. Я вам предлагаю служить у меня по вашей специальности, только. А вы мне приносите прокламации да интригуете намеками на то, что вам известна целая сеть пропагандистов. Примериваетесь. Но не знаете, как ловчее за дело взяться. Втайне надеетесь, что я вас выведу из затруднения. Извольте, готов. Повторяю, не уверен, что вы сумеете быть хорошим агентом, для этого нужны данные, которых у вас нет, но почему не попробовать...

— Ваше сиятельство!..

— Что, вы об этом не думали? Вас оскорбляет это предложение?

Любецкий промолчал.

— Что же вы молчите? Не желаете открыть ваши связи?

— Никаких связей у меня нет. Просто я думаю, что прокламации напечатаны в большом количестве и должны обращаться во всех здешних кружках молодежи.

— Какие вы знаете кружки?

— Знаю много кружков, — пожал плечами Любецкий. — Если угодно, могу назвать. Кружок Долгушина, кружок Тихомирова Льва...

— Мне не надо называть. Назовете, если понадобится, генералу Слезкину. Кстати, ему же и передайте это, — Шувалов вернул Любецкому прокламации. — Идемте.

Вышли в приемную, Шувалов сказал Слезкину, что у него переменялись планы и он уезжает один, Слезкину ехать вместе с ним, как ранее предполагалось, уже не надобно, а вот господин Любецкий имеет кое-

что ему, Слезкину, сообщить. Оставив Любецкого со Слезкиным, Шувалов уехал.

5

В начале августа, когда Долгушин, Дмоховский, Папин и Плотников печатали на Шаболовке обращение к интеллигентным людям, появился в Москве их знакомый по Петербургу, один из тех молодых людей, которых Дмоховский с Тихоцким звали в июне на пропаганду, пехотный поручик Дмитрий Иванович Соловьев.

Это был добродушный толстяк с вологодским окающим выговором, бывший семинарист, человек созерцательного склада, совсем не военная косточка. Теперь он был готов идти в народ, подал уже в отставку, ждал лишь, когда в канцеляриях выправят полагавшиеся ему бумаги; но в Москву он приехал не за тем, чтобы уже теперь присоединиться к кружку Долгушина. Приехал он по поручению Берви-Флеровского. Берви переселялся из Выборгской губернии в Нижний Новгород, где получил место в конторе пароходного общества «Дружина», и Соловьев сопровождал его до Рыбинска, помог ему сесть на пароход, ходивший до Нижнего, и из Рыбинска прикатил в Москву. Свел Соловьева с Берви, как оказалось, старый товарищ Соловьева по семинарии учитель Авессаломов, общий знакомый Берви и Долгушинных, а для Берви даже больше, чем знакомый: жена Авессаломова, акушерка, подруга Аграфены Долгушиной, год назад принимала роды у жены Берви. Василий Васильевич интересовался делами кружка Долгушина, о котором давно не имел сведений. Особенно его интересовало, по словам Соловьева, удалось ли кружку отпечатать прокламацию о мученике Николае, и если да, он хотел бы взглянуть на эту прокламацию. Соловьев брался сам отвезти

прокламацию в Нижний Новгород, конечно, если она отпечатана.

От бывшего поручика не было тайн у пропагандистов, и ему вручили для доставки Берви по нескольку экземпляров женевской брошюры Берви и обеих уже оттиснутых прокламаций Долгушина, дали прочесть сокращенный вариант женевской брошюры и попросили передать Василию Васильевичу на словах свои извинения за эти сокращения. Подумав, решили, однако, что извиняться через третье лицо неудобно, непочтительно по отношению к знаменитому писателю, следовало съездить к Берви кому-нибудь из членов кружка и договориться о сокращениях, благо еще не начинали набирать эту прокламацию. Ехать в Нижний вызвался Долгушин. А Соловьеву поручили распространить в Петербурге большую пачку листков с обращением к интеллигентным людям.

Долгушин мог позволить себе на несколько дней оставить Москву. Станок работал исправно, допечатать нужное количество экземпляров обращения к интеллигенции товарищи Долгушина могли и без него. На тот же случай, если бы они покончили с обращением до его возвращения, договорились, что тогда наберут снова «Русскому народу» и отпечатают еще несколько сот экземпляров.

Не связан был Долгушин в эти дни и семейными обстоятельствами. За день до появления в Москве посланного от Берви перевез Александр Аграфену с сыном обратно на дачу, условились с Аграфеной, что увидятся через неделю. Вытащили-таки Аграфену в деревню ее неоконченные акушерские заботы, притом очень просился Сашок к Авдоихе, на деревенское приволье. Вывез Александр их из Москвы, квартиру на Коровьем валу ликвидировал, сам перебрался к Дмоховскому...

До Нижнего ехал в третьем классе, в старом скрипучем вагоне трясло, как в телеге, под полом страшно лязгало железо, было тесно, душно, всю дорогу клонило в сон и в то же время невозможно было уснуть. После бессонной ночи кружилась голова, но вышел в Нижнем на вокзальную площадь, запруженную подводами, колясками, глотнул утреннего свежего влажного воздуха, отозвавшегося волнующей близостью Волги, и будто не было усталости. Взял ваньку, велел ехать к пристани.

Отыскал квартиру Берви легко, в маленькой улочке без названия все уже знали чудаковатого барина, приехавшего из дальней губернии с хворой женой и двумя малыми детьми и без всякого имущества, привели Долгушина к дому лавочника, у которого Берви снял за гроши две комнатки в мезонине. Жена Берви Эрмиона Федоровна, бледная, еще не вполне оправившаяся от какой-то болезни, перенесенной весной, хрупкая, похожая на барышню-институтку, с копной высоко заколотых пушистых непослушных волос, с трогательно тонкой и гибкой открытой шеей и при этом с красными большими, разбитыми физической работой руками мужички, кормила ребенка. Она обрадовалась гостю, посадила на кровать, на которой сама сидела с ребенком, больше посадить было не на что, побежала было к хозяйке за самоваром, но Долгушин ее остановил, сказал, что у него мало времени. Спросил, где найти Василия Васильевича, служит ли он уже, не на службе ли? Нет, ответила Эрмиона Федоровна, он не на службе. В контору ему не нужно ходить каждый день, он берет работу на дом, а теперь он на прогулке. Если Александр Васильевич так торопится, то может найти его на берегу Волги, за пристанью. Долгушин отправился на берег Волги.

Бедность обстановки этой семьи не удивила Долгушина, когда зимой он с друзьями ездил к Берви в Любань Новгородской губернии, где в то время жили Берви, там обстановка была не роскошнее. Жил Василий Васильевич с семьей в обычной убогой крестьянской избе с земляным полом и слепыми оконцами, только что не по-черному топившейся. Всю работу по дому выполняли вдвоем с женой, прислугу не держали, он возился с печью, рубил дрова, носил воду и при этом писал экономические статьи, готовил второе издание своего знаменитого «Положения рабочего класса в России», она стирала белье и кухарничала, нянчила грудного ребенка и еще выгадывала время для рукоделия, которым зарабатывала на жизнь семьи, в иные времена только тем и кормились. Бывали, конечно, в их жизни периоды, когда они могли жить безбедно, появлялась такая возможность, когда получались гонорарии за статьи и книги Василия Васильевича и за частную адвокатскую практику, которой он, юрист по образованию, занимался со времени своей сибирской ссылки в шестидесятых годах. Но на жизни семьи это не отражалось. Все, что превышало уровень, который Берви с женой когда-то признали минимально необходимым для жизни, они считали не их личным — общественным достоянием и расходовали на разные общественные предприятия. Это был жизненный принцип: ограничить свои потребности предельно необходимым для поддержания жизни, исключить из обихода всякую роскошь, не обременять себя никаким имуществом. В Любани Василий Васильевич пылко развивал перед Долгушиным и его товарищами теорию добровольной бедности, особенно упирая на ее социальный смысл. «Интеллектуальное развитие,— говорил он, требовательно смотря в глаза собеседнику,— дает человеку несравненно более удовольствия и счастья,

чем вещи и богатство, стремление же к интеллектуальному развитию побуждает делиться им и распространять его вокруг себя и таким образом устанавливать между людьми солидарность стремления. Напротив, сосредоточение помыслов на приобретении богатства порождает между людьми рознь. Поэтому нужно всячески стараться давать, в особенности в образованном классе, преобладание первому стремлению над вторым. Это единственный путь, который может привести к спокойному и свободному прогрессу...» С последовательностью библейских апостолов он первый, в собственной жизни, следовал своей проповеди, жил так, как проповедовал, слово с делом у него сходилось. И поразительно, что этот суровый ригоризм свободно и безропотно приняла как норму, сделала и своим жизненным принципом женщина, конечно, любящая женщина, однако же воспитанная в барской среде, нежный одуванчик, его жена. Вот какая подруга жизни нужна революционеру, думал Долгушин, удивляясь и восхищаясь.

Он нашел Берви далеко от пристани, в месте пустынном и голым, низкий берег был каменист, расплавленный воздух прозрачным желе колыхался над желтой, выжженной солнцем низиной. Берви шел быстро по берегу у самой кромки воды, руки закинув за спину, напряженно смотря прямо перед собой. Шел он навстречу Долгушину, но его не видел, занятый своими мыслями. Высокий, длиннородый, худой, в белой свободной парусиновой паре, обвивавшей костлявое тело, как хитон, он и в яви был похож на библейского апостола или самого Христа, явившегося людям на жарком берегу моря Галилейского.

Они сошлись у большого, в половину человеческого роста, треугольного камня в виде утюга, тупой своей частью сидевшего в воде, острый — выступавшего на берег

Берви сразу узнал Долгушина, хотя зимой в Любани видел его бритым, нисколько не удивился его приезду, тут же попросил свою отпечатанную брошюру и принялся читать, разложив на камне. Долгушин стал извиняться, что лишь теперь доставил брошюру, сказал, что эту брошюру пока не распространяли, рассчитывая распространять одновременно с другими прокламациями, когда все они будут отпечатаны, экземпляры этих прокламаций он, Долгушин, тоже привез Василию Васильевичу, достал из дорожной сумки по экземпляру «Русскому народу» и «К интеллигентным людям» и положил на камень; сказал и о том, что он и его товарищи намерены перепечатать женевскую брошюру с некоторыми сокращениями, впрочем, если с этими сокращениями согласится Василий Васильевич. Берви слушал, кивал, от чтения, однако, не отрывался, с видимым удовольствием перечитывая собственный текст. Прочтя прокламацию, прочел и долгушинские, и их читал с видимым удовольствием, кивая, радостно посмеиваясь, когда встречал выражения и обороты, казавшиеся ему особенно удачными.

— Что ж, со всем этим можно идти в народ! — воскликнул, сияя, когда кончил чтение. — А что вы намерены сократить в моей прокламации, что вам там не нравится?

— Не то что не нравится, а есть места, которые, нам кажется, нужно либо прояснить, либо убрать, — ответил Долгушин. — И кое-где тон, как нам кажется, излишне экзальтирован...

— Какие места требуют прояснения?

— Например, о принципе владения землей. Непонятно, к чему призывает прокламация, к обобществлению земли или поравнению на основе индивидуального владения? Затем определенно заявлено о беззаконии наймичества, но не сказано о лучшем способе ведения хозяйства...

— То есть общинном?

— Да, общинном или артельном, в чем он?..

— Что еще? — нетерпеливо перебил Берви.

— Еще бросается в глаза противоречие: с одной стороны, призыв с оружием в руках стоять за интересы трудящихся классов, уничтожать землевладельцев и богачей, с другой — надежда на то, что люди станут братьями, как только постигнут закон равенства. Еще тон...

— Слушайте, зачем это? — не выдержав, остановил Долгушина Берви, он уже кипел от негодования. — Ну к чему это начетничество? Общественный труд, индивидуальный труд, интересы классов, классовая борьба. Или вы всерьез думаете, что владеете истиной? Убеждены, что знаете, как всего лучше народу устроиться? Ах ты, господи. Нам ли с нашей патриархальностью в отношениях между сословиями заботиться о безупречной социальной теории? Пусть в Западной Европе филигранят теории борьбы труда с капиталом, они старше нас... Классовая борьба! Если угодно, это понятие суть роковое недоразумение, у отдельных групп людей нет неизбежно противоположных интересов...

— Но ведь вы зовете крестьян выступить с оружием... — растерянно произнес Долгушин.

— Так что же? — в удивлении посмотрел на него ясными огромными глазами Берви. — На каком-то этапе общественного движения вооруженная борьба неизбежна, народ не умеет за себя постоять, и пробудить в нем силу сопротивления можно лишь призывом к борьбе. Но ведь в сущности не это главное. Важнее пробудить народ выработать правильный взгляд на свое счастье. Нужна проповедь этого взгляда. В проповеди закона равенства суть прокламации. Вас смущает тон? Тон соответствует существу...

— Василий Васильевич, ради бога, — взмолился Долгушин, — мы же не настаиваем на переделках! Не счи-

таете нужным ничего менять — напечатаем без изменений.

— Нет, отчего же? Если вас что смущает, поправьте. Но сами. Меня увольте. Не люблю переделывать написанное... Это все, с чем вы приехали?

— Да...

— В таком случае поторопимся домой. Жена дома одна скучает, стараюсь надолго не оставлять ее одну. А приходится. Что поделаешь, привык гулять в одиночестве. Лучшие мысли приходят во время прогулки...

Он сложил аккуратно прокламации, засунул во внутренний карман сюртука и зашагал крупно в сторону пристани, не замечая, поспеваает за ним его спутник или не поспеваает.

И дома он продолжал говорить о солидарности интересов как условия разрешения социальной задачи. Странно было выслушивать горячие, страстные пассажи о том, как посредством множества прокламаций, подобных напечатанной в Женеве, которые еще будут написаны и напечатаны, ему, автору прокламаций, и его молодым друзьям-пропагандистам удастся создать правильное общественное мнение, внушить народу и образованным классам понимание своих подлинных интересов и тем самым устранить главное препятствие действительному прогрессу общества. Возражать, однако, было бы бесполезно, Берви не принял бы никаких возражений, да ему самому были известны все возможные возражения. Долгушин и не возражал, слушал, добросовестно пытаясь вникнуть в логику этого человека.

Слушая Берви, Долгушин наблюдал за его женой, ему нравилось, как она внимала мужу, впитывая каждое его слово, чутко реагируя — улыбкой, сиянием глаз — на каждый поворот мысли, неожиданное слово. Вот она видела внутреннюю логику в рассуждениях Василия Васильевича, для нее была очевидна основательность его расчетов.

Они сидели за самоваром во второй комнате, в первой уложили детей. Здесь тоже не было мебели, только две кровати, на которых сидели, между кроватями стоял табурет, на него поставили самовар, в углах в несколько стопок были сложены книги и журналы. Когда стемнело, зажгли лампу, поставив ее на тот же табурет, и всякий раз, когда Эрмиона Федоровна, разливавшая чай, проносила руки близко от лампы, Долгушин завороченно смотрел на эти руки с сухой морщинистой кожей, мохлястыми пальцами. Его неудержимо тянуло поцеловать эти руки, он стал придумывать повод, чтоб исполнить свое намерение и чтоб это не показалось сентиментальным, сентиментальность здесь была не в ходу, и не мог придумать. Но когда прощались — хозяйева оставляли его почевать, он, однако, не посмел стеснять их — и Эрмиона Федоровна по-мужски протянула ему руку для пожатия, он схватил ее и поцеловал.

Ночь он провел на Волге, спать не хотелось, был слишком возбужден, растревожен воздействием парадоксальной личности Берви. И еще волновала мысль, что вот он теперь на Волге, а завтра уедет и когда-то снова доведется побывать здесь. Бродил по берегу, всматриваясь в светлую пустынную речную даль и ширь, вслушиваясь в особенную тишину большой реки, усиливаясь понять природу притягательности этого безбрежного водного простора. Плескалась рыба в воде, лунная дорожка уходила далеко к середине реки и терялась там вдали, не достигая противоположного берега, изредка проходил призраком по середине реки неслышимый из-за дальнего расстояния колесный буксир, тянул баржу... Добрел до камня, у которого встретился утром с Берви, камень еще не остыл от дневного жара, посидел на нем, дожидаясь утра. С восходом солнца отправился на железнодорожную станцию.

Ехал в Москву тоже в третьем классе, было так же тесно и душно, как два дня назад, и трясло, и швыряло, и так же лязгало железо, но теперь это не мешало спать. Заняв место в углу вагона, подобрав ноги под лавку, привалившись головой к тряской стене, спал чуть ли не всю дорогу до Москвы.

6

Рассказал друзьям о встрече с Берви, согласились, что не будут ничего менять в его прокламации, только снимут несколько первых фраз, где говорилось о мученике Николае, да из названия уберут это имя, оно могло быть понято читателем из народа слишком буквально. Набрали прокламацию под названием «Как должно жить по закону природы и правды», стали ее тискать.

Думали, оттиснув тысячи полторы экземпляров этой прокламации, вернуться-таки к «Русскому народу», допечатать еще хотя бы тысячу экземпляров, но оказалось, что деревянная машина не способна выдержать такую нагрузку. Уже на третьей или четвертой сотне экземпляров прокламации Берви ухудшилась печать, последние листы выходили совсем слепые, нужно было перебирать станок, заменять деревянные части. Решили, однако, пока не заниматься станком, распространить то, что уже оттиснуто, а уж потом, с учетом результатов распространения, возобновить печатание. Если, конечно, не произойдет ничего неожиданного. Станок разобрали, металлические части его и наборную кассу уложили в ящики, и Татьяна с запиской от Дмоховского свезла ящики на ломовом извозчике к Яузскому мосту в дом преданного Дмоховскому человека на хранение, деревянные же части станка и стол о пяти ножках сожгли.

Да и довольно уж было наготовлено экземпляров для четверых распространителей, с учетом спрятанного в Са-

рееве выходило на каждого почти по шести сотен экземпляров прокламаций, предназначенных для распространения в народе, и по сотне с лишним экземпляров обращения к интеллигентным людям. Обращение распространяли в Москве и рассылали с разного рода оказией в другие города, распространять его помогали Далецкий и иные из москвичей, и оно расходилось быстро, а вот чтобы распространить адресованное к народу, разнести по деревням и селам, и не разбросать беспорядочно где попало, а чтобы каждая брошюра попала в те руки, в какие пужно, для этого, конечно, требовалось время, едва ли и в месяц могли бы справиться с этим четыре человека. В ближайшее же время прибавления числа распространителей как будто не ожидалось. Тихоцкий застрял в своем имении, многие московские и петербургские знакомые в связи с летними вакациями были в отъезде, некого было звать на пропаганду.

Последнюю неделю печатания четверо пропагандистов, торопясь поскорее кончить дело, почти не выходили из средней комнаты во флигеле на Шаболовке, где стоял станок. Дмоховский еще с первых дней, как поселился на Шаболовке, стал манкировать службой у Платонова, ходил на завод по вечерам, с утра занимаясь с друзьями печатанием, в последнюю же неделю и вовсе перестал ходить. Нужды уж не было; собирались, покончив дело в Москве, переселив и Татьяну к Аграфене на дачу, исчезнуть, раствориться в народе, а что ожидало их в этом море?

Наметили выехать из Москвы в четверг шестнадцатого числа ввечеру, все вместе. Утро и день четверга посвятили завершению неоконченных дел, они оставались у каждого. Дмоховскому нужно было рассчитаться с Платоновым, Папину с Плотниковым прикупить кое-что из простонародного платья, они придумали бродить по деревням под видом коробейников. Было дело и у Долгушина.

В четверг, в одиннадцатом часу утра, Долгушин со своей дорожной сумкой через плечо вышел к собору Василия Блаженного на Красной площади, со стороны Спасских ворот, и остановился у балаганчика книжного торговца, ярко и пестро раскрашенного красно-зелеными полосами. У этого оригинального балаганчика ему была назначена встреча с человеком, который брался отвезти в Петербург и распространить там среди студентов-технологов и университетских студентов большое количество экземпляров обращения к интеллигентным людям. Назначил встречу Далецкий, он и должен был привести сюда этого человека, своего петербургского знакомого, о нем он отзывался как о человеке незаурядном, обещавшем многое в будущем, а некоторыми своими поступками уже и выказавшем свою исключительность. Звали его Дмитрием Михайловичем Рогачевым. Год назад Рогачев окончил Павловское военное училище, тогда же, в чине поручика, вышел в отставку и поступил в Технологический институт, теперь он возвращался в Петербург из Орловской губернии, где проводил каникулы, там он пытался сблизиться с деревенскими кузнецами, изучал их ремесло, человек он силы необыкновенной, согнуть подкову ему ничего не стоит; пытался осесть в деревне народным учителем, но это почему-то ему не удалось. Зато ему удалась агитация среди орловских гимназистов и гимназисток, одна из них, Карпова Вера Павловна, решила отдать себя делу народного освобождения, и вот, чтобы помочь ей уйти из родительского дома, Рогачев вступил с ней в фиктивный брак, в Москву «молодые» приехали вместе.

Место и время встречи выбрано было неудачно: в этот час Красная площадь была запружена толпами праздного народа, сошедшегося поглазеть на торжественный выход царя, прибывшего в это утро в Москву, проездом в Ливадию, на площади в разных местах расставлены

были группы городских и солдат в парадной амуниции, это означало, что в любой миг какие-то части площади могли быть оцеплены и всякое движение народа остановлено, встреча с Далецким и его другом могла надолго отложиться. К тому же в уличной толпе, как всегда в дни праздников, должны были шнырять агенты генерала Слезкина, попасться кому-нибудь из них на глаза тоже не входило в планы Долгушина.

Некоторое время Долгушин стоял у балагана и оглядывался, не зная, с какой стороны придут друзья, недоумевая, почему Далецкий назначил для свидания это неудобное место, народ валил отовсюду, от Москворецкого моста, с Ильинки и Варварки, в этом коловращении сюртуков, косовороток, плисовых жилетов немудрено было потеряться, при том еще, что, как оказалось, на площади у Василия Блаженного было множество торговых балаганчиков, некоторые были расписаны подобным же образом, и по крайней мере еще один был книжный, как понял, приглядевшись, Долгушин, — у которого из них следовало стоять? Негодуя, принялся рассказывать между этими балаганами, высматривая в толпе Далецкого. А его все не было. Через полчаса начал уж сомневаться, да придет ли он. Потом подумал, что, может быть, полиция где-нибудь перекрыла подходы к Красной площади и отрезала путь Далецкому, хотел уж было пойти к полицейскому офицеру, слезавшему с коня на углу Ильинки, спросить, могло ли быть такое, и тут увидел в толпе — не Далецкого, а Любецкого.

Высокая фигура Любецкого проплыла перед ним, саженьях в шести-семи, по направлению к Ильинке, Долгушин окликнул его, и тот услышал, повернул голову и увидел Долгушина, мгновение напряженно и тяжело смотрел ему в глаза, но не узнал или сделал вид, что не узнал, отвернулся и зашагал быстрее. Долгушин снова окликнул его, и опять он услышал оклик, но на этот

раз не повернул головы, ускорил шаг, почти побежал, натываясь на прохожих, глядя поверх голов вперед, как бы отыскивая глазами извозчика. Долгушин бросился было за ним — и будто ожегся, напоролся на чей-то неподвижный упорный взгляд.

Взгляд был знакомый. Такой взгляд, в первое мгновение упорно-неподвижный и затем как бы безвольно потухающий, он уже ловил на себе несколько раз, когда жил на Коровьем валу, до переезда к Дмоховскому, и знал человека, кому он принадлежал. Это был угрюмый молодец с желтыми усиками на квадратном лице, в черной рубахе мастерового и с выправкой гвардейского унтера, явно агент негласного наблюдения или, иначе, переодетый старший или младший унтер-офицер так называемого дополнительного штата корпуса жандармов, комплектовавшегося из нижних чинов лейб-гвардии. Особого вреда от него не было, он только наблюдал, но и радости было мало таскать за собой такой хвост. Поэтому, когда перебирался с Коровьего вала к Дмоховскому, постарался не перетащить за собой на Шаболовку этого молодца. И вот он снова объявился?

Захотелось проверить, в самом ли деле в толпе оказался наблюдатель с Коровьего вала или это только померещилось, ринулся в толпу, нацелившись на высоко поднятый оранжевый зонтик с бахромой, вроде бы из-под этого зонтика, из-за плеча высокой дамы, хозяйки зонтика, смотрели глаза наблюдателя, но в эту минуту толпа пришла в необычайное движение, отовсюду стали раздаваться крики: «Едут! Едут!» — толпу принялись теснить в разных направлениях городские и солдаты, устраивая широкий коридор посреди площади, оранжевый зонтик отнесло потоком куда-то к Торговым рядам, пробиваться к нему уже не имело смысла. Долгушин остановился, решив посмотреть на царский поезд.

Вскоре по образовавшемуся коридору проехала вереница закрытых и открытых экипажей, сопровождаемая нарядными всадниками в белых черкесках. Долгушин не стремился в первый ряд зрителей, смотрел на процессию издали, из-за спиц, и все же увидел государя, тот ехал в открытой коляске, один, был в конногвардейской фуражке, строен, поджар, молодцеват, улыбался, легкими поклонами головы отвечая на приветственные крики москвичей.

— Александр Васильевич!

От пестрого балаганчика ему навстречу шли Далецкие и с ними молодая пара, верно Рогачевы.

— Кого это вы пришли сюда встречать — нас или государя? Могли и не увидеть вас в этой толчее. Мы же условились: ждать у балагана! — весело стал выговаривать Далецкий, подходя.

— Да, но у какого? — сердито повел Долгушин рукой по площади, показывая на другие расписные балаганы, всматриваясь между тем в подходивших «молодых».

— Есть еще такие же? А был один такой. Что делает соперничество! Я это не учел, виноват, — легко повинился Далецкий. — Вы нас заждались? А вот в этом уже не я виноват, не пускали никого на Никольскую, мы шли с Кузнецкого моста, пришлось делать крюк на Ильинку. Но позвольте вас, господа, представить друг другу...

Пока Далецкий церемонно выговаривал имена и фамилии, пока обменивались рукопожатиями, Долгушин все всматривался в своих новых знакомых. Рогачев и впрямь производил впечатление человека большой физической силы, его широкое в плечах и в груди мощное тело просилось, рвалось наружу из тесного сюртука и крахмальной рубашки, бугры мышц ходили, перекатывались под тонкой тканью сюртука, легко было предста-

вить его в свободной мужицкой рубаше с закатанными рукавами, с косой или молотом в руках, настоящий русский добрый молодец! И лицом, открытым и чистым, с выражением немного простодушным, немного лукавым и насмешливым, обрамленным молодой русой бородкой, вызывал он представление о добром молодце. Под стать ему была его юная подруга, крепкая, здоровая свежая девушка, круглолицая и румяная, с отчетливыми правильными чертами лица, с пристальным и жгучим взглядом глубоко посаженных глаз. Она обещала расцвести в величавую красавицу, а пока держалась не очень уверенно и все поглядывала на своего освободителя — с обожанием и преданностью старательной ученицы, напомнив Долгушину Эрмиону Федоровну Берви. С улыбкой глядя на нее, любуясь ею, Долгушин чувствовал невольную зависть к Рогачеву: из такой девушки могла выйти жена-соратница, единомышленница.

— Я почему назначил встретиться здесь? Хочу показать вам Москву с такой точки, с какой вы ее еще не видели, с колокольни Ивана Великого, — продолжал объясняться Далецкий. — Но я выпустил из виду приезд государя. Правда, если подождать, когда схлынет народ..

— Нет, не будем ждать, — перебил его Долгушин. — Давайте уйдем отсюда. Здесь неудобно говорить, а нам с Дмитрием Михайловичем надобно переговорить о деле. Спустимся к Москве-реке. Или, может быть, мы с Дмитрием Михайловичем удалимся на полчаса, а вы останетесь здесь?

— Нет, пойдем все! — решительно заявила Вера Павловна, вызвав у всех невольные улыбки. — И мы пойдем к Москве-реке.

И она первая повернулась и направилась вниз, с правой стороны собора.

— Так вы шли по Ильинке, — сказал Долгушин, обращаясь к Далецкому. — Вы должны были встретить..

— Любецкого? — вскричал в возбуждении Далецкий.— Как же! Он промчался мимо нас, как будто за ним гнались собаки, мы окликнули его, он даже не оглянулся. Так это он, что же, после разговора с вами?..

— Нет, на мой оклик он тоже не отозвался.

— Странно. У нас он почему-то перестал бывать...

Разговаривая, они спустились к Москве-реке и пошли по набережной вдоль кремлевской стены, здесь было пустынно, можно было спокойно беседовать, и Долгушин с Рогачевым, немного отстав от компании, заговорили о деле.

— Я ваши прокламации читал,— сказал Рогачев.— Разумеется, сделаю все, чтобы листки, которые вы мне передадите для распространения, разошлись возможно более широко и производительно.

— Стало быть, возражений они у вас не вызвали?

— Возражений не вызвали. Но у меня есть к вам вопрос.

— Какой?

— Вы призываете народ к революции. А он готов к ней?

— А вы сомневаетесь? Вы толкались среди народа и в этом не убедились?

— Не знаю, может быть, действительно те факты, с которыми я сталкивался, означают лишь, как говорится в вашем обращении к интеллигентным людям, неумение действовать с моей стороны, но готовности народа восстать теперь же или хотя бы в ближайшей перспективе я не заметил.

— А кто зовет его восстать теперь же? Разве наши призывы означают призывы к немедленному восстанию?

— Да вы же пишете: «Восстаньте, братья...»

— И что же, мы пишем: восстаньте теперь же?

— Ну, таких слов нет...

— Вот именно, что нет. А есть призыв сговаривать ся и соглашаться для дружного действия.

— То есть как в прокламации Чернышевского — готовиться и готовиться?

— Готовиться восстать не бестолково, а с ясным пониманием цели и ясной программой.

— Но вы допускаете восстание в ближайшей перспективе?

— А почему его не допускать? Кто знает, когда оно будет? Может, завтра. Народ поднимется, когда припрут обстоятельства. Смирение и кротость народа — факт, но факт и то, что в известных обстоятельствах он все-таки может за себя постоять. Иначе бы в нашей истории не было ни Разина, ни Пугачева. Другое дело — как он будет действовать, поднявшись. До сих пор всегда действовал во вред себе. Вот тут мы можем и должны сказать свое слово. Над обстоятельствами мы не властны, но в нашей власти воздействовать на дух народа... Пойдемте с нами, Дмитрий Михайлович!

— Вы приглашаете меня распространять прокламации среди крестьян?

— Да. Сегодня мы, несколько человек, выезжаем из Москвы с этой целью. Если вы согласны, можете присоединиться к нам сегодня же. Или через несколько дней, как угодно. Свяжемся через Далецкого.

— Предложение заманчивое. Но я должен прежде побывать в Петербурге. Отправляюсь завтра или послезавтра, а Вера останется здесь. Вот она может оказаться вам полезной, рвется в дело, привлечите ее. А в Петербурге тоже дело, связанное с пропагандой. Мои товарищи, как и я, бывшие военные, ведут пропаганду среди фабричных на Выборгской стороне и за Невской заставой, готовят из них пропагандистов для деревни. Съезжу, посмотрю, серьезное ли дело. И если почувствую, что дело не по мне, приеду к вам.

— Ну, что ж...

— Мне, Александр Васильевич, еще многое непонят-

но. Хочу разобраться. Пока я твердо знаю одно: народ настоящим своим положением не доволен и нуждается в помощи: Но как ему помочь? Вот вопрос. И до чего же трудно решиться выбрать какой-то один путь. Вот я вам завидую: вы определились, тверды в своем выборе. А я на распутье... Была у меня как-то этой весной полуса отчаяния, думал, а не лучше ли всего террор? Ножичком чиркнул — и гром на всю Европу! Я даже выбрал себе жертву — шефа жандармов Шувалова и стал высматривать его, примеривался, смогу ли, нет ли? Однажды сильно его напугал, — усмехнулся Рогачев. — Дело было ночью, возле его дома, он подъехал, а я подобрался к окну кареты и заглянул в окно. И нос к носу. Он застыл, помертвел. И тут я понял: нет, не по мне это. В карете сидел беззащитный человек, а не всесильный временщик. Измажешься в беззащитной крови, потом всю жизнь не отмоешься... Всего лучше для меня уйти в народ без определенной цели. Моя мечта: пройти Волгу сверху донизу поденным рабочим — бурлаком, косарем, грузчиком. Пожалуй, так и сделаю. А уж тогда и решать... Но я вас заговорил. Вам неинтересно слушать откровения такой невыработанной личности?

— Вы мне интересны, Дмитрий Михайлович, и я повторяю вам свое предложение: присоединяйтесь к нам.

— Спасибо на добром слове. Давайте-ка, однако, ваши листки.

Далецкий и дамы поворачивали направо в аллею Александровского сада, но не пошли дальше, остановились, поджидая Рогачева с Долгушиным.

Идти в Кремль Долгушин отказался, попрощался со всеми, пообещав появиться в Москве недели через две, и пошел к себе в Замоскворечье.

Ему понравился Рогачев, понравился основательностью поиска своего пути, стремлением непременно охватить умом всю многосложную картину общественного

движения и уже на основании такого полного знания сделать свой выбор. Страшно трудно это сделать, не имея за плечами специальной теоретической выучки, которая дается годами отрешенных книжных штудий, мучительных попыток ухватить истину с пером в руке. Он, Долгушин, это знает по себе. Но знает и то, что этот славный добрый молодец теперь не успокоится, покуда не одолеет всех препятствий, которые встанут на его пути, такой открытой и честной натуре не может быть иной судьбы...

Перейдя Москву-реку по Большому Каменному мосту, заметил Долгушин впереди, перед Малым Каменным, внушительную толпу на обочине шоссе, развороченного в том месте несколько дней назад рабочими, как говорили, железнодорожной компании графа Уварова. Компания еще в июне получила от городской думы разрешение построить линию конной железной дороги в Замоскворечье, но почему-то до сих пор не начинала работу. В толпе, в центре ее, были важные господа, должно быть, представители думы и компании, чуть поодаль от них стояли кучкой инженеры и чиновники разных ведомств, еще дальше — мастеровые люди в кафтанах и высоких картузах и тут же несколько человек дорожных рабочих в лаптях и холщовых рубахах, на время совещания начальства оставивших свои кирки и лопаты, они-то и ковыряли тут мостовую, и уже за ними широким полукругом располагались зеваки, обтрепанные обитатели лачуг по ту и эту стороны Водоотводного канала. Толпа пребывала в почтительном ожидании: не изволят ли объявить чего важные господа, обсуждавшие, судя по характерным жестам одного из них, в малиновом фраке, варианты направлений линии.

Долгушин обошел толпу со стороны зевак, за их спинами, и показалось ему, когда уж он поворачивал к мо-

сту через Канаву¹, что проводил его из толпы знакомый упорный взгляд; не оглядываясь, не ускоряя шага, прошел он по мосту, но за мостом, выйдя на Большую Якиманку, бросился бегом вперед, свернул в ближайший проулок и забежал в раскрытые ворота нежилой лачуги, встал за воротами, отсюда можно было в щель наблюдать за проулком, стал ждать, не пройдет ли мимо ворот унтер-шпион. Простояв с четверть часа, за это время мимо ворот прошли две бабы с бельевыми корзинами и толпа цыган, решил, что можно отправиться дальше, но испытывать судьбу не следовало, пошел не прежним путем, перелез за лачугой через забор и двинулся к Шаболовке кружным путем, по набережной, кривыми улочками...

Уезжали из Москвы с чувством облегчения, весело, с шутками, хотели петь и запели, как только проехали заставу и легла во все стороны ширь и благодать еще не убитой камнем земли и грянули ароматы скошенных трав и близкого леса. «Ни кола ни двора, зипун — весь пожиток», — живо и весело запел Долгушин, голосом приятным, мелодичным, хотя и не сильным, и тут же песню мощно подхватил Папин голосом вышколенным, гибким, легко бравшим самые низкие и самые высокие ноты, уверенно повел мелодию. Пел негромко музыкальный Плотников. Пел своим скрипучим голосом вовсе не умевший петь Дмоховский, сильно фальшивил. И даже Татьяна, не знавшая слов озорной песни, пела и улыбалась, не забывая, однако, оберегать от неожиданных толчков живот. Ехали на своей лошади, правил Долгушин. Ехали в Сареево, решив, что для начала лучше пройти по знакомым окрестным селениям. Везли с собой не все прокламации, часть оставили на всякий случай в Москве, у Курдаева же, в его новой мастерской у Калужских ворот.

¹ Обиходное название Водоотводного канала.

ГЛАВА ПЯТАЯ
«В НАРОД! В НАРОД...»

1

Несколько дней шли дожди, похолодало, полетел с березы желтый лист, быстрая Медвеника вдруг вздулась и стала выплескиваться из берегов, подмочила нижние копны так и не проданного сена (с Верещагиным не удалось сговориться, других покупателей некогда было искать).

Пережидали непогоду в избе у весело постреливавшей печки, не отчаивались, не верили, что преждевременно наступившая осень уж больше не отступит. Был даже в какой-то мере и в руку неожиданно образовавшийся досуг, можно было обсудить сообща, как же все-таки вести пропаганду среди крестьян. В самом деле, как? Ограничиться ли поначалу раздачей прокламаций в надежные руки, поиском этих надежных рук по деревням, не обременяясь пока иными целями, или сразу же пытаться сколачивать группы из распропагандированных крестьян, нацеливать их на борьбу с мироедами, убеждать не платить подати? Отыскивая надежных крестьян, оставлять им прокламации, чтобы они потом самостоятельно читали их, или предварительно самим пропагандистам прочитывать прокламации вслух тем крестьянам и объяснять места, которые покажутся им темными? Трудно тут было что-либо решить заранее. склонялись к тому, что практика покажет, как лучше действовать, только бы скорее можно было отправиться

в путь. Сделают по одному, по два захода по избранному маршруту, сойдутся снова здесь, на даче, тогда примут более строгий план действий.

Трудно было теперь что-либо решить и потому, что еще неизвестно было, как отнесутся крестьяне к прокламациям, проверить их на крестьянах случая пока не представилось. Первыми крестьянами, знакомыми с текстом прокламаций, были братья Курдаевы, но это были все же не те свидетели, какие требовались. Кирилл, которому Долгушин прочитал обе прокламации, свою и сокращенную прокламацию Берви, отозвался о них с похвалой, возражений они у него не вызвали, но не вызвали и никаких вопросов, и слушал он, явно заставляя себя слушать. А Максим, к которому Долгушин зашел в тот вечер, как добрались до дачи, был пьян, добиться от него толкового ответа было невозможно. Долгушин узнал только, что тот раздал-таки прокламации, которые оставляли ему для раздачи, но где и кому раздал и что говорят о них мужики, на эти вопросы Максим отвечал невразумительно.

Пока лил дождь и все сидели на даче и рассуждали, как вести пропаганду, Аграфена (она с Татьяной и Сашком помещалась теперь, из-за дождей, в горнице, в маленькой комнате, мужчины — в большой, их разделяла тонкая дощатая перегородка) с интересом прислушивалась к разговорам, даже иногда сама вставляла слово или вопрос. Особенно привлекало ее то, что развивал своим тихим голосом вдумчивый Плотников, говорил ли он о пропаганде, о своей филологии или, это чаще, о крестьянской общине, ее перспективах, как представлял себе превращение патриархальной общины в механизированную рабочую артель, — обо всем он судил своеобразно. Тема общины была его любимым коньком, но была она любимым коньком и Долгушина, и между ними происходили баталии, следить за которы-

ми доставляло удовольствие всем, не одной Аграфене.

Говоря об общине, об условиях ее перехода в высшее качество, Плотников пытался доказать, что такой переход мог бы осуществиться и в рамках данного общественного устройства, если бы (это «если бы» неизменно вызывало саркастический смех Долгушина) нынешнее общество и государство помогли крестьянам подняться на деле, отменив выкуп и увеличив крестьянские наделы по меньшей мере вдвое за счет пустующих (только хотя бы пустующих) помещичьих и свободных государственных земель и, кроме того, предоставив крестьянским обществам долгосрочные кредиты. У него было несколько тетрадок исписано расчетами наивыгоднейших способов крестьянского кредитования, он часто цитировал из этих тетрадок, и с некоторыми расчетами соглашался Долгушин. Но в целом принять ход рассуждений Плотникова Долгушин не мог, считал праздным времяпрепровождением рассуждать о том, что заведомо неосуществимо. Выжить и перейти в высшее качество община могла только в одном случае — в случае замены всего общественно-политического устройства России, основанного на принципе соперничества, грубого личного эгоизма, устройством, основанным на принципе солидарности, «или товарищества, если по Чернышевскому». Высказывая это, Долгушин с улыбкой советовал Плотникову перечитать прокламацию «К интеллигентным людям», в которой о том же говорилось достаточно определенно и которая как будто не вызывала возражений у Плотникова. Впрочем, Плотников и сам признавал, что его проекты едва ли практически осуществимы (что не мешало ему отстаивать их в чисто теоретическом плане как не имеющую или почти не имеющую шансов на осуществление, а все же небеспочвенную альтернативу), поскольку всякому прогрессу в России помехой самодержавно-бюрократический порядок и, преж-

де чем приниматься за социальные перемены, следовало бы покончить с царем и с боярством. Но с этим уже не была согласна Аграфена, это и вызывало ее реплики и вопросы, ей хотелось побудить Плотникова не пасовать перед логикой Долгушина, искать иные пути решения крестьянского вопроса, не опускаясь до политики.

— Николай Александрович,— говорила она ему с ободряющей улыбкой, поглядывая в то же время на мужа, задирая его и взглядом, и тоном,— что же вы отступаете перед Долгушиным? Разве вам нечего возразить? Вы один тут неординарно мыслите. Я понимаю, вы человек деликатный и вам неловко тузить его при его жене, а все же не стесняйтесь. Если положите его на лопатки, я, хотя и его жена, в претензии к вам не буду. Долгушин мне муж, по истина дороже.

Долгушин с удивлением к ней приглядывался. Что же, примирилась с положением вещей, приняла пропаганду «делом»? Успокоилась за лето, согласилась с необходимостью и неизбежностью риска? Хорошо, если так... Но поговорить с ней, объяснить не решался. Да и не подворачивалось как-то удобного случая им объяснить, все время были на людях. Впрочем, и она не искала случая объяснить.

За лето она действительно успокоилась. Дни шли за днями, а ничего страшного не происходило ни с нею, ни с Александром. Когда жила одна на даче, в будничных заботах и хлопотах и вовсе забывалась, мысль о том, что под боком у нее вызревала нешуточная опасность для нее и сына, незаметно ступшеывалась, отступала. К тому же ее сильно развлекала акушерская практика, дарила необычайные ощущения независимости, собственной личной значимости, в упоительные минуты душевного подъема дела других людей, в том числе и Александра, казались не имеющими большой важности, стало быть, и не могущими быть роковыми.

А теперь и типографии не было. Правда, на руках Александра и его друзей оставались отпечатанные в этой типографии прокламации и Александр и его друзья собирались распространить их в среде народа, и это тоже было опасно, но не опаснее же типографии. Притом, как ни была Аграфена настроена против недозволенной литературы, она понимала, что у пропагандистов нет иного выхода, как распространять именно такую литературу, специальной литературы для народа, прошедшей через цензуру, не существовало, да и что за пропаганда с помощью литературы цензурованной? И опять-таки: безнаказанность миновавших двух месяцев подавала надежду, что распространение прокламаций так же останется незамеченным для властей, как осталась незамеченной работа тайной типографии... Нет, все было не так безнадежно!

Из Максима, когда он приплелся на пустошь, приходилось вытягивать слово за словом, он еще плохо соображал. Приплелся он сказать, что может найти покупателей на сено. Как установится погода, просушит подмокшие копенки и продаст. Но Долгушина сено теперь мало интересовало, он все пытался втянуть Максима в разговор о прокламациях.

— Ты говорил, что раздал книжки, которые я тебе оставлял, все, что ли, раздал? — спрашивал Долгушин. Разговаривая, они ходили по лугу, осматривали подмоченные копны, на этом осмотре настоял Максим.

— Все, Василич, все раздал.

— Где же ты их раздавал?

— Раздавал, раздавал.

— Да где раздавал?

— Где бывал, там раздавал. И в Кольчуге, и в Лайкове, в Перхушкове и где еще был.

— И что же мужики, читали?

— Читали.

- Что говорили о книжке? Понравилась, нет ли?
- Говорили, че не говорили?
- Так что же говорили?
- Говорили...
- Да сам ты читал ли прокламацию?
- Читал, читал.
- Ну и все ли понял там?
- Че не понять? Известно, кругом неправда.
- Так. Ну а выход какой? Как из этого круга неправды выйти народу, согласен ты с тем, что об том сказано в прокламации?
- Известно, как.
- Так как же?

Максим насупился, помрачнел. Потом, сморщившись, как от физической боли, замотал головой, заскрипел зубами. Забежав чуть вперед, повернулся к Долгушину, как бы встал у него на пути:

— Я тебе, Василич, сказывал раз, опять скажу... ты дай знак. И всяк за тобой пойдет. Дал знак — стало, за тобой сила. Там хоть пропади, а энта жизнь никому не годится. Нет, никому.

2

Прежде всего хотелось Долгушину побывать с прокламациями у Егорши Филиппова, того покровского крестьянина с трубным голосом, у жены которого Аграфена принимала роды три месяца назад. Запомнилась та ночная поездка в Покровское, переезды вслепую через какие-то речки по шатким мосткам, убогая обстановка крестьянской избы, освещенной двумя лучинами, смутные тени женщин в красном углу перед широкой лавкой. Запомнилась готовность Егорши пойти к нему, Долгушину, в «кумпанию» — Егорша предлагал себя, свою жизнь точно так, как предлагал Долгушину себя Мак-

сим Курдаев. И если Максим, «не крепкой» человек, не внушал полного доверия, то Егорша производил впечатление человека основательного, этой основательностью он напоминал своего оборвихинского сродника, плотника Игнатия. И как только дождь прекратился и стало проглядывать солнце, потянуло теплом с юго-запада, Долгушин отправился в Покровское.

Но по пути в Покровское ему нужно было побывать в тех селениях, которые лежали между Сареевым и Покровским, оставить там прокламации, с тем чтобы на обратном пути снова зайти туда, узнать о действии, произведенном прокламациями. Такой план приняла на первых порах четыре пропагандиста. Каждый выбрал себе по карте два-три маршрута в пределах Звенигородского и соседних с ним уездов, чтобы в маршруте было по десять — пятнадцать селений.

Долгушин знал названия всех деревень, какие ему предстояло пройти по дороге к Покровскому, названия эти ему ничего не говорили, кроме одного, деревни Грибаново. В Грибаново жил крестьянин, с которым как-то в дороге познакомился Дмоховский, заинтересовал его рассказом о книжках про крестьянское житье, которых тогда еще у Дмоховского не было и которые он обещал через некоторое время прислать крестьянину. Звали того крестьянина Федор Афанасьев, занимался он зеркальным промыслом. Долгушин взялся отнести ему прокламации, заместив собою Дмоховского, не только потому, что Грибаново входило в его маршрут. Не вредно было показать крестьянину, что он имеет дело не с одним распространителем, а с организацией. Грибаново было ближайшей деревней на пути Долгушина к Покровскому, было оно ближайшей деревней и на пути Плотникова по его маршруту в сторону села Архангельского, и Долгушин предложил Плотникову вместе зайти к Афанасьеву, опять-таки чтобы большее впечатление произвести на крестьянина.

Отправились в путь близко к вечеру, решив, что после Грибаново разойдутся по своим маршрутам и ночевать будут уже в пути, в деревнях, у крестьян, — ночевки у крестьян по-своему были привлекательны как средство ближе познакомиться с хозяевами, с местными условиями. Было не холодно, задувал южный ветерок, быстро неслись на север грязные рваные облака, в разрывы облаков посвечивало солнце, клонившееся к Москве-реке.

Босая бабенка, ладившая плетень у первой избы в Грибаново, обдав молодых людей ласковым взглядом светлых глаз, указала на избу Афанасьева, стоящую несколько в стороне от деревенской улицы, на голом месте, ни плетня, ни посадок кругом избы. Только подошли к избе, подъехал и сам хозяин верхом на выпряженной лошади. Это был некрупный мужичок неопределенного возраста с реденькой бородкой, вздернутым носом, светлыми, как у той молодки, бойкими глазами, он сполз с лошади, снял шапку перед незнакомыми людьми.

— Ты Федор Афанасьев? — спросил Долгушин.

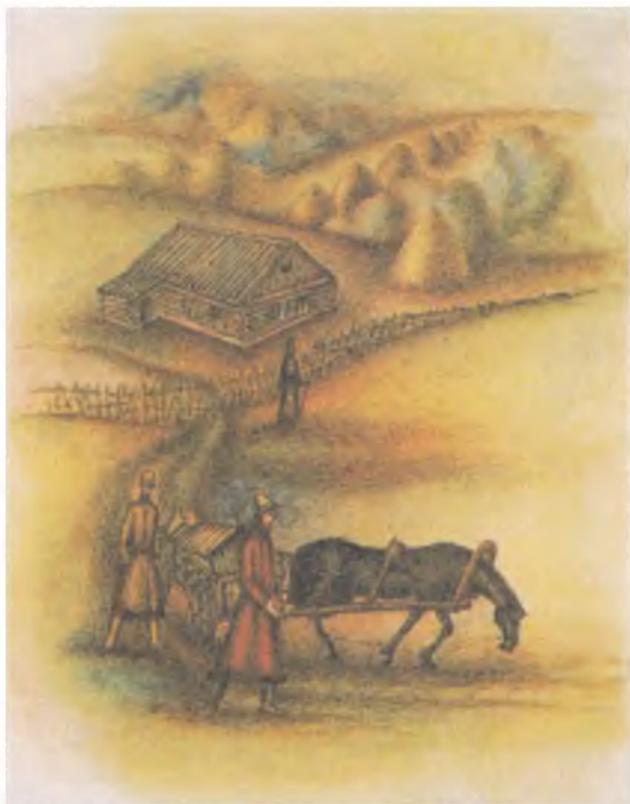
— Я, — ответил мужик, привязывая лошадь к точепому столбику перед крылечком.

— Ты делаешь зеркала, как нам известно, и мы пришли к тебе купить зеркало или заказать вот такого размера, — сказал Долгушин громко и развел руки на аршин в ширину и в высоту; разводил руки и говорил намеренно громким голосом для кучки баб и мужиков, собравшихся у ближайшей избы, с любопытством наблюдавших за незнакомцами.

— Сделаешь? Если сделаешь, то скажи цену.

— Мы еще не работаем, а когда станем работать, тогда и о цене поговорим, — сказал Афанасьев, приглядываясь к молодым людям недоверчиво.

— Но покажи, по крайней мере, свою мастерскую, где ты делаешь зеркала. Можешь показать?



— Отчего не показать? Здесь вся мастерская, — показал на избу. — Войдите.

В избе, обычной крестьянской избе с земляным полом и русской печью, лавками вдоль стен, перед окошком стоял небольшой, аршина два в длину, стол с невысокими, в вершок, бортиками по краям — верстак, тут же стояли на полу ящики со стеклом, фольгой, листовым свинцом, банка с ртутью, еще какие-то принадлежности промысла.

— Здесь, значит, ты и гоняешь ртуть? — подойдя к верстаку, полуспросил Долгушин, поворотившись к хозяину.

— А где еще? Мы работаем от хозяина, все делаем сами с жаной и ребятами.

— Где же они? — оглядевшись, не увидел Долгушин ни ребят, ни жены Афанасьева.

— Отвез к тестю в Дмитровское на молоко, им по их болести надобно.

— Отпиваются, что ли? — догадался Долгушин. — Что же, они у тебя в наводчиках?

— Не, наводчиком я, все же и оне заражаются. Вы, никак, наше дело знаете? — с тем же недоверчивым выражением смотрел Афанасьев на Долгушина.

— Знаю, — с улыбкой ответил Долгушин. — Когда-то специально изучал. (Это уже Плотникову. Ему же.) Хочешь, объясню тебе, как работают зеркала?

— Изволь, что ж.

— Вот сюда, — показал Долгушин на верстак, — кладут фольговый лист, во всю площадь стола, на середину листа наливают ртуть, и наводчик, вот он (показал на Афанасьева), рукой в перчатке размазывает ее по всему листу. Чтобы ртуть не стекала со стола, сделаны эти бортики. Тем временем его жена и дети отчищают, как они говорят, лист стекла тряпками. Так? — посмотрел Долгушин на Афанасьева, и тот кивнул: «Так». — Потом

на фольговый лист, намазанный ртутью, накладывают лист политурной бумаги и на нее уже кладут стекло. Осторожно вытягивают из-под стекла бумагу, и стекло ровненько покрывается соединением ртути с фольгой. («Так, так», — кивал Афанасьев.) Подведенное стекло сушат, то есть ставят ребром в ящик со свинцом, чтоб излишняя ртуть стекала, потом нарезают зеркальца, окантовывают, — рядский товар готов.

— Рядской — ежели стекло дурное, Грязновского, примерно, завода, с наплывом. — возразил Афанасьев. — А можем трюмо, ежели Мальцовское стекло-то...

— Промысел вредный. — продолжал Долгушин объяснять Плотникову, а смотрел на Афанасьева, вглядываясь в него. — Зеркальщик отравляется парами ртути, голова, руки трясутся. Скажи, на который день работы начинается трясучка?

— А неделю поработай — и заразишься. После четыре недели отгуливайся, отпивайся чаем ли, молоком.

— И все за какой доход? Сколько ты в год наживаешь — рубликов сто, не больше?

— Не больше. — вздохнул Афанасьев. И объявил: — А вы, господа, чать, не за зеркалами пришли?

— Верно, не за зеркалами. — согласился Долгушин, усмехнувшись. — Мы принесли книжки, какие обещал прислать тебе один из наших, которого ты недавно подвез до Москвы, он сел к тебе у Раздоров, помнишь ли?

— Какие книжки?

— Вот возьми, почитай. — Долгушин вытащил из-за пазухи брошюрки, протянул Афанасьеву.

— Зачем мне? Я неграмотный.

— Как же, нашему товарищу говорил, что грамоте знаешь?

— Мало ли говорил кому в дороге, — улыбаясь, сказал Афанасьев, он вовсе не был смущен. — Я и позабыл эн-

того вашего. Рыжеватенький, будто? А он, вишь, правда книжки прислал.

Он покрутил головой с выражением иронического удивления. Теперь он смотрел на своих гостей с любопытством, что, мол, далее будет?

— Мы тебе почитаем, пожалуй. Хочешь послушать?

— Почитать, отчего не почитать? Послушаю.

В избе было темно, Долгушин подошел ближе к окошку, но и тут было мало света, трудно читать.

— Темно у тебя, брат. Нет ли свечки?

— Свечей у меня нет.

— Ну тогда вот что. Проводи нас, а мы тебе дорогой почитаем.

Они вышли из избы, мужик завел лошадь во двор, дал ей сена, и втроем пошли из деревни, в сторону, противоположную той, откуда пришли молодые люди. Шли луговой дорожкой, вдоль реки, и Долгушин читал на ходу. Сперва прочел прокламацию Берви. Афанасьев слушал внимательно, ему нравилось, как написано, — будто церковная проповедь, притом с упором на равенство, не удивился он и не смутился, когда услышал, что нужно с оружием в руках стоять за равенство, уничтожать землевладельцев, богачей. Не прерывая чтеца, он вставлял коротенькие одобрительные замечания по ходу чтения: «Вот... Так, так... Это мы знаем...»

Кончив чтение, Долгушин заговорил было о прочитанном, но Афанасьев перебил его:

— А другая книжка?

Долгушин стал читать «Русскому народу». И эта прокламация сначала как будто захватила Афанасьева, ему были по душе частые цитации из Евангелия, подтверждавшие и развивавшие мысль первой прокламации о равенстве и свободе как условиях счастья людей, он улыбался и все повторял свои короткие: «Так, так... Это мы знаем...» Но дошли до разбора пореформенного

положения крестьян («та воля, что дана крестьянам в 1861 году, не избавила от самого главного — от бедности и темноты»), начал Долгушин читать о том, как царь и дворяне провели реформу («Забрали они себе с казной в руки лучшие земли и леса, а крестьянам отдали которую поплоше; им досталось средним числом по 673 десятины на душу, а крестьянам по 3 с половиной десятины. Ослобонили себя от всяких повинностей и навалили их на крестьян»), и тут Афанасьев умолк, перестал улыбаться, насторожился, слушал внимательно, но уже не высказывался. Молча и с неопределенным выражением прослушал он и то место, где крестьяне призывались к восстанию против несправедливых порядков («И праведно будет ваше восстание, и благо будет вам, если вы дружно подыметесь и смело будете стоять за свое правое, святое дело, никому ничего не уступая»). Но вот перешел Долгушин к последнему разделу прокламации, к программным требованиям, прочитал пункт о необходимости уничтожения оброков («Мы не хотим платить их, потому что признаем их несправедливыми»), и Афанасьев, не утерпев, подал голос.

— Как же оброки несправедливы?— сказал живо.— Бог велел платить, в Писании сказано: «воздадите кесарево кесареви, а божья богам».

— В Писании сказано и иное,— возразил Долгушин.— В Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит, что цари земные и правители не должны брать непомерных поборов с людей. Иисус сказал Петру: «итак сыны свободны».

— А все же Иисус послал Петра заплатить подать, когда они пришли в город Капернаум. Стало, и нам заповедал.

— Вовсе нет. Господь объяснил Петру, почему посылает его: «чтобы нам не соблазнить их». Это было

тогда, когда господь ходил по земле, а теперь этого не должно.

— Как не должно?— упрямо стоял на своем Афанасьев.— Я знаю, окромя Евангелия, книги «Жития святых отец», богослужебные книги...

— Откуда ты их знаешь?

— Читал.

— Да ты говорил, что не знаешь грамоте?

— Знаю,— улыбнулся Афанасьев, скорее самодовольно, чем смущенно.— Так отчего не должно платить подати?

— А тебе, что же, нравится их платить?

— Нравится не нравится, а только отчего оне несправедливы?

— Мы об этом потом поговорим. Слушай дальше.

Долгушин стал читать дальше. Остальные пункты программы не вызвали возражений Афанасьева. Даже выпады против царя принял Афанасьев как должное, а за его реакцией на эти выпады Долгушин следил особенно внимательно, нарочито в таких местах делал паузу, чтобы дать Афанасьеву время выразить свое отношение хоть репликой. Впрочем, может быть, Афанасьев был слишком поглощен своим спором о податях и, слушая, больше думал не о том, что слышал, а о предмете спора. Когда кончилось чтение и Долгушин посмотрел на него вопросительно, он заговорил, явно желая втянуть Долгушина в спор:

— Как человеку на том свете? Будет что или нет?

Долгушин, переглянувшись с Плотниковым, сказал:

— И об этом поговорим потом.

— Я слышал, что ничего не будет. Правда это?

— Правда, не будет.

— Вот и неправда. Я сам знаю кое-что. За все нужно будет отвечать...

Спорить об этом теперь не имело смысла, и Долгушин сказал:

— Теперь уж поздно, простимся. Сделаем так. Мы тебе оставим эти книжки, прочти их сам внимательно, дай другим прочесть. А я к тебе зайду через неделю, тогда и продолжим разговор. Согласен?

— Согласен, отчего не согласен?

— И будь осторожен. Кому попало книжки не показывай, только надежным мужикам, которые не проболтаются. Сам понимаешь, книжки эти тайные.

— Это мы понимаем.

Когда Долгушин с Плотниковым остались одни, Долгушин сказал убежденно:

— Все-таки, мне кажется, этот премудрый мужичонка не безнадежен. Как ты думаешь?

— Не знаю, — ответил Плотников. — Но если все грамотные мужики такие начетчики, с ними кашу не скоро сварить.

Долгушин засмеялся, сказал бодро:

— А мне он понравился! Если такой возьмет что в голову, уж не отступится.

— Дело за малым: чтоб он взял в голову нашу правду.

И опять бодро рассмеялся Долгушин:

— Возьмет! Куда денется? Деваться-то некуда.

3

Двигаясь по просторным долинам Москвы-реки и реки Истры, отклоняясь в стороны от того пути, которым три месяца назад ехали здесь с Аграфеной, и снова выходя на эту кратчайшую дорогу в Покровское, Долгушин узнавал и не узнавал местность. Тогда места эти казались лесистыми, теперь он с удивлением обнаруживал между куцыми лесными островками обширные, покуда сватало глаз, пространства голой всхолмленной земли — холмы и низины, овражки без единого деревца, и часто

встречавшиеся деревушки стояли на голой земле, будто это была степь, а не подмосковные леса. Впрочем, может быть, это впечатление безрадостной обнаженности земли возникло теперь, царапнуло душу оттого, что земля эта, три месяца назад ласкавшая глаз зеленью всходов, была теперь большею частью распахана, черна, над черной землей с беспокойными криками проносились стаи ворон.

Здесь, вдали от больших дорог, жизнь в деревнях была еще более бедной и убогой, чем в деревнях, располагавшихся вдоль Звенигородского тракта. Здесь труднее было найти мужику побочный заработок, без которого крестьянской семье, подавляющему большинству крестьянских семей, невозможно было прожить, слабее были развиты промыслы, здешние мужики уходили на заработки на дальние фабрики и оставались там большую часть года, возвращаясь к семьям лишь на время полевых работ. И тон здешней жизни, настроение крестьян было на градус пониже. Правда, это еще не был «край». От «края» эту массу населения пока удерживала община, благодаря общинному землепользованию, худо ли бедно, крестьянин мог хотя бы часть года прокормиться от земли. Но на какой же опасной, хрупкой грани удерживалась эта жизнь от «края»! Если бы, не дай бог, здесь случился теперь недород, подобный самарскому или хотя вполсилы самарского, вся эта масса населения была бы обречена на голодную смерть, не спасла бы никакая община. И оттого, может быть, находились здесь люди, и, может быть, здесь их было больше, чем в других, благополучнейших, местах, люди, которые чувствовали эту близость к «краю», ощущали дыхание пропасти и были готовы уже теперь любыми средствами защитить жизнь; вот только как это сделать — не знали. Таким был Егорша Филиппов. Такими были и те, по крайней мере, некоторые из тех мужи-

ков, с которыми Долгушин сходился во время своего путешествия настолько, чтобы оставить им прокламации.

Отыскать таких мужиков было непросто. Приходилось вести предварительные долгие разговоры с множеством встречавшихся в пути мужиков и баб, нащупывая, кто чем дышит, выпрашивая о соседях, о сельской общественной жизни. При этом самым трудным было найти подходящее объяснение своему интересу ко всем этим предметам. Впрочем, это была трудность первых дней, когда Долгушин действительно искал подходящие объяснения, выдавая себя то за коробейника, то за земского статистика. Потом понял, что лучше говорить о себе то, что есть: что, мол, землевладелец из-под Сареева, думает устроить сыромолочную ферму, изучает местные условия молочного животноводства. И все же не сразу удавалось выйти на подходящего человека. Раз в одной деревне пришлось показывать паспорт. Разговаривал с мужиками в кузнице, подошел колченогий, безбородый, с лысиной во все темя, не старый еще мужик, послушал-послушал и вдруг потребовал паспорт, оказался сотским. А поскольку грамоты сотский не знал и никто из находившихся в кузнице мужиков прочесть бумагу не мог, повели Долгушина через всю деревню к старосте, тот прочитал и отпустил его с миром. Потом сотский же и оказался тем подходящим человеком, с которым можно было заговорить о прокламациях, прочел ему Долгушин обе прокламации и оставил, по его просьбе, по несколько штук каждой, тот взялся раздать их на каких-то фабриках в Клину, куда уходил с осени на заработки. А в другой деревне два дня прожил, со всеми мужиками переговорил, так ни с кем и не заговорил о прокламациях, — не с кем было, оказалось, заговорить.

Однажды попал на сельский сход. Сильно отклонился в сторону, к Звенигороду, привлеченный в тот край слухом, будто там, называли деревни Вожжево и Супонево,

идет какая-то смута. Рассказывали, будто временнообязанные крестьяне этих селений сговорились не платить помещику оброк, требуя перемены надела, чем-то их не устраивавшего, и местное начальство назначило произвести опись и распродажу имущества неплательщиков, но крестьяне будто бы не пустили полицию в свои дома, прогнали и чуть ли не прибили привезенных полицией на торг покупателей. Побывать на месте было, конечно, интересно.

Вожжево представляло собой улицу из трех или четырех десятков изб, серпом протянувшуюся на самом юру крутого голого холма, прошиваемую всеми ветрами. Ни деревца, ни кустика, только черные соломенные крыши изб венчали вершину холма. Посреди деревни улица как бы раздавалась в стороны, образуя некоторое подобие площади, в центре ее на возвышении был колодец с высоким срубом и двускатным навесом, с широкой скамьей, на которую ставились ведра. Вокруг колодца и собрались все жители Вожжева и, должно быть, не только Вожжева, вместе с бабами и детьми здесь было человек двести, не меньше. На видном месте у сруба на возвышении, по бокам скамьи, стояла, судя по металлическим гербовым бляшкам, сельская власть — староста и сотский или десятский, перед скамьей нервно прохаживался господин важного вида в дворянской фуражке, в сюртуке и в высоких сапогах, подле него держался еще один господин, но попроще, в форменном зеленом мундире, сильно потертом и без нашивок, сюда же, к скамье, выходили те из мужиков, которые имели что сказать собранию. Важный господин, как быстро разобрался Долгушин, был управляющим барским имением, мундирный — писарем при каком-то уездном учреждении. Эти двое вели с крестьянами переговоры, судя по всему, уже не в первый раз, и, хотя обе стороны были возбуждены и неуступчивы, собрание шло

правильным порядком, до смуты дело здесь явно не дошло.

Слухи о смуте, о сопротивлении властям оказались преувеличенными, но положение в Вождеве было серьезно и грозило-таки разрешиться смутой. Здешние крестьяне и впрямь отказались выплачивать помещику оброк под предлогом, что получили по уставной грамоте неудобный надел земли, который за двенадцать лет выпали, и требовали нового надела, причем ссылались на то, что барин, мол, обещал дать новый надел либо оставить выделенный надел в дар и при этом уступить часть пожен¹, если крестьяне в течение двенадцати лет будут исправно обрабатывать повинности. Теперь этот срок наступил и крестьяне считали себя полными собственниками, не обязанными более платить какие бы то ни было подати. Управляющий отрицал сам факт обещания, будто бы данного когда-то помещиком, крестьяне же стояли на своем и требовали нового надела либо дарственной на нынешний надел вместе с частью пожен.

Среди крестьян выделялись два мужика, более других ораторствовавших, они задавали тон на сходе, к ним прислушивались, к их мнениям подлаживались прочие, но между этими двумя верховодами, заметил Долгушин, не было согласия, они вели каждый свою скрипку и были скорее соперниками, чем единомышленниками, хотя и выступали за одно дело и каждого поддерживала особая группа крестьян. Один, тощий и горбоносый, с неистовыми красными глазами навывкате, не просто выходил — выскакивал к скамье откуда-то слева, как бы из-за спины старосты, и его больше поддерживала левая половина схода, другой, небольшого росточка, курносый, с кустиками редких волосков вместо бороды и усов, с застенчивой улыбкой, совсем невидный по первому взгляду.

¹ Пожня — луг, покос.

однако с неожиданно гладкой и насмешливой речью, выходил справа, и его дружнее поддерживала правая сторона. В чем было различие между левыми и правыми, причина их разномыслия, понять было нелегко. Было ли причиной различие в имущественном положении тех и других? Это было первое, что пришло в голову Долгушину, когда он, вглядываясь в возбужденные лица участников схода, пытался разобраться в обстановке. Но дело было явно не в имущественном различии, по облику левые ничем не отличались от правых, и те и другие были бедняки одного разряда, год от года бедневшие все больше, это было написано на их нездоровых лицах, об этом кричали заплаты на их прелых рубахах и на ветхих поневах их жен. Может быть, разделяло их то, что одни были трезвенники, люди работающие, другие — лодыри и пьяницы? Или разделяла их вера? Или еще что-то столь же основательное? Нет, по разным признакам должен был Долгушин отвергнуть эти и иные, приходившие ему в голову, «основательные» причины разделения. Или, может быть, и не было никакой «основательной» причины, в основе разделения вожжевцев лежала какая-нибудь случайность, вроде, например, того, что левые были жители одного конца деревни и поддерживали красноглазого потому, что и он был с этого конца деревни, правые были жители другого конца и поддерживали курносого потому, что и он был с этого конца (именно так и было, как выяснилось позже), соперничество же между красноглазым и курносым было соперничеством двух сильных личностей, только? И если так, то что же это такое, эта поразительная сила — сила влияния личности вожака на массу? Достаточно ли осмысленно значение этого феномена, учтено социальной теорией? Возникло множество вопросов...

— Платить мы не будем, и весь сказ кричал красноглазый, выскакивая из-за старосты.— Пушай нам

дадут другой надел. Земля стала тонка, и сенокоса нет. Дадут новый надел, оброк заплатим. Теперича платить не в состоянии...

— Дадут надел — заплатим... Надела у нас нет — мы яво не знаем... Платить не в состоянии... — поддерживали красноглазого левые.

— Мы не птицы, чтоб питаться по дорогам и вить гнезда по кустам, — иронически вступал курносый. — Нам земля нужна, без нее мы голодаем. Ежли барин не признает дара, он обязан удовлетворить нас за повинности, которые мы отработывали двенадцать лет, кормясь с пустого надела, а свое мы выплатили. Пусть уступит пожни...

— Мы свое выплатили... Пусть барин уступит пожни... — поддерживали курносого правые.

— Да поймите вы, садовые головы, — увещевал управляющий, возмущаясь непонятливостью крестьян или упрямым нежеланием понять очевидное. — Не признает ваш бывший барин господин Воронцов этого обещания, спрашивал я его об том, когда был у него в Петербурге, негодует, с чего вы взяли...

— Омманул, значит, барин? — заключал с преувеличенным удивлением курносый.

— Омманул барин... — недобро гудели правые.

— Никто вас не обманывал! Может, и был меж вами какой разговор, кто вас знает, я среди вас человек новый, а только в уставную грамоту такое обязательство со стороны господина Воронцова внесено не было. Куда же вы смотрели, когда принимали уставную грамоту? Господин Соловцов из крестьянского присутствия подтвердит сказанное мною.

— Словесное обещание владельца, — бойко заговорил мундирный, — если оно было сделано, не может служить основанием к признанию прав на землю. Всякое обязательство со стороны владельца, чтоб стать закон-

ным, должно быть изложено в письменном акте, засвидетельствованном установленным порядком, а как обещание господина Воронцова не облеклось в эту форму, то вы обязаны, безусловно, вносить платежи по оброчной повинности, равно по земскому сбору и иным...

— А говорят, крестьянину не у кого нынче найти защиту. Прежде-то мы были за помещиками, нынче за писарем,— насмешливо проговорил курносый, негромко, чтобы слышали свои лишь. Правые засмеялись, их смех сбил мундирного.

— Не упрямыйтесь, мужики,— снова заговорил управляющий.— Все равно платить придется. Вы то возьмите в соображение, что вы не против барина идете — против закона. Я могу подождать, барин подождет. А закон ждать не будет. Неужто вы хотите, чтоб у вас повторилось то, что было в Ильяшине? (Он назвал деревню, где и происходила смута, которую молва причудливо связала с Вожжевым и Супоневым,— в каком-то Ильяшине, об этом Долгушин тоже узнал позднее, за отказ крестьян платить выкупные платежи полиция описала скот и погнала его к месту торгов, но крестьяне отбили и угнали в поле, делом тех бунтовщиков теперь занимался окружной суд.)

— Пойдем, ребята, по домам, нечего здесь делать,— закричал красноглазый.— Напрасно сбирались, что просили, не получили, и не нужно, обойдемся! Платить не будем...

— Платить не будем!..

Мужики стали расходиться, левые, во главе с красноглазым, пошли в одну сторону, правые, обступив курносого, пошли в другую сторону.

— Подумайте, мужики! — укоризненно качал головой им вслед управляющий.— Завтра приду снова...

Долгушин пошел с правыми, держась ближе к курносому. Толпа не сразу разошлась, отойдя от колодца, правые остановились, заговорили о том, что дальше делать. В толпе были не одни вожжевские, были и из других деревень, но они, как и положено гостям, держались на периферии толпы и в разговоры не вступали, наблюдали, слушали. Кто-то сказал, что надо прямо к царю обратиться за помощью, чтоб царь заставил помещика пойти на уступку, другой ответил, что царь не станет отбирать землю у своего брата помещика и отдавать ее крестьянам, он за помещиков стоит, этому с жаром возразили сразу несколько человек, неправда, мол, царь за народ и поможет и ежели не заставит помещика поменять надел или выдать дарственную, то как-нибудь иначе поможет, хоть даст землю в другом месте. На что другие мужики закричали, и тоже разом, что для переселения нечего и беспокоить государя, переселиться можно и без шума, можно получить разрешение на переселение в Сибирь или куда у местного начальства, да только переселение не для них, переселиться могут те, кто справен, кому и переселяться не надо, а им не подняться. «Для переселения нужен скот, нужны деньги, — горячился мужик с длинной бородой, завладевший на время общим вниманием, — а кто ничего, кроме гнилой избы, не имеет, куды! Придем на новое место с кошельми да с ребятами, ежели не переморим их дорогою, идя Христовым именем. Какие мы переселенцы!» — «А что, присоветуй, делать?» — наседали на бородатого первые. Курносый слушал внимательно, не вмешивался в спор, но, наконец, не выдержал, заговорил. Да некоторые уж и поглядывали на него вопросительно, ожидая от него завершающего слова.

— Не об том, ребята, теперь надо думать, — заговорил он вдохновенно. — Переселение не для нас и к царю идтить за ним не для чего, так. Ходоков пошлем — их

всех переловят и обратно пришлют. Нет, ребята, иное надобно.

— Что? Ты скажи. Прокопич.

— А что теперь делаем. Не платить оброка, пока да за нас не возьмется начальство и не поможет какой-нибудь милостью, хотя сложением недоимок и податей на первое время. Там, глядишь, и поправимся. Бояться нам резону нет. Взять с нас нечего. Сошлют в Сибирь? Всех не сошлют, а сошлют — ниче! Дорогой будут кормить, не дадут умереть с голоду. Ниче! Будем стоять на своем. А теперь пошли по домам, ребята.

— Будем стоять... Ниче!.. — расходились удовлетворенные мужики.

Курносый пошел к своей избе, впереди побежали две девчушки, верно дочери, и с ними пошла малорослая улыбчивая бабенка, верно жена его. Долгушин догнал мужика:

— Хочу поговорить с тобой, Прокопич. Так, кажется, себя по отчеству? А звать как?

— Захаром. А ты, мил человек, кто будешь? — с застенчивой улыбкой спросил курносый, а глаза без всякого стеснения оглядывали Долгушина с головы до пят.

— Долгушин моя фамилия, Александр Васильевич. У меня земля и дача возле Сареева, за Москвой-рекой, за Успенским...

Курносый улыбнулся, как знакомому:

— Жена кушерка?

— Точно!

— Поговорить — так поговорить. Пойдем в избу, — пригласил Прокопич.

— Нет, лучше ты меня проводи, мне дальше идти надо, по дороге поговорим.

.. Можно проводить.

Они пошли из деревни, и Долгушин заговорил:

— Видишь ли, какое дело. Есть у меня две книжки, которые, как я думаю, могут пригодиться тебе и твоим односельцам. Ты грамотный?

— Печатное разбираю.

— Вот и хорошо. Тогда я тебе оставлю эти книжки, когда сможешь, прочтешь. Сейчас тебе не до того.

— Что за книжки?

— Это, брат, такие книжки, в которых говорится про крестьянское житье-бытье, правда говорится, и сказано, что нужно делать, чтоб изменилась жизнь к лучшему, и в чем оно, это лучшее, заключается.

— Что же, примерно, нужно делать?

— Хочешь, чтоб я прочел об этом?

— Интересно послушать.

— Изволь, прочту тебе из одной книжки. Называется она «Русскому народу», — сказал Долгушин, доставая прокламацию из-за пазухи и собираясь читать на ходу.

Они уже были за деревней, перед ними лежала сбегавшая вниз, к речке, пыльная пустынная дорога; ушедшая прежде них этой дорогой группа крестьян из соседней деревни уже перешла речку и скрылась за ракетами, закрывавшими берега, Долгушин оглянулся — и сзади никого не было, и он стал читать отдельные места прокламации.

Прочитал о последствиях крестьянской реформы, пересказал суть шести пунктов программы, прочел места с призывами к восстанию и места, где говорилось о том, как готовиться к нему, спросил:

— Ну, что скажешь?

— А что скажешь? Так и есть.

— А насчет того, чтоб подняться всем дружно на помещиков и на царя? — особенно выделил голосом «на царя».

— А куда денесси? Не поправимси, одно и останется — скоротить платья барам.

— Ну я рад, что ты так понимаешь. Так я тебе оставлю эти книжки,— Долгушин передал ему прокламации, тот свернул их и сунул под рубаху, под пояс. — Простимся теперь. Не хочется мне уходить от вас, да нужно. Ну да через какое-то время снова приду. А если тебе что понадобится, приходи ко мне, буду рад. Я буду у себя на даче дня через три. Ну, будь здоров, Прокопич. Стойте на своем!

Долгушин протянул ему руку, тот, улыбаясь, подал свою, лодочкой, неумело ответил на крепкое пожатие Долгушина, и пошли каждый своей дорогой.

Когда уже перешел речку по скрипучему расшатанному мосту и повернул за раkitами в сторону Супонева, его обогнали в тарантасе управляющий и писарь. Управляющий строго посмотрел на него, Долгушин вежливо поклонился, управляющий ответил на поклон, и экипаж протарахтел мимо, поднимая клубы легкой красноватой пыли.

4

Лишь неделю спустя после того, как вышел из Сареева, добрался Долгушин до Покровского.

Егорша Филиппов обрадовался гостю, сказал, что сам собирался побывать у него, было о чем поговорить, да не отпускали полевые работы. А что случилось? — спросил Долгушин. А вот, ответил Егорша, поужинаем (пришел Долгушин в Покровское к вечеру), позову соседей, и потолкуем, и грамотку твою тогда послушаем.

Теперь Долгушин рассмотрел лучше Егоршу. Лицо у него было бабье, несмотря на его богатырский рост и рокочущий бас, с толстыми и мягкими, как бы размазанными чертами, и борода была мягко-округлая, свет-

тая, пушистая, не прибавлявшая ему мужественности. Несмотря на массивность, был Егорша подвижен, расторопен. В избе и на дворе у него был порядок, лошадь вычищена, навоз убран, соломинки не валялось на земле. Но бедность бросалась в глаза. Изба была прокопчена дочерна, низка, тесна. Егорша ходил по избе, пригнувшись, соломенная крыша наполовину разобрана, должно быть, весной скармливали животным и до сих пор не могли поправить.

Хозяйка поставила на стол чугунок с вареной картошкой и круглый хлеб, деревянную чашку с серой крупной солью, принесла пучок зеленого лука, Егорша нарезал хлеб крупными ломтями. Квас черпали ковшиком из бадейки, стоявшей в бабьем куту.

Только поели, в избу стали собираться мужики, созванные Егоршей, переступив порог, кланялись, крестились, рассаживались по лавкам. Вскоре в избу набилось десятка полтора мужиков.

— Так что же у вас тут случилось, Егорша Филиппович? — громко спросил Долгушин, обращаясь к Егорше, но обводя взглядом собравшихся мужиков, как бы приглашая всех к разговору. И мужики, сидевшие недвижно, скромно смотревшие в землю перед собой, зашевелились, задвигались, стали поднимать головы, переглядываться.

— Демьянушко, — ласково обратился Егорша к одному из них, пришедшему из первых, пожилому крестьянину с густыми и длинными, смазанными жиром и аккуратно расчесанными на прямой пробор волосами. — Расскажи-тко, брат, Василичу, в чем наша печаль, а Василий присоветует, как дальше нам, куда, значит, стучаться али как.

Демьян степенно и толково стал излагать историю гяжбы покровских мужиков со своей помещицей. гочнее, с опекуном над имением помещицы (саму помещицу покровские ни разу не видели), каким-то ее

родственником отставным генерал-майором, история была в чем-то похожа на историю вожжевских мужиков, да и начали тяжбу покровские, поощряемые примером вожжевских. Суть дела, как понял Долгушин заключалась в том, что во время составления уставных грамот двенадцать лет тому назад опекун с ведома мирового посредника незаконно включил в крестьянский надел большой клин песчаной бесплодной земли за который крестьянам пришлось выплачивать повинности, как за плодородную землю. По Положению 19 февраля 1861 года нельзя было отводить в крестьянский надел угодья, непригодные под пашню или сенокосы или иной вид возделывания, и опекун назвал эту неудобь в бумаге и на плане лесным покосом и кустарником. Составленная за спиной крестьян, уставная грамота была засвидетельствована мировым посредником как составленная по добровольному соглашению с ними. Копии с нее крестьянам не выдали, лишь поставили перед фактом, какие им отведены угодья и какие с них следуют платежи и повинности. И только теперь уже, совсем недавно, весной, открылся крестьянам этот обман. Узнали они о том, что записано в уставной грамоте, и о своих правах, — что могли не соглашаться с включением в их надел песчаного клина. Открылся обман когда опекун потребовал перевести крестьян на обязательный выкуп, рассчитывая покончить всякие отношения с ними и получить от государства выкупную ссуду, 30 тысяч рублей. А помог крестьянам разобраться в этом один студент, в то время, весной, домогавшийся места учителя фабричной школы при Реутовской мануфактуре, где работали покровские, и ныне, как слышали мужики, получивший это место. Они познакомили студента-учителя с положением в их деревне и он побудил их последовать примеру вожжевских и протестовать, а для начала обжаловать действия опекуна

написал за них две жалобы по этому делу, в волостное правление и в губернское крестьянское присутствие. («Как звать учителя?» — с живостью спросил Долгушин. «Дмитрий Иванов...» — «Гамов!» — обрадовался Долгушин. «Точно, по фамилии Гамов», — подтвердили мужики. Поразительно, думал Долгушин, волнуясь, как причудливо переплелись пути с этим лично ему неизвестным пропагандистом, распространителем его, Долгушина, прокламаций. Попросил молодого мужика, который сказал о Гамове и собирался вскоре снова уйти в Реутово, передать Гамову от него, Долгушина, поклон.)

— Что же последовало на ваши жалобы? — спросил Долгушин.

— А ничего, — ответил Демьян. — Последовало оставить без последствий.

— Но нарушение закона было установлено? Что без вашего участия была составлена уставная грамота? Что вам даже не выдали ее копии?

— Начальство решило, что копия выдана.

— Как так?

— А так. В протоколе мирового посредника написано, что пятого декабря одна тыща восемьсот шестьдесят первого года копия с оной выдана покровскому сельскому старосте.

— А староста что говорит?

— Староста эту бумагу в глаза не видал.

— Кто был старостой тогда?

— Я.

— А нынче кто?

— И нынче староста я, — ответил Демьян. — Да уж теперь, должно, последний срок староста.

— Ну а негодность этого вашего клина признали? Разве никто из чиновников не приезжал по вашей жалобе?

— Приезжал один, смотрел, качал головой: да, негодная земля. А ответ — вот он: оставить без последствий.

Демьян вытащил из-за пазухи свернутые трубкой несколько листов казенной бумаги и подал Долгушину.

— Прочти, Василич, для всех. Послушаем, — попросили мужики.

Долгушин достал из своей сумки свечку, после Грибанова пришлось купить в сельской лавчонке полдюжины свечей и зажигать по вечерам, когда читал в крестьянских домах, зажег и теперь и стал читать бумагу. Это был ответ крестьянского присутствия на жалобу покровских. В бумаге говорилось, что при рассмотрении жалобы мировой посредник не согласился с утверждением крестьян о недоброкачестве отведенного им земельного надела и о нарушении порядка составления уставной грамоты, и потому требование крестьян о выплате им убытков, понесенных ими в результате оплаты в течение двенадцати лет бесплодного клина, а также их просьба дозволить им перейти в разряд крестьян-дарственников, вернув помещику полный надел и получив даровой четвертной, ходатайствовать о чем они имели право по закону, эти требования и просьба оставлены без последствий.

— И что же вы теперь намерены делать? — спросил Долгушин, возвращая бумагу Демьяну.

— А ты что присоветуешь?

— Что я присоветую? То есть вы хотели бы знать, куда вам теперь следовало бы обратиться с жалобой, по какому адресу?

— Ну да, куда, значит, стучаться?..

— А если я вам скажу, что не верю в подобные обращения к начальству? Толку не вижу в том, чтоб беспокоить его жалобами, ходатайствами, — все равно по-вашему никто и никогда не решит. От вас всегда отмахнутся, как теперь отмахнулись.

— Куды ж обращаться?

— А почему вы не хотите следовать примеру вожжевских до конца? Взяли бы да и перестали платить повинности, как они. Небось начальство скорее обратит внимание на ваши заботы, глядишь, и разберет.

Мужики задвигались, завздохали, стали переглядываться. Потом один из них, сидевший в темном углу, невидимый, рассудительно заметил:

— То ли разберет, то ли нет. И еще так разберет, что без портков останисси. В Ильяшине, говорят, было перед пасхой...

— Вожжевские же не боятся этого?

— Че им бояться? — выскочил один из реутовских, мужик в летах, с худым голодным лицом. — Че с их взять? Голяк на голяке и голяком погоняет...

— Ну это ты не говори, — осадил его, придавил своим грохочущим голосом доселе молчавший Егорша, — у всякого есть что терять, а вот что жаловаться проку никакого — оно так, Василич, и до нас никому дела нет.

— Так, так! Никому дела нет, — дружно согласились мужики.

Долгушин почувствовал, что теперь самое время прочесть прокламацию, и полез за ней в свою сумку. Решил, что прочтет только «Русскому народу», эта прокламация больше подходила к настроению мужиков.

— Вместо ответа я вам прочту книжку, которая сейчас ходит в народе, а вы слушайте и соображайте, с чем согласны, а с чем нет, годится ли вам то, что в ней предлагается.

И он стал читать, без пропусков, в первый раз читая прокламацию перед таким большим собранием крестьян...

Когда кончилось чтение, мужики не сразу заговорили, кряхтели, переглядывались, не зная, как отнестись к прочитанному. Слушали чтение как будто одобрительно, а вот прямо сказать, что, мол, согласны или не

согласны, не решались. Пожалуй, только Егорша и Демьян могли без колебаний сказать, что согласны, но и они не решались заговорить.

Первым прервал молчание опять тот, который сидел в темном углу, кашлянув, осторожно осведомился:

— Значит, ты советуешь нам бунтовать?

— А у вас есть выбор?

— Как сказать? Примерно, можно в Петербург послать кого. Разве порядок — обманывать мир? И обратно: мы не согласны на выкуп, из каких доходов сорок девять лет платить за воображаемый надел? — слово «воображаемый» он произнес старательно и с удовольствием, должно быть, взял его из жалобы, писавшейся Гамовым.

— Да опять же, кто вас там будет слушать?

— Оно, конечно, а все ж законное требование — не бунт, начальство может прислушаться.

— Вот чтобы прислушалось — и надо для начала перестать платить повинности. И при этом лучше бы вам требовать замены неудобного клина помимо выплаты убытков за него, и уж никак не переходить на четвертной надел. Вы, должно быть, не знаете, что это такое. Это — петля. Если с полного надела невозможно прокормиться, с четвертного пойдете по миру. То, что он даровой, вас не спасет. Придется за Христа ради батрачить на того же опекуна...

— Ниче! Все уйдем в город, на фабрики.

— Куда уйдете? Фабрики переполнены. Что, у вас в Реутове нужны рабочие? — обратился Долгушин к реутовским.

— Не нужны...

— А с бунта — прокормисси? Примерно, все подымутся разом. Царь войско пошлет — против войска пойдешь ли? Что дальше? — спрашивал все тот же невидимый.

— А дальше...— начал было объяснять Долгушин, обрадованный вопросом, конкретным вопросом, на который и должно было ответить конкретно, но тут и остановил себя, подумав, что, пожалуй, не следовало теперь же, с ходу пускаться в объяснения, которые едва ли что-либо теперь объяснят покровским, пусть прежде освоятся с тем, что услышали. И еще подумал, что не следовало теперь слишком далеко заходить в пропаганде, не выяснив прежде, как обстоят дела у других пропагандистов. Словом, пора была возвращаться в Сареево.— Нет, не будем теперь говорить об этом, нужен особый разговор. Мне завтра надо вернуться домой, а через несколько дней я снова буду в Покровском и тогда, если у вас не пропадет охота, снова увидимся и продолжим беседу. Кстати, прочту вам тогда еще одну книжку. Впрочем, могу и теперь оставить ее вам, сами прочтете. Кто возьмется? — спрашивал Долгушин, смотря на Демьяна, уверенный, что этот мужик грамоте знает.

— Демьянушко, возьми... Демьян, верно, прочтет...— заговорили мужики.

Долгушин передал Демьяну обе прокламации. Мужики стали подниматься, с поклонами подвигались к двери.

Переночевав у Егорши в избе, спал на широкой лавке, укрывался своей поддевкой. Утром простился с хозяевами и пошел в сторону Сареева.

5

На даче застал Папина с Плотниковым и, к своему удивлению, Анания Васильева. Аграфены с Татьяной не было, с утра уехали куда-то, сказал Плотников, по акушерскому делу и забрали с собой Сашка, повез их Максим; Дмоховский был вчера и снова ушел по деревням.

Плотников, встретивший Долгушина во дворе, сказал еще, пока шли к избе, что сам он вернулся из похода дня два назад, хотел снова уйти, но Дмоховский и Аграфена попросили остаться на даче, дожидаться Долгушина. Ананий пришел вчера, а Папин — только что. «Еще чешется», — с улыбкой добавил Плотников.

Вошли в избу. Папин стоял, согнувшись, в горнице перед столом с разостланным на нем листом газетной бумаги, быстро вычесывал частым гребешком из густых и длинных волос насекомых, которых набрался во время ночевки по крестьянским избам. Смеясь, весело рассказывал Ананию о своих похождениях.

Увидев Долгушина, Ананий пошел к нему навстречу с виноватой улыбкой:

— Вернулся, Александр Васильевич. Не прогоните?

— Потом поговорим, — ответил Долгушин и обратился к Папину с Плотниковым. — Как прогулялись?

— Прекрасно! — блестя глазами и белозубой улыбкой из-под вороха волос, ответил Папин.

— Прекрасно! — повторил улыбаясь Плотников. — А ты?

— Тоже доволен, — ответил Долгушин.

Тут же и заговорили о впечатлениях, присутствием Анания не стеснялись, однако, рассказывая о том, как распространяли прокламации, в какие переделки попадали, как воспринимались прокламации крестьянами, все трое, не сговариваясь, старались не обмолвиться о том, откуда взялись прокламации, где напечатаны. Впрочем, Ананий хорошо слушал, с жадным интересом, видно было, жалел, что не участвовал сам в этом увлекательном деле.

В общем, впечатления были сходны. Крестьяне не были равнодушны к тому, о чем говорилось в прокламациях, не были равнодушны к своей судьбе, это было главное, на чем сошлись все трое; в недрах крестьян-

ской массы напряженно работала критическая мысль, крестьяне трезво оценивали свое положение и незавидные перспективы, ожидавшие их в будущем. На что они надеялись? И надеялись ли на что-нибудь? В иных местностях России, слышно было, крестьяне верили еще в «слушный час», царскую «золотую грамоту», какую-то особую, отличную от правительственной, крестьянскую и антипомещичью линию царя, будто бы готовившегося произвести всеобщий передел земли. А здесь крестьяне ни во что такое давно не верили, не верили в самую возможность лучшего будущего. Опасное состояние духа! Но до «края» дело пока не дошло. Определяющей крестьянского отношения к жизни было выжидание. Выжидание без иллюзий, без надежд, но и без мрака отращения от жизни. Подходящие условия для пропаганды!

И Папину и Плотникову случилось проходить селения, жители которых, подобно тому, как это было в Вожежеве, были близки к отчаянию, готовы взорваться, и оба испытали сильное искушение вмешаться в дело, подтолкнуть крестьян, и оба отказались от соблазна, решив (как и Долгушин), что прежде следовало бы сообща подумать, как действовать в таких случаях.

— Так как же действовать? — спрашивал Плотников. — Поощрять крестьян выступать решительнее, вести дело к стычке с полицией и войском, или, напротив, уводить от этого, держаться линии прокламаций?

— Мы, собственно, на это ответили тем, что теперь сошлись здесь вместе, — сказал Долгушин.

— Потому что связаны прокламациями?

— Да. Все-таки надо сперва покончить с этим делом. Раздадим все, тогда будем думать, как действовать.

— А я бы не стал ждать, — горячо вмешался в разговор Ананий и поднял над столом сжатую в кулак руку. — Попади я в такую деревню, где мужики уж

закипели, не удержался бы, ей-богу, позвал бы за собой хоть помещика жечь, хоть посредника бить. Гро-
мыхнуть, как Антон Петров в Бездне, а там хоть на
плаху.

— Позвал бы, если бы тебя стали слушать.— заме-
тил Папин.

— Будут слушать! Я умею с народом разговари-
вать.— Ананий повернулся к Долгушину.— Александр
Васильевич, не прогоняйте меня. Дозвольте с вами рас-
пространять книжки. Я разве от этого дела ушел?
Я от скуки ушел. Потому дела не было.

— Где же ты шатался это время?

— Был в деревне, пока были крестьянские работы.
Потом пошел в Москву места искать. Денег с собой
было тридцать копеек, где только не ночевал, раз в но-
мерах возле железной дороги, раз у девок на Щипке...

— Без девок никак не можешь? — сурово заметил
Долгушин.

— Это было раз и больше не было. И не будет,
Александр Васильевич, ей-богу, правду говорю.— испу-
ганно заговорил Ананий, сильно наклоняясь в сторону
Долгушина; Папин и Плотников с недоумением посмот-
рели на Долгушина, но тот не стал объяснять.— Ночевал
по почлежным домам, посмотрелся всякого. А места
так и не нашел ни на фабриках и нигде, с себя все
спустил и хотел уж в деревню вернуться, да подумал
об вас, авось простите, оставите у себя. Как, значит,
Александр Васильевич? Хотите, я на коленях буду про-
сить?

Он сполз со стула и в самом деле встал на колени,
переводя плутоватые темные омутные глаза с Долгу-
шина на его друзей и обратно на Долгушина. Только
теперь обратил внимание Долгушин на то, что пооб-
гребался-таки белокурый купидон за эти месяцы, не
было уж на нем красной косоворотки, поддевка была

с чужого плеча, рваная, только сапожки щегольские будто были прежние, с медными подковками.

— Ну что, простим блудного сына? — спросил Долгушин, смотря на Анания, и решил. — Ладно, черт с тобой. Живи.

— А с книжками пустите? — садясь на стул, осведомился Ананий.

— Сначала сходишь с кем-нибудь, посмотришь, как это делается. (Плотникову.) Может, сходишь завтра с ним в Грибаново? Как там Афанасьев...

— Хорошо, — согласился Плотников.

Вечером приехали Аграфена и Татьяна (Сашка оставили ночевать у Авдоихи) и Дмоховский, которого женщины нагнали у самого Сареева, с собою привезли приятные вести. Особенно порадовал Дмоховский, сообщив, что вчера среди дня, когда он один оставался на даче (Плотников и женщины ходили в лес за грибами), приезжал из Вожжева занятый крестьянин, спрашивал Долгушина (Прокопич, догадался Долгушин), много любопытного порассказал о том, что у них там, в Вожжеве, делается. сказал, что скоро еще приедет, нужно ему с самим Долгушиным переговорить. Хороший знак, бодро подумал Долгушин.

Максим, высадивший женщин и Дмоховского и тотчас укотивший в Сареево ставить лошадь, вскоре вернулся пеший, принес Долгушину деньги, вырученные им за сено, продал его (только теперь, разговаривая с Максимом, обратил внимание Долгушин на то, что не было больше на лугу стожков), и деньги за проданный им же овес, около девяноста рублей. Обрадованный Долгушин выделил ему из этих денег два червонца, но Максим взял лишь полагавшуюся ему по уговору пятерку — плату за август, объяснив, что считает крестьянскую работу на пустоши покрытой этой платой. Ему польстило удивление Долгушина, при этом был он трезв

как стеклышко, опрятен, в чистой рубахе, и Долгушин с чувством пожал ему руку.

Вечером, когда мужчины стелили себе в горнице на полу, снова заговорили о «хождении». Долгушин, вспомнив, как у него однажды проверяли паспорт, спросил друзей, были ли у кого-нибудь из них недоразумения с крестьянами, не испытал ли кто по отношению к себе враждебного или подозрительного отношения крестьян?

— Нет,— ответил Папин.

— Как будто нет,— ответил Плотников.

— Нет,— заявил было Дмоховский, но, спохватившись, поправился.— Впрочем, в одной деревне меня чуть не арестовали, как я полагаю, по доносу. И знаете, кто донес? Сейчас я вас удивлю,— заволновался он, вставая с колен (ползал по полу, расстилая одеяла, поддевки).— Забыл об этом сказать. Вчера еще хотел рассказать... Любецкий!

— Любецкий?— с изумлением переспросил Долгушин.

— Я так полагаю, другого объяснения не нахожу. Как было дело? Я возвращался домой, уже без прокламаций, все раздал, шел по тракту, меня обогнало несколько экипажей, в одном, смотрю,— Любецкий. Я ему махнул рукой, чтоб остановился, он сделал вид, что не узнал меня, проехал. Прохожу одну деревню — ничего. А в другой встречают у первой же избы староста с десятскими: «Какие книжки несешь? Показывай! Кто таков?» Я говорю, мол, инженер, выбираю место для фабрики, вот документы. «А в мешке что?» Показываю — нет никаких книжек. Ладно, говорят, ступай, а то нам приказано задержать, который с книжками. Кто приказал? Не твое, говорят, дело, ступай.

— Почему ты думаешь, что это Любецкий? Может, полиция и без того уж дозналась о прокламациях?— Долгушин был встревожен.

— Едва ли. Я в этой деревне уже был, зашел к мужику, у которого оставлял прокламацию, он и объяснил что проезжали тут передо мной господа, разговаривали со старостой, он и вышел в караул.

— А что, Саша, верно ли, будто в деле сибиряков Любецкий сыграл темную роль?— спросил, обращаясь к Долгушину, Папин.— Почему его освободили от суда? Говорили еще о каких-то заявлениях его жены, когда она встретила его после крепости. Ты что-нибудь знаешь об этом?

— Никто ничего не знает.— глухо ответил Долгушин.— Спроси у Аграфены, она с Любецкой была в коротких отношениях.

— Нет, я ничего не знаю.— ответила Аграфена, она носила в горницу подушки и покрывала и слышала весь разговор.

6

С утра снова все разошлись по деревням.

Долгушин на лошади поехал в Оборвиху, к плотнику Игнатию, чтоб вместе с ним отправиться к Чернаю, не терпелось повидаться с Чернаем, а пуще хотелось свести вместе Черная с Игнатием, не мог забыть злых слов Игнатия о голи, неужто, думал, если свести мужиков с глазу на глаз, не удастся их примирить, нацелить на одно? Враг ведь у них один — бедность.

Выехал, когда солнце было уже высоко. Мог позволить себе не слишком спешить, знал, что застанет Игнатия в Оборвихе, тот достраивал свой двор, а вот где искать Черная, было неизвестно, потому и решил ехать на лошади, что неизвестно было, не придется ли с Игнатием в поисках Черная поколесить по деревням. Оно, конечно, можно было обойтись встречей с Игнатием, тоже интересно было узнать, как отнесется к проклама

дним этот умный и красивый крестьянин, но уж больно забочивала эта его жгучая враждебность к Чернаю.

Когда запрягал лошадь, услышал звонкий голосок Сашкá за Авдоихиным двором, там в глубоком и круглом овраге, густо заросшем, баловались ребята, услышал сына — и зашлось сердце, бросил лошадь, побежал за дом, увидел Сашкá на дереве у самого края оврага, в развилке стволов вместе с максимовыми ребятами, быстро подошел к дереву, смеясь, стащил задичившегося мальчонку с дерева, прижал к себе, распластав на груди, постоял так несколько мгновений, пьянея от родного запаха, напоминающего об Аграфене, слушая частый тревожный стук детского сердца, снова потом посадил мальчика на дерево, — успокоенный, уехал.

Застал Игнатия, как и рассчитывал, у него на заднем дворе, поздоровался, подождал, когда он выйдет к нему:

— Вот, Игнатий, привез ту книжку, о которой говорил, хочу тебе ее прочесть. Но ты обещал вместе со мной съездить к Чернаю. Поедем, там у него и прочту вам обоим.

— А че ехать? Ехать не надо. Чернай нынеча у Щавелева на хлебах. В работниках, значит.

— Вот как, в Оборвихе? Не пошлешь ли за ним своего молодца? — попросил Долгушин, заметив в глубине двора рослого красивого парня, похожего на Игнатия, сына его.

— Можно послать, — согласился Игнатий.

Он подозвал сына и велел ему сходить к Щавелеву и попросить его, чтобы он отпустил Черная на час. При этом Игнатий как бы между прочим прибавил, что если Щавелев спросит, для чего понадобился Чернай, то сказать, что имеет к нему дело он, Игнатий, а про приезжего человека не говорить. Это понравилось Долгушину.

В ожидании Черная Долгушин осмотрел хозяйство Игнатия. Хозяйство было справное, хотя и жаловался хозяин весной, что едва сводит концы с концами, все же, должно быть, сводить их ему было легче, чем большей части тех крестьян, с которыми познакомился Долгушин в последнее время. Были у него две лошади, корова с телятком, штук пять овец, двор был просторный, основательный, за двором раскатаны по земле бревна, собирался Игнатий ставить амбар или сарай. Изба у него, однако, была тесна и кособока, до избы, видно, руки не доходили, одно лишь, что пол не земляной, выстлан широкой доской, выскобленной чисто-плотной хозяйкой. Существенным, конечно, было то, что на руках трех работников этой семьи находились два немощных старика, больная взрослая дочь Игнатия и двое малых ребят. Приходилось, конечно, Игнатию поворачиваться.

Сын Игнатия вернулся с Чернаем. Долгушин представлял себе Черная немолодым, истасканным мужичонкой, в нечистых лохмотьях, а пришел средних лет мужик скромного вида, в ситцевой, не слинявшей еще рубашке и, к удивлению Долгушина, не в лаптях, а в сапогах, хотя даже его хозяин Щавелев не позволял себе такую роскошь. Впечатление скромника, которое производил Черная, вовсе не соответствовало, как скоро понял Долгушин, характеру этого мужика, возникало оно оттого, что ходил Черная, опустив глаза в землю, как будто что-то сосредоточенно искал у себя под ногами или что-то озабоченно обдумывал, что-то, по-видимости, ничтожное, — о ничтожестве как будто свидетельствовала его невыразительная физиономия с глуповато вытянутым носом и губами, нескладная щуплая фигура, одно плечо выше другого, отчего ходил он не прямо, а поворобынному, бочком, скачком. Но когда он поднимал глаза, становилось ясно, что этому скромнику палец



в рот не кладут. Глаза у него были задумчивые и озабоченные и в то же время страшно напряженные, как бы остановившиеся в своей напряженной задумчивости, как бы окаменевшие в ней, и вот в этом-то выражении как бы окаменевшей задумчивости и было что-то, что заставляло думать, что не так-то все просто с этим мужичком. Скоро стало ясно Долгушину, что перед ним одна из тех своеобразных натур, которые отнюдь не редки в любом классе общества, и если определить ее одной фразой, то можно сказать так: человек, от которого всего можно ожидать.

Не прав был Игнатий, называя Черная голяком по натуре, значит (по Игнатию) лентяем, не понял он в Черная главного, и вся его ярость против Черная вызывалась, вероятно, именно тем, что, не понимая его, не мог себе объяснить его бедности, — так теперь все вдруг представилось Долгушину. Не лентяем был Черная, а, напротив, энергичнейшей натурой. Скорее всего он был ловок в любом деле, за которое брался, а брался он конечно же за всякое дело всегда горячо и жадно, и работал усердно, но, должно быть, как-то так всегда получалось, что в самый напряженный момент работы он вдруг все бросал и с тем же жаром и пылом начинал все переделывать по-иному или принимался за новую работу, не заботясь о том, не обернется ли невосполнимым убытком не доведенная до конца работа, — Долгушину был знаком этот тип. Во время пахоты ему, например, могло прийти в голову, что при последнем переделе полей мирской счетчик неправильно отмерил полосы, при вымеривании он сбивался со счета, а его никто не поправлял, и вот, захваченный этой мыслью, Черная — все это живо представил себе Долгушин, будто и вправду был всему живой свидетель, — Черная выворачивал соху из борозды, распрягал лошадь, скакал в деревню за саженью и принимался обходить полосу

за полосой, ярус за ярусом, все мирские поля, с раннего утра и до темна обходил их день, два, сбивался со счета и кидался вымеривать все сначала, пока не обнаруживал ошибку, потом обходил избу за избой и шумел, доказывая, что передел произведен неправильно, и требовал собрать сельский сход, мог иной раз и добиться схода, но чаще, пошумев неделю-другую и не добившись ничего (или почти уж добившись), вдруг оставлял это дело, увлеченный какой-нибудь новой, не менее захватывающей мыслью; а его надел, обработанный наполовину, тем временем зарастал сорной травой. Это был неудачник, да, но неудачи его проистекали не от обстоятельств, а от него самого, от его, надо было полагать, чрезвычайной отзывчивости на всякую неясность, противоречивость и запутанность жизненных положений или всякую несправедливость, от стремления во что бы то ни стало рассудить все по правде и истине. Из таких выходили правдоискатели и религиозные фанатики, мученики навязчивых идей. От чистого мономана Черная отличало только то, что овладевавшие его душой идеи сменялись часто и беспорядочно, вот в этом сказывались обстоятельства, на новые идеи Черная наталкивала легкая его жизнь... Едва ли был прав Игнатий и в том, что относил Черная к кабацким пропойцам, вряд ли был Черная пропойцей, если и пил, то скорее всего потому, что искал общества, дружеского круга, на суд которого мог бы вынести мысли, которые вызревали в его голове, нуждался в собеседниках, а где же и найти их, как не в кабаке? Ну а в кабаке, известно, пьют.

Черная не удивился, узнав, что не Игнатий имел к нему дело, а гость Игнатия, не удивился и тому, что этот гость предложил ему послушать какую-то брошюрку. «Послушаем», — с готовностью согласился он. Похоже, потолкавшись по свету, о многом поразмысливши, он привык уж ничему не удивляться. Впрочем, кое-

что он мог слышать о Долгушине и о какой-то книжке или книжках, которые тот читал крестьянам в каких-то деревнях. Вот, стало быть, дошел и до Оборвихи.

Читать решили тут же, у Игнатия, на воздухе, за двором, расселись по раскатанным бревнам, сын Игнатия тоже остался послушать. Во время чтения подходила иногда, любопытствуя, жена Игнатия, не увядшая еще статная баба, но не могла долго оставаться праздною, постояв за спиной Игнатия минуту-другую, убежала по своим нескончаемым бабьим делам. Прибегали и убегали мальцы, мальчик и девочка, поглазеть на чужого человека, потереться о ласковые руки отца. Опоясывавший усадьбу Игнатия старый полусгнивший плетень в некоторых местах завалился до земли, чтоб поправить его, тоже, видно, не доходили руки хозяина. За плетнем с этой стороны был мирской выгон, круто опускавшийся к Москве-реке с ее густой синевой, холодно посверкивавшей под ясным солнцем.

Решил Долгушин прочесть только свою прокламацию, убедившись на опыте, что эта прокламация, более конкретная по содержанию, вызвала больше интереса у крестьян. Читал, как уже случалось читать, не все подряд, опускал места, где были риторика или ссылки на Евангелие, излишние для этих слушателей. Упор делал на идее равенства как предварительном условии возможного будущего улучшения жизни и на важнейших пунктах программы — на требованиях народоправия, всеобщего передела земли, отмены оброков.

Черной сразу и горячо принял все пункты программы. Равенство? Да, конечно, без поравнения всех людей с самого дня их рождения в правах на обучение и достаток невозможно изменить жизнь к лучшему, никогда не выбиться народу из тьмы неведения и безысходной бедности. Власть выборная, народная, не дворянская? Чего ж лучше! Ежели народ сам управляется спокон

веку со всеми мирскими делами, которыми ему позволяли управлять поныне, почто не управится он, через своих выборных, с делами государства, буде это ему дозволено? Ясное дело, управится не хуже дворян и царя. Были же в старину примеры, когда оспаривали власть князей и царей мужики Минин, Разин, Пугач. Нету у народа иного пути к правде и справедливости, как только восстать? Известное дело, никто мужику задарма ничего не даст, и не оправится мужик, ежели он сам не возьмет свое, принадлежащее ему по праву и справедливости...

В общем, не возражал против всего этого и Игнатий и терпеливо слушал Черная, горячо изложившего, без всякого понуждения со стороны Долгушина, свое понимание дела, но у Игнатия, как и следовало ожидать, были сомнения и вопросы, и, помолчав, покивав, он стал ставить свои вопросы. Больше всего хотелось Долгушину, чтобы Игнатий снова поставил тот свой вопрос, который ставил весной и на который тогда не успел ответить Долгушин, вопрос о том, как же все-таки будет выходить народ из нужды, без богатых-то, довольно ли для этого одного поравнения прав и состояний, — что представлял бы собою порядок, при котором народ работал бы на себя, а не на богатых? И очень обрадовался, когда Игнатий об этом и заговорил. Даже засмеялся от невольного возбуждения, тут же охватившего его, очень уж хотелось ответить Игнатию исчерпывающе, так, чтобы и Игнатий, и его сын, и Черная — все поняли совершенно так, как понимал он сам, Долгушин.

— Так-то оно, Василич, примерно, так, нечего сказать, и куды мужик не кинься, всюду клин, — заговорил Игнатий раздумчиво, почесывая бороду, глядя то на Долгушина, то в землю перед собой, старательно уводя взгляд подале от Черная. — И как насчет равенства, примерно, оно так, хотя как равняться, примерно, всенародно, коль в одном-то обчестве нет равных, у од-

ного две лошади, а у иного ни лошади, ни курицы на дворе, а всенародно как, нешто по земле? По земле, конечно, можно, ежели и дворянам и прочим всем нуждающим положена будет та же мера земли на душу, что и крестьянам, то, конечно, так. Ну то пущай, то, должно, миром можно решить. А вот скажи-тко ты, Василич, как, примерно, равенством подымисси? Будут все работать на себя, не на богатых, славно, спору нет, мужик вздохнет свободно, лишняя копейка в дому останется, глядишь, голодать не будет. Голодать не будет, а из бедности выскочит ли? Как выскочить из бедности без богатых-то? Земли не много десятин надо, чтобы с нее мужику с семейством прокормиться, а боле того что не наработать, ежли своим трудом без помочи, боле того не осилить, земли-то, никак нет. Обратнo, земля отошала, как ее подымешь без капитала? Вот ты говорил, машины какие ни то будут создавать богатства, когда, значит, будет обчее равенство. Как же то может-то быть? Коли не сказка то?

Вот тот вопрос, которого ждал Долгушин, ответить на который теперь готов был подробнейшим образом, давно готовился к этому, ожидая встречи с этим думающим крестьянином. Хотелось сказать ему примерно то же, что однажды развивал перед сареевскими мужиками, на дворе Ефима Антонова, когда растолковывал им, как могли бы крестьяне подняться, — и о роли народного государства в этом деле, его помочи крестьянам, и о самом государстве, каким должно быть оно по мысли социалистов, когда не только земля, но и заводы, и фабрики, и всякая крупная собственность, и все капиталы будут принадлежать работникам, и о совместном артельном труде, о творческом начале жизни, которому необходимо дать простор. Очень важным казалось именно Игнатию изложить все это. С ним можно было и более откровенно говорить, чем с сареевскими.

Важным казалось знать, как примет все, поймет ли, проникнется ли новой правдой этот рассудительный крестьянин. Казалось, что, не дойдя до самых сокровенных мыслей, желаний, крайних пределов понимания крестьянами своей собственной пользы, невозможно идти далее в пропаганде.

И начал уж было отвечать, и, чувствовал, недурно начал, зацепил внимание Игнатия, заговорив о том, каким должно быть государство, чтоб была польза мужику... и вдруг все испортил Чернай.

Все испортил Чернай. Он начал кипеть, заметил Долгушин, еще когда говорил Игнатий, в середине его речи, зацепившись за сомнение, выраженное Игнатием в отношении возможностей равенства, и уж больше не слушал ни Игнатия, ни Долгушина, весь погруженный в свое раздражение; упустив момент, когда умолк Игнатий и начал говорить Долгушин, когда мог бы врезаться в разговор, он ждал паузы в разговоре, чтобы выступить со своим. И дождался.

— Кой ляд, Василич, ты толкуешь кому, нешто этот тебя услышит?— начал он яростно, выпрямившись в струнку, воинственно выпятив вперед нижнюю губу, смотря на Игнатия в упор, презрительно и высокомерно.— Этот и иные все оборвихинские куплены каждый по рупь с пятаком Щавелевым и его одного слышут. Ты, Василич, зря время теряешь здесь, нашел, где мужицкую нужжу высматривать. Ты поди к нам, в Ильинское, поди-ко, увидишь нужжу...

— Приду,— поспешно согласился Долгушин, обеспокоенный тем, как бы этот пассаж Черная не повредил всей беседе.— Да ведь ты теперь здесь живешь? У Щавелева?

— Завтра уберусь отсель. Вишь, подрядился у оканного за три рубли санки поправить, к зиме готовится с лета. А я по санному али тележному делу пер-

вый человек здесь. Хотя он тебе скажет,— ткнул он пальцем в сторону Игнатия. Обращаясь к нему же, ядовито и с возрастающим раздражением продолжал.— Может, и тебе нужна поправить сани али телегу? Ты скажи! Поправлю. По свойству али за шиш с маслом, энто тебе боле по вкусу? Вот я тебе поправлю! (Показал ему кукиш и даже плюнул в его сторону.) Тьфу!

Игнатий смотрел теперь на Черная тоже в упор и тоже, чувствовалось, наливался яростью, но еще пытался сдерживаться. Ответил презрительно:

— Обойдемся без голоштаных,— и не удержался, прибавил не менее ядовито.— Вишь, как тебя распирает. Совесть, должно, заговорила, не всю, знать, оставил в кабаке...

— У тебе ее много осталось. Снега зимой не проси...

— А тебе только просить. Ты заработай! Похвастал трешницей. Ты ее сперва получи...

— Ты мои деньги не считай, ты свои сочти, какие иудины от Щавелева, какие скрадены...

— У мене! Скрадены! Ты в уме?

— У тебе...

Они оба уже стояли на ногах, взвинченные, злые, поносили друг друга невозможными словами, возводили один на другого неправдоподобные обвинения, не стесняясь присутствием постороннего человека. Теперь обнаружилось, что причиной их вражды были и какие-то старые личные счеты, и какие-то не вполне улавливаемые Долгушиным двусмысленные отношения обоих крестьян к Щавелеву. Ясно было, однако, что беседа безнадежно испорчена, мысль свести вместе этих крестьян оказалась неудачной, и нужно было положить конец этой встрече.

Но пока Долгушин соображал, как удобнее это сделать, чтобы не обидеть ни того ни другого, произошло неожиданное.

На каких-то едких словах Черная Игнатий вдруг схватил его под мышки, оторвал от земли и понес через весь двор к воротам. Чернай задышался, вертел головой, сучил ногами, но Игнатий его не отпускал, донес до ворот, вынес на улицу, поставил там на землю и, сильно толкая в спину, погнал по улице. Доведя до края своего плетня, двинул так, что тот не удержался на ногах и растянулся во весь рост на колдобистой пыльной дороге. Игнатий вернулся к себе на двор.

Продолжать с ним разговор было, конечно, бессмысленно, Долгушин сказал, что придется им еще раз повидаться, чтоб окончить разговор, Игнатий ничего на это не ответил, они попрощались, и Долгушин уехал.

7

Постепенно разошлись-разлетелись по деревням, по всему Звенигородскому уезду и примыкавшим к нему другим уездам прокламации, которые были у пропагандистов на руках в Сарееве, и остались только те, которые хранились в Москве у Кирилла Курдаева. Решили ехать в Москву, поделить оставшиеся брошюры и разойтись по новым маршрутам, подальше на север и на восток от этих мест. Опасно уж было оставаться здесь. Если местная власть еще не всполошилась, не провела о том, какие листки ходили по деревням, передавались крестьянами из рук в руки, по вечерам читались вслух деревенскими грамотеями при свете копеечных масляных коптилок, то потому лишь, что раздавали распространители свои листки не кому попало, раздавали с выбором. Но теперь всего можно было ожидать.

Перед отъездом в Москву побывал Долгушин у Черная в Ильинском, но эта встреча с ним вышла вполне никчемной. Был Чернай уже невменяем, в крайней

степени раздражения, не слышал, что ему говорили, был сосредоточен на одном предмете — на Щавелеве. Оказалось, как понял Долгушин из яростных монологов Черная, при расчете с Щавелевым за ремонт саней получил он от Щавелева всего рубль, а два рубля тот удержал с него в счет долга, который числил за ним, Черная же этого долга за собой не признавал и потому возмущению его не было предела. И что всего большее ужалило его, уязвило в проделке Щавелева, это то, что, когда рядились, Щавелев ничего ему не сказал о долге, не предупредил, и виду не подал, что помнит за ним должок, стало быть, с самого начала коварно замышлял посмеяться над ним.

Конечно, у Щавелева, как догадывался Долгушин, в общем, могли быть основания и долг за Чернаем числить, и мстить ему. Долгушин теперь достаточно знал Черная и мог себе представить характер его отношений с Щавелевым. Не успевший жениться до той своей несчастной истории с поджогом, так и оставшийся бобылем, Черная считался домохозяином, но фактически домохозяином не был, надел свой забросил, имущества у него не было никакого и дома не было, жил он случайной работой вроде починки телег да саней, руки-то у него в самом деле были не дырявые, или подряжался ловить крыс в церквах и шкурки продавал скорнякам. Не имея избы, не имел и постоянного пристанища, летом куда ни шло, ночевал на соседских сеновалах или под громадными лопухами, росшими на месте сгоревшего дома, зимой было хуже, кочевал из избы в избу по родственникам, близким и дальним, кто приютит на ночку-другую, или напрашивался за кров и пропитание в работники к местным богачам, к бывшему своему помещику или к Щавелеву. К богачам он обращался за разными одолжениями и в другие времена года, за рубликом в подать отдать, за мучицей

ли. Он, конечно, отработывал и мучицу, и рубрики, но как считать?— у него был свой счет, у барина или Щавелева свой, и расставались они после расчетов всегда недовольные друг другом. Чернай, убежденный в том, что обманут, мстил барину и Щавелеву тем, что поносил на чем свет стоит «мироедов» и «кровососов» по кабакам, на сельских сходах. Когда же, прижатый обстоятельствами, вынуждаем был снова обращаться к «кровососам» за одолжениями, наступала их очередь мстить «горлопану». И мстили: заставляли себя попросить, повалиться в ногах, или устраивали сюрпризы, вроде того, какой устроил теперь Щавелев. До сих пор Чернай переносил эти мытарства не то что легко, но не слишком болезненно, теперь, похоже, наступил для него «край».

Появлению Долгушина в Ильинском он обрадовался, увидев в этом для себя хороший знак. Тут же определил ему место в вынашивавшемся им плане мести Щавелеву. Долгушин своей грамоткой звал мужиков бунтовать? Ну так он, Чернай, взбунтует мужиков близлежащих деревень против мироедов. Мужики, с которыми он уже вошел в стачку, поднимутся все, как один, им нужно лишь показать пример, чтобы кто-то первый начал: «Ты начни, а мы поддержим». И вот он придумал, как начать. Он пустит пухом змея Щавелева, и все подымутся. Не слушая никаких возражений Долгушина, Чернай объяснял ему его задачу: на какой-то ярмарке в Одинцове или еще где-то, Чернай говорил быстро, понимать его было трудно, должен Долгушин открыто прочесть свой призыв к народу... На этом месте разговора Долгушин, которому наскучил этот бред, остановил Черная, положив руку ему на плечо, посоветовал лечь спать и все забыть, и уехал. Если бы он знал, какие последствия будет иметь этот разговор с Чернаем, он, конечно, не спешил бы уезжать...

Пытался Долгушин навести речь Черная на Игнатия, хотелось все же выяснить причины их вражды и как-то помирить их, но всякое упоминание об Игнатии вызывало новый приступ ярости Черная. Только и удалось, что убедиться: Черная ставил в вину Игнатию помимо прочего то, что тот будто бы помогал каким-то образом Щавелеву за особое вознаграждение держать в кулаке других крестьян в округе, между прочим, и тех, которые входили в его плотницкую артель и которых он будто бы безбожно обсчитывал. Это, конечно, было полнейшим вздором. Игнатий был честен, для Долгушина это было совершенно очевидно. Игнатий сам был жертвой паука-Щавелева, и если не отзывался о Щавелеве дурно, то это еще ничего не значило. И сомнения Игнатия в спасительных возможностях равенства, его своеобразное понимание роли и значения богатства, тоже еще сами по себе ничего не значили. В окружавшем его мире не мог он видеть иных примеров обогащения людей, как обогащения несправедливого: богатства создавались одними людьми за счет других, одни люди объедали других. Это ему, человеку от природы справедливого, не могло нравиться, и поэтому мысль о возможности увеличить общественное богатство через уравнивание людей привлекла его, но он не в состоянии был так сразу разделить уверенность Долгушина в том, что эта возможность реальна, что это не сказка.

Повидаться же с Игнатием до отъезда в Москву Долгушин не успел, решил, что повидается после Москвы.

8

В Москву укатили все вместе, правил Долгушин, ехали весело, с песнями, как ехали из Москвы в Сареево три недели назад, только теперь вместо Татьяны, оставшейся с Аграфеной на даче, в тележке сидел Ананий.

Вместе заехали к Кириллу Курдаеву, в его новую мастерскую, поделили прокламации между собой и разошлись каждый по своим делам, решив к вечеру собраться у Далецкого и там заночевать, а утром отправиться по своим маршрутам.

Из мастерской Долгушин уходил последним, его задержал Кирилл, попросивший проверить какие-то счета. Держал себя Кирилл не совсем обычно, много говорил, суетился, видно было, хитрил, что-то ему нужно было скрыть от Долгушина. В счетах его был порядок, мастерская устроена, в мастерской теперь было вдвое больше рабочих и все были заняты делом, недостатка в заказах не было, но Кирилл все говорил о каких-то трудностях, нехватке того, другого. Что-то ему нужно было от Долгушина, но прямо об этом сказать не решался. Так когда, спросил Долгушин, можно будет прислать к нему пропагандистов? Пока нельзя, отвечал Кирилл, вот когда он справится с трудностями, освоится на новом месте... Разбираться со всем этим, однако, было некогда, Долгушин сказал, что заедет через несколько дней.

Вечером, когда сошлись у Далецких, еще раз обсудили маршруты каждого, решив задеть пропагандой и южные уезды Московской губернии, туда через Подольск на Серпухов вызвался пойти Дмоховский. На восток от Москвы на Егорьевск через Люберцы наметил идти Плотников, на запад к Можайску и дальше — Папин, Ананию предложили пройти на север по Петербургскому шоссе до Клина и поворотить к Волоколамску. Долгушин должен был вернуться в Сареево оканчивать дела, начатые им в Звенигородском и соседних с ним Рузском и Волоколамском уездах, и затем действовать по обстоятельствам.

При этих обсуждениях присутствовали, и не безмолвно, вставляли свое слово Далецкие и Вера Павлов-

на Рогачева, переселившаяся к Далецким после отъезда в Петербург Дмитрия Рогачева. Вера Павловна, самый юный участник разговора, горящими глазами смотрела на отчаянных молодых людей, всей душою рвалась за ними, страстно желала подобного подвига, но можно ли было нежной барышне взяться за что-либо подобное?.. Пройдет немного времени, и она возьмется. В Петербурге, чтобы вести пропаганду среди фабричных, поступит простой работницей на одну из тамошних фабрик, потом будет заниматься пропагандой на юге...

Утром расходились, разъезжались из Москвы. Долгушин уехал в Сареево.

9

За несколько дней он прошел и проехал по волостям Звенигородского и соседних уездов, до которых еще не добирались пропагандисты. Поход был удачен, он распространил все прокламации, которые взял с собой. Когда вернулся из похода, это было в субботу восьмого сентября, на даче застал Дмоховского, приехавшего часа за два до него. И у Дмоховского поход был удачен, и он распространил все свои прокламации и был настроен радостно, и приехал теперь с предложением не сворачивать пропаганду, напротив, поставить ее основательнее и для этого возобновить печатание, восстановить станок, постараться отпечатать побольше экземпляров, чем отпечатали до сих пор. Где печатать, снова на даче? Нет, конечно, с дачей придется проститься, она послужила неплохо, дело запущено, и слава богу, но для дальнейшего она не годится. Едва ли еще надолго останутся в тайне для властей труды пропагандистов, рано или поздно попадутся же на глаза полиции прокламации, и следы неизбежно приведут в Сареево.

Устраиваться надо опять в Москве, но, конечно, не на старом месте, не на Шаболовке, говорил Дмоховский, он знает квартиру получше, у Крестовской заставы, в конце Первой Мещанской, в доме купца Гурина, там две комнаты и кухня на первом этаже, с отдельным выходом в глухой переулок, входить и выходить можно незаметно даже для дворника. В этой квартире поселятся Дмоховский с Татьяной. Завтра и надо будет переехать, незачем терять время. Александр отвезет их в Москву и заодно подыщет квартиру для себя где-нибудь поблизости. Согласен ли с этим Александр? Александр был согласен.

А дачу придется продать. Все равно ведь нужны деньги на ремонт станка и прочие типографские расходы. Лучше бы продать кому-нибудь из москвичей, близких к кружку, в таком случае дачу еще можно было бы использовать для дела в будущем. Может быть, купит Далецкий, у него как будто объявились деньги и он будто бы подумывал о собственной даче, прежде он каждое лето нанимал избу у какого-то мужика в Мазилове. Завтра и надобно будет поговорить с ним об этом.

Стали думать о том, как объявить о принятом решении женщинам. Для Аграфены, конечно, это будет ударом — узнать о ликвидации дачи; она приросла к Сарееву. Правда, если дача перейдет к Далецким, Аграфена всегда сможет воспользоваться ею, жить здесь, сколько потребуется... Решили, однако, не спешить объявлять все это женщинам, по крайней мере до вечера.

Неожиданное происшествие, случившееся ближе к вечеру, все развязало.

Аграфена сообщила, что в отсутствие Александра почти каждый день приходили на дачу и спрашивали его крестьяне из разных деревень, всем им она говорила, что хозяин будет на даче не ранее субботнего

вечера, так что к вечеру надобно ждать гостей. И правда, вскоре приехал из Покровского Егорша Филиппов и привез с собой двух однодеревенцев, знакомых Долгушину, пожилого из реутовских и того, рассудительного, который во время первого чтения в Покровском (перед поездкой в Москву Долгушин еще раз побывал в Покровском и читал прокламацию Берви) подавал реплики из темного угла. Пришли еще несколько человек из ближайших деревень.

Покровские прикатили с просьбой практического свойства. Дело было спешное, им и занялись прежде всего. Другие гости не были в претензии, что хозяин и его товарищ вынуждены были долго заниматься только с покровскими, им и самим было интересно дело покровских, при том что молодые господа увлекали в общий разговор и их, посторонних делу людей, обращались и к ним с вопросами, справлялись об их мнении.

Решили покровские на своем сельском сходе послать все же ходоков в Петербург с жалобой на решение крестьянского присутствия и с новым прошением, постановив не домогаться дарового, четвертного, надела, а просить замены бесплодного песчаного клина и выплаты убытков за многолетнее пользование им.

— Ты верно присоветовал, Василич,— гудел Егорша,— мы все согласились на том, и вот мирской приговор, прочти, пожалуйста. С тем пошлем в Петербург.

— А если откажут в Петербурге?

— Ну тогда и впрямь не останется иного, как бунтовать заодно с вожжевскими. А куда есть надежда, сделай милость, напиши бумагу. Мир просит.

— Ну, хорошо.

И Долгушин написал бумагу, прошение покровских крестьян на высочайшее имя, он и посоветовал адресоваться на царя, до самого царя бумага, конечно, не

дойдет, но, может быть, ей дадут из царской канцелярии надлежащий ход.

Покончив с бумагой, заговорили о том, о чем дважды начинал Долгушин разговор в Покровском и оба раза останавливал себя, считал преждевременным такой разговор, обещал поговорить об этом в другой раз. Теперь Егорша прямо напомнил ему о его обещании. Вопрос этот был также вопросом и других мужиков, не одних покровских, об него спотыкались мужики, размышляя над текстом прочитанных прокламаций. Как же, в самом деле, безоружному народу выстоять перед царским войском, если, примерно, и поднимутся все? Долгушин и Дмоховский отвечали: а кто сказал, что народ должен оставаться безоружным? Подготовка к будущему всеобщему восстанию и должна заключаться в том, чтобы всем сговариваться и соглашаться для дружного вооруженного выступления. В одной из прокламаций («Как должно жить по закону природы и правды») прямо говорится: не бойтесь оружия, а берите его рукой твердою и сражайтесь с угнетателями. Иное дело вопрос: откуда взять оружие? Вот это — вопрос, его следует рассмотреть. Оружие можно самим готовить в сельских кузницах, можно на мирские деньги тайно закупать, можно, при надлежащей организации народа, захватывать военные арсеналы, разоружать военные команды. Но теперь о том идет речь, что прежде нужно достичь этой надлежащей организации народа, создать народную партию. Что это значит?

— Вот мы здесь, все собравшиеся, разве не можем представить собою одного из отделений этой всероссийской народной партии? — говорил одушевленно Долгушин. — Мы — одно звено цепи, в соседней деревне может составиться другое звено, и так в каждой деревне, в каждой волости. Собрание таких звеньев, связанных друг с другом единой целью и согласующих между со-

бой свои действия, и есть народная партия. Так будем держаться друг друга и будем привлекать к нашему делу других — односельчан, знакомых из других деревень. Будет нас много — подумаем, как лучше построить наши отношения, чтобы удобно было связываться друг с другом для какого-то дела, например обучаться военному делу. Когда в такой партии будет весь народ — кто нас победит?

— Не забывайте еще, — вставлял Дмоховский, — что мы в казармах тоже бываем, зовем солдат и офицеров пристать к народу, когда он подыметя...

Мужики слушали, кряхтели, соглашались, как будто все понимали, хотя, конечно, и не могли не казаться им диковинными все эти рассуждения.

Сидели в горнице вокруг стола, как будто сошлись для чаепития, не хватало лишь самовара. И самовар появился. Его внес Максим. Максим пришел из Сареева в начале разговора, внимательно прислушивался к разговору, внимательно присматривался к незнакомым мужикам, по его замкнутому лицу трудно было угадать, что он думает, похоже, он пытался решить для себя, нравятся ему гости или нет. Особенно Егорша, чувствовалось, разжигал его любопытство, он то смотрел на Егоршу неотрывно, ложась грудью на край стола, смотрел так пристально, что тот начинал ерзать и оглядываться с беспокойством, не понимая, что его тревожит, то вскакивал нетерпеливо и подбегал к Егорше, становился прямо за его спиной, не заботясь о том, что это может, наконец, и показаться странным мужикам, тому же Егорше. Как свой человек в доме, Максим время от времени выходил из горницы по знаку Аграфены для исполнения ее хозяйственных поручений, исполнял их и возвращался, садился на свое место; вышел он и для того, чтобы разжечь и принести самовар. Он поставил пыхтящий, еще дымящийся самовар на середину

стола, Татьяна принесла из маленькой комнаты стаканы и кружки, большую берестяную сахарницу, полную колотого сахара, Аграфена села к самовару и стала разливать чай. Начинало темнеть, но лампу еще рано было зажигать.

Не успели гости и хозяева выпить по стакану чая, как на дворе послышался стук подкатившей телеги, торопливые шаги грузного человека на крыльце и в сенях, и на пороге горницы появился оборвихинский плотник Игнатий, в рубахе распояской, без шапки. Пригнувшись, вошел в дверь, поискав глазами икону, перекрестился на крест в красном углу и, не поздоровавшись, с мрачным вызовом сказал Долгушину, вставшему из-за стола, как только он вошел:

— К тебе, Василич, разговор есть. Выдь со мной.

По его угрюмому и вызывающему виду было ясно, что стряслось что-то из ряда вон. Но уж очень тон был нехорош.

— Что случилось?

— Выдь, говорю, со мной! — повысив голос, требовательно, с угрозой повторил Игнатий.

Долгушин вспыхнул, никому и никогда не мог позволить говорить с собой в подобном тоне.

— Говори здесь. Или ступай вон, — произнес он отчетливо, выделяя каждое слово. Смягчил тон. — Говори. Здесь все свои, секретов от них у меня нет. Что случилось?

Игнатий как будто только теперь заметил, что в горнице много народу, обвел всех недоумевающим взглядом. Тряхнул красивой головой.

— Здесь так здесь, — сказал с угрожающей ноткой. — То случилось, что Чернай, твоя, Василич, вина, запалил Оборвиху.

Все вскочили со своих мест.

— Как запалил?

— Так и запылил. Запылил Щавелева, а от него пе-рекинулось на соседнюю усадьбу.

— Сгорела деревня? — ахнул Максим.

— Огонь, слава богу, остановили, народ вовремя схватился, у Щавелева лишь сарай сгорел с дровнями, которые Черной починял. Он, Черной, и поднял тревогу, и в огонь бросился. И погорел, сам-от.

— Обгорел? — не понял Долгушин.

— Да уж, так обгорел, не дай бог никому. Помер Черной. Запылил сарай и полез сам жа тушить. Там и остался. И ты, Василич, вот что: уходи отсель. Вишь, как неладно. Уходи, не смущай народ. Не то, неровен час... Уходи добром.

— Ты никак мне угрожаешь? — изумился Долгушин. Обожгло обидой: этот рассудительный крестьянин, казалось, глубже других крестьян проникавший в ход его мыслей, ему сочувствовавший, более других способный сознательно принять его правду, теперь смотрел на него как на врага!

— Уходи, Василич. Я тебя упредил, — не попрощавшись, повернулся Игнатий, решительно пошел в дверь.

— Пстой-ка, сват, — с мрачным видом подхватился следом за ним Егорша.

Игнатий, не останавливаясь, прошел в сени, вышел на крыльцо. Егорша тоже вышел на крыльцо. «Пстой-ка!» — донесся со двора его бухающий голос. Они с Игнатием о чем-то горячо заговорили, слов было не разобрать, потом донесся шум борьбы, пыхтенье борющихся, затем стук отъезжающей телеги и тяжелые шаги Егорши на крыльце. Вошел Егорша, взъерошенный, с разбитой нижней губой.

— Поговорили, — сказал он мрачно, отвечая на устремленные на него вопросительные взгляды. — Ниче, Василич...

Максим, подойдя к Егорше с улыбкой, одобрительно хлопнул его ладонью по спине.

— Бедный Чернай! Жалко мужика. Вот кто дошел до края, — заговорил хмуро Долгушин.

— Что будем делать? — деловито осведомился Дмоховский.

И тут неожиданно голос подала Аграфена:

— А что делать? Приедет следователь, начнут выяснять обстоятельства поджога, с кем знался этот несчастный... Надо уезжать, вот что делать. По крайней мере вам, мужчинам. Хотя бы на время.

— Верно, — согласились с хозяйкой гости. — На время надобно, Василич, уехать...

— Уедем, — сказал Долгушин. — Завтра и уедем. Но мы вернемся! (Мужикам.) Вы же тем временем делайте свое дело. Помните, мы — в одной цепи, и чем больше крестьян войдет в сцепку, тем лучше. Но, конечно, не всякого тащите к себе, с кем попало не толкуйте, главное, чтоб верный человек был. Понимаете ли?

— Не беспокойся, Василич... Знамо, чтоб верный человек...

10

Тотчас по приезде в Москву переговорили с Далецким, тот согласился купить дачу, цену назвал Долгушин — пятьсот рублей, столько было затрачено на дачу общественных денег.

Всю сумму сразу Далецкий не мог выдать, не было на руках таких денег, но около ста рублей выдал, на эти деньги принялись Долгушин и Дмоховский восстанавливать типографию. Перевезли станок в квартиру Дмоховского у Крестовской заставы, заказали трем разным столярам изготовить деревянные части к станку по чертежам, сделанным Дмоховским. Начали набирать

«Русскому народу». За всеми этими хлопотами упустил Долгушин подыскать для себя с Аграфеной подходящую квартиру, и, когда уезжали с Далецким в Сареево, в среду двенадцатого сентября, чтоб оформить сделку и вывезти с дачи Аграфену с ребенком, решили, что временно Долгушины поживут у Далецких.

Оформить сделку означало переписать у Щавелева в Оборвихе на имя Далецкого денежные расписки. К Щавелеву и отправились на другой день.

С тревожным чувством ехал Долгушин к Щавелеву. Что, если тому известно о беседах Долгушина с крестьянами, о прокламациях, как он встретит Долгушина? Не побежит ли тут же за полицией? Давила душу и мысль о том, что вот сейчас он увидит место гибели Черная, своими глазами увидит пепелище, в какое могла обратиться вся Оборвиха... Думать об этом было тяжело.

Щавелев, однако, ничего о прокламациях или беседах с крестьянами не знал, встретил Долгушина радужно, сразу же повел на место пожара, возбужденно стал рассказывать, как все было. Чернай, оказывается, поджег сарай изнутри и, когда все занялось огнем, полез в самый огонь, стал вытаскивать оттуда горевшие дровни, там его и придавило чем-то, вытащить было нельзя. Следов пожара уже почти не осталось, место было расчищено, на месте уничтоженного сарая ставили плотники новый сруб, и верхом на поднявшейся выше человеческого роста стене сидел старшой плотницкой артели Игнатий, подтягивал к себе снизу очередной венец. Увидев Долгушина, Игнатий не слез со стены, работы не прервал, однако поклонился ему сверху.

Щавелев не возражал против того, чтобы переписать бумаги на нового владельца, но усомнился в том, что эта операция законна. Далецкий стал объяснять, что он особо справлялся на этот счет, и можно не сомневаться в законности, Щавелев на это отвечал, что ему нужно

самому справиться у кого следует. Договорились, что на днях он будет в Москве и узнает, как и что, и если все так и окажется, как утверждали молодые люди, то за ним задержки не будет. И на этом разъехались.

Наутро, погрузив весь скарб на крестьянскую подводу, на крестьянской лошади выехали Долгушины в Москву, своего меринка Долгушин оставлял у Курдаевых, в Москве надобности в лошади не предполагалось. Далецкий отправился в Москву раньше их, поездом, до Одинцовской станции его вызвался проводить Максим, остававшийся сторожем при даче. Заперев дачу, обедая взглядом уютную долину, желтые и черные склоны холмов, обступавших Медвенику, черные крыши сареевских изб вдали, отчетливо рисовавшиеся в прозрачном, уже осеннем воздухе, Долгушин взял у мужика, хозяина лошади, вожжи, тронул лошадь.

Невесело ехали. Аграфена молчала, погруженная в свои мысли. Она спокойно отнеслась к известию о продаже дачи, как будто даже ожидала этого, деловито стала собирать вещи. Об отдаленном будущем она старалась не думать, мысли ее заняты были ближайшей перспективой: как она устроится с ребенком у Далецких, не лучше ли снова съехаться с Татьяной, удастся ли найти службу в Москве... Молчал и Долгушин, занятый обдумыванием технической задачи: если заменить вал типографского станка, а его так и так придется менять, валом меньшего диаметра и массы, при каких наименьших значениях диаметра и массы вала оттиски будут оставаться четкими... Молчал мужик, человек неразговорчивый, за всю дорогу он ни разу не подал голоса, даже лошадь ни разу не окликнул, взявши вскорости вожжи в свои руки, погонял лошадь вожжами. И даже Сашок, первые версты пути возбужденно вертевшийся во все стороны, вскоре примолк, уснул.

Далецкий встретил подводу Долгушиных за несколь-

ко кварталов от своей квартиры, он был взволнован, отвел Долгушина в сторону, чтобы не слышал возница, ошарашил новостью:

— Папин арестован!

— Когда?

— Сегодня утром, его взяли на квартире его дяди, цензора Бессомыкина, с большим количеством прокламаций...

— Откуда это вам известно?

— Только что у меня был Любецкий...

— Любецкий!

— Каким-то образом он оказался свидетелем ареста Папина, то ли ночевал вместе с ним у его дяди, то ли случайно зашел к нему утром, а может, и не к нему, а к его дяде, и видел, как уводили Папина. Он говорит, что кто-то выдал Папина. И еще сказал, что о круге знакомых Папина известно жандармам...

— А ему это откуда известно?

— Не знаю!— развел руками Далецкий.

— Может быть, он сам выдал?

— Почему вы так думаете?

— Ладно. Что будем делать?

Вопрос был обращен Долгушиным, собственно, к самому себе, Далецкий так это и понял и стал ждать, что скажет Долгушин.

— Сделаем так,— сказал Долгушин.— У вас останавливаться нам, пожалуй, не следует. Возвращайтесь к себе и возьмите пока с собой Аграфену Дмитриевну с ребенком, они устали, пусть отдохнут с дороги. Я устроюсь со всем скарбом и заеду за ними...

Остановили подводу, ссадили спокойную, ко всему уже готовую Аграфену с сонным Сашком, в двух словах объяснили ей положение, и Далецкий увел их с собой, а Долгушин поехал на другой конец города, к Крестовской заставе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЛОСЬ

1

Осенью 1873 года из Москвы приходили и ложились на стол Шувалова в виде телеграфических депеш и пространных докладов генерала Слезкина малоутешительные вести. Более двух месяцев прошло после того, как в Москве была обнаружена и схвачена группа нигилистов, печатавших в тайной типографии и распространявших в народе прокламации крайнего революционного содержания. Были арестованы все главные деятели кружка в Москве и большое число связанных с ним молодых людей здесь, в Петербурге. Но дело неожиданно оказалось вязким, конца его не было видно. А нужно было покончить с ним как можно скорее, уж очень не вовремя возникло оно, грозило неприятными последствиями.

Само по себе дело было пустое, вздумали несколько бывших студентов взбунтовать народ, понятно, что ничего у них не вышло и не могло выйти. Не деятельностью своей были они опасны; если бы можно было быстро и результативно окончить дознание и следствие, передать дело в суд, не затягивая, провести процесс, то и следа от их вредной деятельности не осталось бы. Но быстро прикончить вздорное дело не удавалось. Ничтожная история приобретала скандальный оттенок. Ведущие дознание опытные следователи не могли добыть, при обилии материала, необходимых, безупречных в юридическом отношении фактов, уличающих арестованных.

Улик было много — и улик не хватало. Налицо были возмутительные прокламации, было открыто место, где печатались прокламации, подмосковная дача главнейшего деятеля группы, известного властям Долгушина, там обнаружены свидетельства недавней типографской работы — столбик набора в шесть строк, пробный оттиск с набора первого листа прокламации «Русскому народу», столы со следами типографской краски. В распоряжении следователей имелись полученные агентурным путем сведения о составе кружка Долгушина и его многообразных связях с московскими и петербургскими кружками. Добыты были бесспорные доказательства пропагандаторской деятельности членов долгушинского кружка в среде народа, по крайней мере некоторых из них, всего более таких доказательств оказалось собрано в отношении молодого рабочего Анания Васильева; несколько крестьян из разных уездов, которым он раздал прокламации, его уличали. Но связать вместе все эти факты, чтобы получилась исчерпывающая, безусловно доказательная картина преступной деятельности кружка, не удавалось, оставались досадные провалы, а в таком виде передавать дело судебной власти было нельзя.

Пытаясь объяснить малоэффективный ход дознания, генерал Слезкин ссылался на особенный характер дела, необычное поведение арестованных на допросах. Действительно, привлеченные к дознанию молодые люди характером своих действий выделяли это дело из производившихся прежде дознаний о кружках молодежи. Все они решительно отрицали свою вину и стояли на своем с фанатической стойкостью и дерзостью. Папин (взятый с поличным) в самом начале дознания заявил, что ни на какие вопросы отвечать не желает, и не отвечал, этой линии держался и Плотников, протоколы их допросов лапидарны однообразно: «объяснить не желаю... не хочу... отвечать отказываюсь...» Ананий Ва-

сильев на очной ставке с крестьянами, признавшими его за того человека, который вручил им прокламации, хладнокровно, с улыбкой заявил, что впервые их видит. Долгушин и Дмоховский давали показания издевательские, которые, ничего не разъясняя, часто содержали изложение мнений самих по себе преступных.

С месяц назад дело двинулось было к развязке благодаря тому, что заговорили привлеченные к дознанию в Москве жена Долгушина Аграфена Дмитриевна и сожительница Дмоховского Татьяна Сахарова. Их откровенные показания дали сведения о том, где и как печатались прокламации, мало того, Аграфена Долгушина показала, кто был автором одной из прокламаций, «Русскому народу», — ее собственный муж. Но сами женщины не были участницами пропаганды, и это в определенном смысле снижало ценность их разоблачений. Следовало эти разоблачения подкрепить откровенными показаниями участников, тогда можно было бы надеяться на успешный исход процесса. Нужно было, чтобы на процессе фигурировали раскаявшиеся или хотя бы сознавшие в своих преступлениях нигилисты. Выпустить на публику спаянную группу стойких, уверенных в себе пропагандистов теперь, когда ежедневно получались сведения о том, что безумная идея хождения в народ не угасла в умах молодежи с арестом первой группы народных агитаторов, напротив, продолжая будоражить незрелые умы, проникала все глубже в среду молодежи? В этих условиях такой процесс был немислим.

Признания женщин, конечно, поставили членов кружка Долгушина в трудное положение, и все-таки они продолжали заператься. Стали еще лаконичнее в своих показаниях. Долгушин, догадавшийся, должно быть, по характеру вопросов, что следователи берут материал из объяснений его жены, заявил на одном из последних

допросов, что больше не желает делать никаких показаний, и умолк.

Хуже всего было то, что к этому делу с некоторых пор стал проявлять внимание государь. Медленный ход дознания, вызывающее поведение пропагандистов, сама эта странная идея хождения в народ, так неожиданно осуществленная нигилистами, действовали на него болезненно. Дело представлялось ему даже более серьезным, чем недавние процессы нечаевцев и самого Нечаева. Он видел в нем некий симптом, признак неведомых новых надвигавшихся испытаний, очередных осложнений в отношениях с обществом. Опасно было оставлять его надолго в этом состоянии. Опасно для дела политической реформы, маховик которого уже набирал обороты...

Еще в первых числах октября в Ливадии Шувалов, выбрав удобный момент, изложил государю план дальнейшего хода обсуждений трудов валуевской сельскохозяйственной комиссии, государь отнесся с симпатией ко всем пунктам выработанного Шуваловым совместно с Валуевым плана, в том числе и к пункту о необходимости создания особых правительственных комиссий с включением в них выборных земских представителей. Шувалов тогда же сообщил об этом достижении Валуеву. Это было, действительно, достижением: не заручившись согласием государя поддержать проект реформы, нечего было и думать ставить его на обсуждение в Комитете министров. Теперь можно было готовиться к началу обсуждений. По приезде в Петербург, в начале ноября, Шувалов немедленно собрал у себя совещание министров, на поддержку которых они с Валуевым могли рассчитывать, предложил обсудить меры, какие следовало принять, чтобы подготовить успех дела. Такие совещания он стал проводить регулярно, не реже чем два-три раза в неделю.

Главной заботой «консервативного конклава», как называл эти совещания у Шувалова ироничный Валуев,

было найти какие-то пути к соглашению с «либералами» в Комитете министров. Приходилось опасаться, что эти люди будут яростными противниками реформы, и не потому, конечно, чтобы они были против введения в России элементов представительного правления — кто же теперь не конституционалист в душе, — а из партийных амбиций, из заскорузлой враждебности к «аристократам». Наиболее влиятельной фигурой среди «либералов» был великий князь Константин Николаевич, младший брат императора, несколько лет назад предлагавший собственный конституционный проект, отклоненный тогда государем. Самой же опасной фигурой был военный министр Милютин, с необыкновенным упорством двигавший в высших коллегиях проект закона о всеобщей воинской повинности, смотревший на противников закона как на своих личных врагов, а за противников, конечно, принимал критиковавших проект «аристократов». Всего можно было ожидать от министра иностранных дел князя Горчакова, председателя Комитета министров Игнатьева, людей неопределенных политических взглядов, в сильнейшей степени эгоцентрических, вздорных. Но как подступиться к этим господам? Этого придумать не могли.

20 ноября в Комитете министров, собиравшемся раз в неделю, по вторникам, началось слушание заключительного доклада сельскохозяйственной комиссии. В докладе формулировались проблемы сельского хозяйства, решение которых требовало государственного вмешательства, изменения законодательства. Доклад не намечал мер, необходимых для разрешения поставленных вопросов. Комитет министров и должен был определить, как, в каком порядке приниматься за разработку таких мер.

С предложением о создании особых правительственных комиссий для разработки необходимых мер по-

мощи сельскому хозяйству с включением в состав комиссий выборных общественных представителей готовился выступить на очередном заседании Комитета министров, 27 ноября, Шувалов...

Накануне этого дня, в понедельник 26 ноября, Шувалов с утра занимался у себя в бело-золотом кабинете, просматривал бумаги, принесенные Филиппеусом. Торопился, чтобы освободить день на завтра, не отпуская Филиппеуса, читал при нем, только самое важное. Передавая Филиппеусу последнюю бумагу, посмотрел на него вопросительно, тот доложил:

— Прибыл по вашему вызову и ждет приказаний господин Любецкий.

— Любецкий? — с удивлением переспросил Шувалов, не сразу вспомнив, зачем он вызывал Любецкого.

— По возвращении в Петербург вы приказывали разыскать господина Любецкого и доставить к вам. Ни в Москве, ни здесь, в Петербурге, его не было, поэтому произошла задержка...

— Пригласите его ко мне.

Действительно, он приказывал найти и доставить к нему Любецкого, это было в один из тех первых его петербургских дней, когда чтение получавшихся из Москвы унылых отчетов Слезкина особенно раздражало и оскорбляло, тогда он подумал, что в этом деле мог бы оказаться полезным Любецкий. Бывший нигилист мог уличить Долгушина в распространении прокламаций. Причем, свидетельствуя против Долгушина, ему пришлось бы сыграть роль раскаявшегося участника пропаганды. Он, правда, мог не согласиться на это, он будто претендовал играть роль человека принципов, но если потребовать...

Появился Любецкий, стал извиняться, объяснять, почему не нашли его, он был вынужден выехать из Москвы, но Шувалов его перебил:

— Вот что, Любецкий. Вызвал я вас по делу чрезвычайному. Проявите свой гражданский долг до конца, — заговорил с невольным пафосом, откидываясь в кресле. — Полагаю, вы догадываетесь, что я имею в виду. Мы накануне реформы политической, и она произойдет, если не помешает какая-нибудь нелепая случайность, как это нередко бывает в истории. Такой роковой случайностью может оказаться история московских пропагандистов, к которой вы причастны.

Шувалов встал, подошел к Любецкому, твердо смотря в его напряженное лицо.

— Вы сделали первый шаг, указав на связь прокламаций, доставленных вами, с Долгушиным и его группой. Да, с Долгушиным и его группой, — повторил, заметив, как изумленно дрогнуло при этих словах лицо Любецкого. — Эту связь извлекли генерал Слезкин и его помощники из объяснений, сделанных вами генералу Слезкину. Вы дали сведения о московских кружках, и в том числе о кружке Долгушина, адреса некоторых членов кружка и их знакомых, за ними стали следить, наконец, захватили. Сделайте теперь следующий шаг. Мне нужны факты распространения прокламаций Долгушиным и его друзьями. Вы, конечно, от них получили прокламации и вы должны будете выступить свидетелем на суде, подтвердить факт передачи вам прокламаций членами кружка. Придется вам, Любецкий, вспомнить все факты ваших отношений с кружком и главное — с Долгушиным.

Оглушенный Любецкий спросил с усилием:

— Вы хотите, чтобы я указал на Долгушина, что именно он передал мне пакет? Даже если и не он...

— Не знаю, как вы объясните, подробности меня не интересуют, — резко перебил его Шувалов. — Мне нужны факты. Идите и обдумайте. Через день, послезавтра, снова придете ко мне. И вот что. Вам придется оставить

службу у Штенгеля. К сожалению. К сожалению — моему и Штенгеля, вам жалеть не придется. Устрою вас должным образом, в этом можете положиться на мое слово. Жду вас послезавтра.

Когда Любецкий вышел, Шувалов вернулся к столу, позвонил адъютанту. Одеваясь для выезда, думал о Любецком. Мало было надежды, что выйдет из затеянного какой-нибудь прок. Но чего не бывает?

2

Поздним утром того же 26 ноября, в Москве, в тюремном замке в одиночной камере с беспокойством ходила от зарешеченного железом окошка к железной двери с круглым глазком посередине и от двери назад к окошку Аграфена Долгушина, зябко куталась, пытаюсь плотнее запахнуть полы серого, протертого на боках под локтями до дыр суконного халата. Подходя к двери, припав к холодному железу, на миг замирала, прислушиваясь к тишине коридора, вздохнув, отстранялась прочь, отогревала ладони, прижав их к теплomu печному выступу в углу, печь топилась из коридора, и отправлялась в обратный путь, к окну, снова пытаюсь плотнее запахнуться, обернуться жидковатой тканью халата.

В камере было холодно, от окна, обросшего снежной шубой снаружи и изнутри, дуло, все же Аграфена заставляла себя подойти вплотную к окну, выгадывая лишний шаг на прямой между дверью и окном. Семь шагов в одну сторону и семь в обратную. Семь шагов — не так мало, однажды Аграфене пришлось временно сидеть в другой камере, в том же коридоре, но по другую его сторону, там в длину было всего на два с небольшим шага меньше, но как же мучительно было обрывать движение после неполного пятого шага. Холодно было и в той камере... Вся тюрьма была холодная, сложенная

из какого-то щелистого кирпича, продувалась насквозь, теперь еще ничего, можно было отогреться у печки, хуже было в сентябре и особенно в октябре, когда еще не топили и дули сырые промозглые ветры, от пронизывающей сырости не было тогда спасения, хоть пропади. И пропала тогда Аграфена. Пропала — и пропала... Не от сырости все же, пожалуй. Хотя, конечно, и сырость делала свое дело.

Пропаала Аграфена от того, что стали сводить с ума мысли о покинутом ею на произвол судьбы сыне. Когда ее арестовали — на улице, она выходила от Далецких, к которым забегала занять денег, не зная еще, что они арестованы и за их домом следят, — она не назвала своего адреса, там, в номере гостиницы, где она жила в то время, оставались Сашок и Татьяна. Сашок оставался на руках Татьяны, но все равно одолевало беспокойство: где он, что с ним? Неизвестность мучила. Недели две Аграфена не находила себе места от страхов, все представлялись какие-то ужасные несчастные случаи, в которые попадает ее маленький сын, то угорает по недосмотру рассеянной Татьяны, то вываливается из окна или падает с лестницы, обваривает руки кипятком, она порядочно извелась за эти две недели, пока над нею не сжалился Дудкин, штабс-капитан, помощник генерала Слезкина, производивший дознание, и не сообщил, что сын жив и здоров, находится в Петербурге у ее сестры и матери, отвез его туда то ли его отец, в то время еще находившийся на свободе, то ли кто-то из друзей отца.

Жалость Дудкина была, конечно, небескорытна, за сведения о сыне он требовал сведений о ее муже, и она пошла на это, уступила в первый раз, сообщила кое-что о том, чем занимались Долгушин и его друзья до переезда в Москву, в Петербурге, о московском же периоде тогда еще умолчала, отговорившись тем, что в Москве, мол, они с Долгушиным уже не были вместе.



Оправилась от страхов за сына, стала терзаться из-за иного — остро, мучительно и с каждым днем все тягостнее стала ощущаться ею разлука с ним. Поразительная вещь! Никогда прежде не думала она, что так будет ей не хватать той постоянной ежедневной будничной связи с ним, того непрерывного напряжения всех душевных и физических сил, которых требовала эта связь, выматывающих дум о том, чем кормить его завтра, послезавтра, скучных каждодневных забот о нем, будет не хватать всего того, от чего она так уставала там, на свободе. Там, на свободе, она мечтала о том, чтобы наконец устроить свою семейную жизнь хотя сколько-нибудь определенно, чтобы можно было рассчитывать средства для жизни хотя бы на несколько месяцев вперед и можно было бы каким-то образом хотя на день-другой отрывать от себя связывавшего ее по рукам и ногам ребенка. Она была не просто связана им — с самого дня его рождения была порабощена этим требовательным орущим-сосущим безжалостным существом и страдала от этого порабощения. Ее мир, еще совсем недавно такой светлый, просторный, обещавший столько чистой радости в будущем, неожиданно сузился до пеленок, примочек, лоханей. Первый год, когда она кормила, она почти не спала, не было рядом никого из родных, не было денег нанять няньку, одна выхаживала сына, выбивалась из нужды, только бы выжить. Полегче стало после освобождения Александра, хоть отоспалась тогда, Александр вставал к ребенку ночью, много и охотно гулял с ним... Много и охотно, пока его не закуружили снова общественные интересы. Но даже и в этот короткий период семейного согласия она не была свободна, сознавала, что теряет себя, безнадежно теряет себя как личность, все глубже погружаясь в мир пеленок, чулочков, детских болезней, отставая от своих подруг, от мужа и его интересов. На одно только и хва-

тило ее тогда: все-таки кончила акушерские курсы.

И что же? Оказывается, это порабощение и было реальной полнокровной прекрасной жизнью, по этому сладкому рабству она тосковала? И никогда еще в жизни не приходилось ей ничего с такой силой, так страстно желать, как желала она теперь возвращения этой суматошной, безумно трудной и такой притягательной жизни. И никогда не чувствовала себя такой несчастной, как теперь, когда была лишена этой радости ежеминутно умирать от отчаяния и страхов за любимое существо, валиться с ног от усталости и тревог. И никого в целом свете не было для нее дороже этого кусочка ее тела, быстро растущего и все больше требующего к себе внимания, заботы, сил, — никого, никого не нужно было ей, ни матери, ни сестры, ни мужа, никого и ничего, если не было рядом с ней, вот здесь, сейчас, сию минуту, ее ребенка...

И его от нее отняли? За что? И кто отнял?

И когда она в гневе, в отчаянии пыталась представить себе лица этих виновников ее страданий, среди разных лиц, лиц людей, знакомых ей и воображаемых, всегда всплывало, и всегда видение это сопровождалось томительным стуком сердца, лицо ее мужа. Он был виновен в том, что не посчитался с нею и ребенком, пустился в конспирации, — и вот неизбежный и бессмысленный итог...

Был виновен, да. Но он сам томился где-то здесь близко, в этой же тюрьме, коченел от холода, от сознания неудачи и от сознания вины, да, и от сознания вины перед нею и сыном, и думать об этом было тоже мучительно...

И однажды, когда вот так подумала она о муже, о его вине и о его страдании, ее душу вдруг озарило светом, и это было прозрение: спасти его! Она может и должна его спасти. Он пропадает. Он этого не сознает,

весь погружен в будущее, и не заметит, как останется в этих каменных могильных стенах навсегда. Пока не поздно — надо отвести от него эту угрозу. У нее есть средство это сделать. Дудкин особенно настойчиво требует сведений о Долгушине, потому что у них нет улики против него. Что это значит? Это значит, что опять он, Александр, выйдет из заключения ненаказанным, и все пойдет по-старому, опять конспирации, неопределенность, и неизбежный провал в конце концов, снова эти стены, но уж в третий раз его не выпустят отсюда живым. Нет, лучше пусть теперь все определится, может быть, еще не поздно все поправить. Пусть он получит Сибирь, Дудкин говорил, за типографию и пропаганду он получит по суду не более пяти лет сибирской каторги и потом поселение в Сибири, пусть будет Сибирь, Сибирью их, сибиряков, не запугать, она пойдет за ним, подобно женам декабристов, на каторгу, на поселение, будет делать любую работу, она сильная, выдержит все. Конечно, будет нелегко, но они будут вместе — он, она и сын, и придет наконец чувство устойчивости, потому что это будет, несмотря ни на что, естественная жизнь...

И они не изменяют себе, нет! Напротив, там, в Сибири, на родине, они смогут быть еще более полезными народу, она своим акушерским искусством, он — словом и примером достойной жизни. Он сможет наконец осуществить свою заветную мечту — писать для журналов, он владеет пером, она об этом может судить по его наброскам рассказов из народной жизни. У него есть талант — и этот талант употребить так непроизводительно на прокламации...

В тот день, тот ужасный октябрьский день, когда все это ей открылось в душевном озарении, она вызвала Дудкина в тюрьму, заявив о желании дать дополнительные показания. Ох, как она тогда ждала Дудкина —

боялась, что передумает, не решится быть откровенной... Решилась — выложила все. Выговорила себе освобождение от суда, от заключения — возможность (пока в обещании) уехать к сыну.

И только когда вернулась к себе в камеру — показания давала в жандармском управлении, — с ужасом поняла: ведь она погубила не только Александра, погубила и себя, он никогда не простит ей ее предательства... Но поздно было бы пытаться поправить дело.

Еще несколько раз после того ее возили в жандармское управление для уточнения отдельных пунктов показаний, но вот уже недели две никто к ней в камеру не заходил, никуда ее не возили. Сосредоточенная на одном, скорее бы выйти из тюрьмы и увидеть сына, она недоумевала, тревожилась, почему ее не выпускают. Неужели Слезкин и Дудкин ее обманули? Пообещав ходатайствовать о ее освобождении, на самом деле не стали об этом хлопотать? Или их ходатайство отклонено? Но если так, почему не сообщают ей об этом?.. Теряясь в догадках, думала о том, а что, если и вправду ее обманули? Что тогда? О, тогда — она мгновенно закипала от этой мысли — тогда она отомстит за все. Она откажется на суде от уличающих показаний. И потом всю последующую жизнь будет мстить им, мстить... В ее воспаленном воображении мелькали неопределенные картины этой будущей страшной жизни, когда она будет мстить врагам, своим врагам и врагам мужа, и, углубляясь в эту мысль, все больше разжигая в себе мстительное чувство, получала странное удовлетворение от этого...

Накануне, не выдержав неизвестности, Аграфена решила снова вызвать Дудкина, написала, что имеет сообщить нечто важное, боялась, что иначе он не поторопится прийти; вчера он не мог появиться, было воскре-

сенье, теперь же она ждала его с минуты на минуту. Но он как будто не думал торопиться...

Когда она услышала скрежет отодвигаемой двери женского отделения и затем звон шпор и шарканье нескольких пар сапог в коридоре, то отскочила от двери на середину камеры, всеми силами стараясь принять возможно более независимый вид.

Дудкин, худощавый господин с неопределенными чертами лица, похожий этой неопределенностью черт на своего начальника Слезкина, вошел в сопровождении трех или четырех чинов тюремного персонала и надзирательницы женского отделения. На лице Дудкина было смешанное выражение скуки и ожидания. Ясно было, что этот визит был для него доукой, сообщить Аграфене ему было нечего и от Аграфены услышать что-либо для себя полезное он не надеялся, не очень-то, должно быть, поверив ее записке, и если явился теперь, то главным образом для того, чтобы сделать внушение впредь не беспокоить его зря, и лишь в ничтожной степени в расчете на случай: вдруг и выявится что-нибудь еще по делу? Но это в самой ничтожной степени...

— Что именно вы имеете сообщить? Слушаю вас, — подчеркнуто снисходительным тоном сказал Дудкин, выдвинувшись несколько из толпы тюремщиков.

— Прежде всего, милостивый государь, потрудитесь объяснить, почему меня до сих пор здесь держат? Вы утвердительно говорили, и генерал Слезкин это говорил, будто из Петербурга едет какой-то следователь и после его беседы со мной меня отпустят. Где этот следователь? Или он миф? Как и поездка генерала Слезкина в Петербург? — звонким голосом, стремительно проговорила Аграфена; боялась, что не выдержит напористого тона, очень хорошо понимая, что так и не иначе надо с ними говорить.

— Успокойтесь. Не миф. Генерал Слезкин действительно ездил в Петербург и ходатайствовал об вас. И сле-

дователь из Петербурга — не миф, а член судебной палаты господин Гераков. Его беседу с вами поставил условием вашего освобождения не генерал Слезкин и тем более не я, это условие его сиятельства графа Шувалова. Вы должны подтвердить господину Геракову ваши показания. Почему его до сих пор нет? Его держат в Петербурге неотложные дела. Но он готовится к отъезду и в скором времени отправится в Москву. Это ответили нам из Петербурга на наш запрос. Потерпите немного. Вас не забыли. Это вас беспокоит? Уверяю вас, оснований для беспокойства у вас нет. Не все так скоро делается, как бы нам хотелось. И вы сами больше повинны в том, что до сих пор находитесь здесь. Охота была вам так долго замирать, — не удержался от назидательного упрека Дудкин. — Полагаю, у вас нет иных заявлений? — с нажимом на «полагаю» произнес он, как бы с благодушной иронией, как бы давая ей понять, что понимает, для чего она его вызвала, и давая понять, что благодушно извиняет ее, и тем самым призывая и ее быть столь же великодушной и терпеливой, верить ему и спокойно ждать.

— Нет, — ответила Аграфена.

— Жалоб нет?

— Нет. Впрочем, есть. Холодно здесь.

— Теперь везде холодно. Но я распоряжусь, чтоб лучше топили.

Поклонился и вышел.

3

Выйдя из камеры Долгушиной, Дудкин направился к камере Татьяны Сахаровой, сидевшей здесь же, только в противоположном конце коридора, у самого выхода. Никакого дела к ней не было, и заходить к ней не собирався, хотел лишь взглянуть на нее в глазок,

просто взглянуть на красивую женщину, посмотреть, что делает. Сахарова держалась на допросах с твердостью ее образованных друзей-мужчин, спокойная, величавая, только улыбалась ослепительно в ответ на призывы к откровенности, факты печатания и пропаганды отрицала: ничего такого не видела, не знала. Уговорить ее дать откровенные показания удалось лишь после того, как все открыла в своих признаниях Долгушина. Сахарова вынуждена была подтвердить эти признания, чтобы облегчить положение Долгушиной, которая в противном случае оказывалась как бы в положении лже-свидетельницы. Но и эти показания она дала с величавым спокойствием.

Сахаровой, однако, в ее камере не было, накануне ее перевели в лазарет, в связи с каким-то осложнением ее беременности, объяснила надзирательница. Дудкин направился в мужское отделение тюрьмы.

Была у него на руках еще одна записка из этой тюрьмы с заявлением о желании сообщить нечто важное, но это заявление было иного рода, чем лукавое от начала и до конца заявление Долгушиной, к нему следовало отнестись серьезно, возможно, тут в руки шло долгожданное откровение одного из деятельных участников пропаганды. Записка была от Анания Васильева.

С некоторых пор стал как будто поддаваться этот дерзкий крестьянский парень, державшийся на допросах с непонятной заносчивостью. Сидевший первое время довольно спокойно, дни напролет читавший Евангелие, вдруг начал проявлять нервозность, забросил чтение, стал часто осенять себя крестным знаменем, прежде вовсе не крестился, явно в нем назревал душевный перелом. Этого от него ждали. Если и было от кого из участников долгушинского кружка ждать признаний, то, конечно, от него. Его образованные товарищи были люди отпетые, убежденные социалисты и народники,

начитанные, самостоятельно выработавшие свои убеждения, они видели положительный резон в своем самоотвержении, в бескорыстном служении народу. И их можно было понять. Представители привилегированного сословия, получившие образование на счет народа, своим самоотвержением они как бы возвращали долг народу. А какой резон в самоотвержении мог видеть крестьянский юноша, едва освоивший грамоту? Набравшийся от студентов вредных идей, не мог он быть убежденным пропагандистом. Его следовало выдержать в строгой изоляции несколько месяцев, воздействовать на него внушением истинных принципов, дать ощутить мощь и нерушимость законного порядка, на который он вздумал поднять руку, при этом успокаивая и обещая облегчение его положения в случае его сознания, и рано или поздно он заговорил бы, не мог не заговорить.

Бунтарю из народа не из чего упираться. Бывают, конечно, исключения. Не все крестьяне из выявленных, с которыми имели дело пропагандисты, охотно свидетельствовали против них, иные, чувствовалось, были прямо замешаны в преступном содействии пропагандистам, но ухватить их было не за что и запирательство их было особенным, мрачным и мстительным, такими были братья Курдаевы, Максим и Кирилл Кондратьевы, которых пришлось арестовать и содержать в отдельных помещениях. Но Ананий Васильев был не из безнадежных, молодой, горячий, он жадно хотел жить, был сообразителен, с ним можно было вести игру. Нужно было только время. Этого не понимали или не хотели понять в Петербурге, оттуда раздавался один призыв: скорее, скорее...

Воздействуя на Васильева, пошли на то, что разрешили ему свидание с матерью, в расчете, что она постарается убедить его быть откровенным, она со слезами умоляла его об этом, и он плакал, но все-таки не под-

давался. Сообщили ему откровенные показания Долгушиной и Сахаровой, в которых говорилось и о нем как участнике преступных замыслов долгушинского кружка, он и после этого еще держался. И вот только теперь, похоже, стал ломаться. Время брало свое.

Но и теперь еще не следовало спешить. Дудкин отнюдь не собирался теперь же явиться к Васильеву. Тот ждет его именно теперь, в обычный час посещения тюрьмы начальством. Ждет и готовится к его появлению. Мало ли что у парня на уме? Возможно, готовится хитрить, в расчете не все выложить. Нет, надо захватить его врасплох, в ту минуту, когда он уже потеряет надежду дождаться следователя, будет в ужасе от перспективы предстоящей пустой ночи. Дудкин не пожалеет времени, приедет сюда сегодня еще раз, вечером. А пока только посмотрит на него.

Мужское отделение тюрьмы было этажом выше, такая же железная дверь, каменный пол, камеры с обеих сторон. Проходя мимо камеры Долгушина, заглянул в глазок, получилось нескладно, закрывавшая глазок круглая чугунная заслонка вырвалась из пальцев и звонко брякнула о железо, которым была обита дверь, но, похоже, обитатель номера не услышал или не обратил внимания на стук, он сидел за столом и с увлечением писал, то низко наклоняясь к листу бумаги, то резко откидываясь назад, лицо было оживленное, выражение его менялось быстро, Долгушин улыбался, хмурился, снова улыбался.

Иначе отозвался на стук Васильев, вышло так, что и у его двери не справился Дудкин с тяжелой неудобной заслонкой, она загремела, и Васильев, вздрогнув, метнулся к двери с середины камеры, подойдя вплотную, сам уставился в глазок с напряженным ожиданием; смотреть вот так, глаз в глаз, было неприятно, Дудкин поспешил опустить заслонку.

Долгушин действительно был увлечен и не слышал грохота заслонки. Он был занят работой, которую давно задумал и необходимость которой особенно живо почувствовал во время летних своих бесед с крестьянами о будущем устройстве жизни, жизни после победы народной революции. Тогда, на свободе, был недосуг заниматься делами подобного рода, все силы и время забирали насущные заботы, только успевай поворачиваться, теперь можно было позволить себе заняться этим.

Основательные, вдумчивые крестьяне, с которыми случалось говорить о будущем, вроде сареевского старосты Никиты Борисова или покровских Егорши Филиппова и Демьяна, народ дотошный, едва проникшись убеждением в неизбежности народной революции, непременно тут же любопытствовали узнать: после того как старый порядок будет разрушен и с ним отменены старые законы, на каких же законных основаниях начнется построение новой жизни или не будет никаких законов и всякий человек будет сам себе закон? А если все же жизнь будет строиться по законам, то где они, эти будущие законоположения, хотя бы главные, записаны, можно ли с ними ознакомиться, как будет распределяться земля между трудящимися, бери, сколько сможешь обработать, или иначе как? Как же именно?

В самом деле, с чего начнется построение новой жизни, как будут вводиться ее основания, социалистический порядок, — декретами новой власти? А декреты откуда возьмутся? Нужно время, чтобы их разработать. Значит, новая власть, прежде чем приступить к основному делу — практической организации жизни на новых началах, вынуждена будет законодательно разрабатывать эти начала? И это в условиях, вероятно, нелегких, возможно, в условиях вооруженной борьбы с противни-

ками нового строя своими национальными или даже иноземными, как было во Франции во время Коммуны? В таком случае почему не подумать об этом заранее? Разумеется, нелепо было бы и думать, что можно заранее предусмотреть все формы, в которые отольется новая жизнь. Но почему не попытаться разработать хотя бы элементарные формы организации этой будущей жизни? Что делать рядовому человеку, тому же крестьянину, на другой день после того, как он узнает о победе народной революции? Ждать декретов центрального правительства? Или тут же, немедленно, самому приниматься за дело строительства новой жизни? Ясно, что же может быть драгоценнее, желаннее его активного творческого участия в этом строительстве? И если он при этом будет иметь в голове более или менее определенный план действий, будучи заранее знаком хотя бы с элементарными приемами и правилами целесообразной организации жизни по-новому, дело государственного строительства пойдет несравненно успешнее, чем это было или, лучше сказать, могло бы быть у парижан времени Коммуны, приведишь Коммуне просуществовать подольше. С чего начинать крестьянину, как организовать местное самоуправление по-новому, построить отношения внутри общины, между своей и другими общинами, государством? — как переделывать землю? — строить отношения в земледельческих артелях, которые, разумеется, будут усиленно пропагандироваться новой властью как средство скоро поднять производительность крестьянского труда? И подобных вопросов только на уровне быта крестьянина возникало множество. Ответить на важнейшие из них следовало бы в каком-то своде правил и установлений, которые могли бы рассматриваться как прообраз законоположений грядущего государства. И было бы важной задачей пропагандистов доводить их до сознания народа уже теперь,

может быть и не менее важной, чем звать народ к революции.

Написать такой свод законов и было мыслью Долгушина. Эту работу он начал с первых дней заключения, как только ему разрешили пользоваться пером и бумагой. И начал с элементарного и, по его убеждению, фундаментального — с составления примерного устава будущего земледельческого товарищества. Мысль о примерном уставе товарищества занимала его уже несколько лет, с тех пор как впервые прочитал комментарий Чернышевского к экономике Милля. Набросав теперь план устава земледельческого товарищества, вынужден был взяться и за составление примерного устава товарищества заводских и фабричных рабочих, рассматривая его (подобным образом рассматривал и земледельческое товарищество) как полного хозяина своего производства и продукта. Одновременно обдумывал систему отношений между этими видами народных предприятий и между ними и государством.

Арест, следствие, будущий суд, вероятные каторга или ссылка — это мало его занимало, мало трогало, будто не его касалось, кого-то другого, и сам удивлялся порой, когда обращал внимание на то, что не чувствует особенных неудобств от перемены своих обстоятельств. Что, собственно, изменилось? Как и до ареста, он делал дело и делал его, он это чувствовал, успешно, верил в него — что еще нужно? К лишениям материального порядка он давно привык, ничем таким тюрьма не могла его взять, даже сырость и холод каземата не понимали, сиднем за столом он не сидел, время от времени вскакивал, принимался бегать по камере, делал особые упражнения для рук, для ног. Та работа, которую он делал теперь, бесследно не могла пропасть. Он, конечно, не рассчитывал на то, что ему позволят взять с собой из

тюрьмы вот эти исписанные листы. Неважно. Когда понадобится, он всегда сможет восстановить текст по памяти. И сами эти листы не пропадут, Третье отделение сохранит их до лучших времен, до тех времен, когда написанное здесь можно будет приложить к жизни.

Не приходилось особенно сокрушаться и о том, что арест оборвал так удачно начатую пропаганду в народе. Все-таки дело сделано, как бы то ни было. То, что сделано, не пропадет, рано или поздно скажется. Скажется в действиях народа. Скажется и в действиях революционеров. Он и его друзья начали, другие продолжат дело, и, надо полагать, в ближайшее время у Слезкиных и Шуваловых прибавится хлопот с пропагандистами.

Одно только печалило его в эти дни — положение его семьи, Аграфены и сына. Бедная Гретхен, он понимал ее состояние, для нее тюрьма должна была быть пыткой, вся ее жизнь была сосредоточена на сыне, и эту ее неразрывную связь с ним рассекли, полоснув по живому. При этом страдала она за чужие грехи... Тогда, в сентябре, когда ее арестовали, а он еще был на свободе, первое, что пришло ему в голову, было уведомить генерала Слезкина о своей готовности отдаться властям, но с условием — они выпустят не виновную ни в чем его жену. Не успел осуществить эту мысль: сам был схвачен, на улице же, опознан в толпе агентом Слезкина.

Что мог он сделать для нее теперь? Пожалуй, только одно. Жаль, конечно, что она дала откровенные показания, но не ему судить ее за это, что сделано, то сделано, и помочь ей он может, признав хотя бы некоторые факты ее оговора, хотя бы факт сочинения «Русскому народу», тогда ее скорее выпустят, на это прозрачно намекал Дудкин на последнем допросе. Жаль, не хотелось бы облегчать этим господам их дело; но по существу пустяки все это...

Дудкин приехал затемно, в камерах арестованных горели керосиновые лампы.

Прежде чем войти к Васильеву, решил снова, на всякий случай, посмотреть на него в глазок. Оставив сопровождавшего его надзирателя у входной двери, тихонько двинулся по слабо освещенному коридору, мягко ступая, чтоб не дергались колесики шпор. Подойдя к камере Васильева, взялся за заслонку глазка, но не сразу поднял ее, прислушался. Никаких звуков изнутри камеры не доносилось. Поднял заслонку — и обмер от неожиданности: глазом своим уперся в ожидающий по ту сторону двери неподвижный, подсвеченный снизу, темный и жаркий глаз Васильева. Васильев как будто так и оставался здесь, за дверью, в том положении, в каком оставил его утром Дудкин, только теперь в руке у него была лампа, освещавшая снизу одну сторону лица. Дудкин опустил заслонку.

Войти в камеру теперь было невозможно. Дудкин пошел от двери, обратно к выходу, прежним мягким шагом. Пусть Васильев подумает, что заглядывал в глазок надзиратель.

Выждав несколько, вернулся к камере, обычным шагом, не таясь, невольно даже подшаркивая каблуками, чтоб громче брякали шпоры. Надзиратель отпер дверь, Дудкин вошел. Васильев был уже на середине камеры, лампа стояла на столе.

— Ну-с? — Дудкин встал так, чтоб свет падал на лицо Васильева. Тот был бледен, напряжен, дрожал, будто его била лихорадка. — Говори. Что ты хотел сообщить?

— Хотел... — у парня судорожно лязгнули зубы, возможно, у него и в самом деле была лихорадка. — Вспомнил адрес...

— Говори все начистоту. Учти, Васильев, только искренним признанием можешь облегчить свое положение. Понимаешь ты это?

— Понимаю... Начистоту.

— Говори. Какой адрес ты вспомнил?

— Адрес девок...

— Каких девок? — нахмурился Дудкин.

— Ночевал у них... как пришел в Москву. Вы требовали указать. На Щипке дом Сниткина...

Дудкин вспыхнул:

— Ты что это? Шутить со мной вздумал? — грозно двинулся на Васильева. — Ты для чего меня вызвал — шутки шутить? Да ты знаешь, что я с тобой сделаю за такие шутки? Сейчас прикажу перевести в карцер, на хлеб, на воду! Говори все! Или...

— Нет! — закричал Васильев и упал на кровать, закрыв лицо руками. — Нет! Не могу-у...

Его трясло, теперь от рыданий. Дудкин топтался над ним, соображая, как лучше поступить, что-то нужно было еще сделать, чтоб заставить его заговорить, бедный малый готов был говорить, только не мог решиться; не придумав ничего лучшего, как продолжать давить угрозами, Дудкин сказал ледяным тоном, со зловещим оттенком:

— Ну, пеняй на себя...

И тяжело пошел к двери.

Ананий лежал на кровати лицом вниз, плакал и в то же время чутким ухом ловил шаги уходившего следователя. Один шаг, два шага... Если бы знал, что это такое — одиночное заключение, не стал бы связываться с прокламациями. Если бы знал... Впрочем, знал. И в том весь ужас, что, прекрасно зная, чем это может кончиться, все-таки взялся за это. Но уж очень он тогда ожесточился на все и на всех, помыкавшись без работы, без денег, без надежды хотя когда-нибудь устроиться в

жизни по-человечески, слишком хорошо понимая, что человеческая жизнь — не для тех, кто живет своим трудом. Потянуло снова к Долгушину и той атмосфере, которая была вокруг Долгушина, не потому, что проникся вдруг его правдой, нет, в сказки о будущем царстве трудящихся он тоже не верил, но то, что затевали Долгушин и его друзья, было направлено против ненавистного настоящего порядка вещей, било по этому порядку, а этого хотелось тогда Ананию больше всего: бить, бить, бить. Распространяя прокламации, он как бы рассчитывался за все унижения, которые приходилось ему терпеть когда-либо в жизни. Это было счастливое время. И даже в тюрьме, вначале, было у него такое чувство, как бы еще продолжалось это счастливое время. Доставляло редкое удовольствие, никогда прежде он ничего подобного не испытывал, держать себя высоко со всеми этими генералами и штабс-капитанами, сознавать, что они от тебя зависят, — они у тебя в руках, не ты у них... Третий шаг... А потом что-то случилось, он не мог понять что, но его однажды обдало ужасом при мысли, что ведь он, пожалуй, может и всю свою молодую жизнь оставить в этих сырых степях. Ради чего? Потом его потрясли показания Аграфены и Татьяны. Дух захватывало от мысли: Аграфена и Татьяна скоро выйдут на свободу, потому что открылись, и он мог быть на их месте, если бы... Тогда же стали мучить бессонные ночи, никак не мог уснуть от возбуждения, в каком находился весь день, а засыпал, — мучили одни и те же раздражающие видения, все снились летние приключения с девками в Сарееве, и сладкие эти сны обрывались лязгом железной двери, входил солдат с ломтем хлеба и кружкой горячей воды... Четвертый шаг... Сейчас со скрежетом закроется дверь и опять сомкнутся холодные стены, и будут донимать мучительные сны... За что? И можно же, можно от всего освободиться!.. Чем он виноват, что

не в силах больше здесь оставаться? Чем виноват, что молод, еще не жил... Закрывается дверь...

— Пойдите! — вскочив, метнулся Ананий к двери. — Я не все сказал... Скажу о пропаганде. Начистоту...

— Ну-с? — приостановился, полуобернулся к нему Дудкин.

— Разносил книжки... — Ананий судорожно перекрестился и заговорил торопливо, спеша назвать факты, опуская подробности, как бы боясь, что не хватит сил все сказать. — «Русскому народу» и «Как должно жить»... Мне было указано идти по Петербургскому шоссе... А перед тем ходил в деревню Грибаново с Плотниковым и потом с Долгушиным к тому крестьянину, которого мне на этих днях представляли... Долгушин читал из «Русскому народу», и толковали...

— От кого получил книжки, когда отправился по Петербургскому шоссе? — спросил Дудкин, вновь входя в камеру, поворачиваясь к Васильеву так, чтоб они оба могли видеть глаза друг друга.

— От Долгушина...

— Где и как?

— В квартире Кирилла Курдаева... в его квартире в комодке хранились книжки...

— Кто при этом был?

— Все были, кто шел на пропаганду. Долгушин, Дмоховский, Папин с Плотниковым...

— И Курдаев?

— Курдаев с книжками не ходил.

— Как вы сошлись на квартире Курдаева? Пришли порознь? Все вместе?

— Вместе. Ночь все ночевали у Далецкого, как приехали из Сареева, и утром пошли к Курдаеву...

— И что дальше?

— Поделили между собою книжки и пошли по деревням, кто куда. Я пошел по Петербургскому...

— Тебе известно, где печатались прокламации? — перебил Анания Дудкин, пробиваясь к более важным фактам.

— Долгушин говорил мне, что у него на даче, в подполье...

— А кто сочинил их — тебе известно?

— Книжку «Русскому народу» сочинил Долгушин. Еще когда жили в Петербурге...

— А другую прокламацию — «Как должно жить»?

— Мне говорил Плотников, что ту сочинил Флеровский, к которому они ездили за ней куда-то...

— Ты не ошибаешься?

— Нет. При мне был у них разговор о Флеровском и об той книжке, и Плотников сказал...

— Ладно, эти подробности ты изложишь в управлении, мы сейчас едем с тобой туда, и все, что ты мне сказал, со всеми подробностями повторишь там, понял? В письменном показании.

Ананий, бледный, снова судорожно перекрестился.

6

Утром во вторник 27 ноября, в тот самый час, когда в Москве генерал Слезкин отправлял в Петербург графу Шувалову составленную им с помощью Дудкина длинную ликующую депешу о признаниях Анания Васильева, рапортуя о добытых наконец недостающих уликах к осуждению московских пропагаторов, главное — Долгушина, и сверх того об уликe против Берви-Флеровского, в этот час в Петербурге граф Шувалов входил в просторный светлый зал заседаний Комитета министров.

Почти все господа — члены Комитета были в сборе, располагались вокруг овального стола. Над высокими спинками кресел выступали проборы и лысины сидевших спиной к входу, выше всех, над всеми головами,

как бы парила высоко поднятая голова Валуева. Шувалов прошел на свое место, за креслом министра финансов Рейтерна, прямо против Валуева. Следом за Шуваловым вошли Горчаков и Игнатъев. Игнатъев, резкий в движениях, слишком даже резкий для своих семидесяти шести лет, висячим носом и острыми глазками под косматыми бровями напоминавший известные изображения Ивана Третьего, сел на председательское место и стукнул молоточком по столу, открывая заседание.

Первым был вопрос о выделении, по представлению министра внутренних дел Тимашева, миллиона рублей в пособие голодающим Самарской губернии, разбиравшийся еще на предшествовавшем заседании Комитета. С ним покончили скоро, и председатель предложил Валуеву продолжить чтение его доклада о сельском хозяйстве.

Валуев, однако, не стал читать, заявил, что прежде следовало бы Комитету министров решить вопрос о порядке рассмотрения выводов доклада. Где и как будут рассматриваться они и вырабатываться меры, в том числе законодательные, необходимые для исправления отмечаемых отрицательных явлений в сельском хозяйстве? Будут ли они рассматриваться в самом Комитете министров, пункт за пунктом (а всех пунктов в докладе около восьмидесяти)? Будут ли рассматриваться лишь важнейшие пункты? Или возможен иной порядок? Поставив эти вопросы, Валуев умолк.

— Возможен, — заговорил Шувалов. — И в данном случае необходим. Позвольте, скажу об этом.

Шувалов встал, стоя удобнее было говорить.

— Господа, хочу обратить ваше внимание на особенность представляемых материалов, прямо указывающую необходимый способ их рассмотрения.

Заговорил Шувалов спокойно, ровно, и слушатели его были спокойны, не рассчитывали услышать что-либо

неожиданное. У Игнатьева вид был рассеянный, явно в мыслях еще не отлетел от прений по поводу самарского голода и выделенного миллиона, на лице Милютина было обычное терпеливое и бесстрастное выражение. Неужели, подумал Шувалов, не изменится это выражение, когда услышит он о представительстве, не встрепенется с надеждой? Выступит противником, как всегда? Лишь министры-союзнники, участвовавшие в особых совещаниях у Шувалова, слушали с напряженным вниманием.

— Выявленные сельскохозяйственной комиссией разного рода недуги страны стали вследствие допущенной гласности хорошо известны обществу, это обстоятельство обязывает правительство и при определении мер уврачевания недугов не отгораживаться от общества китайской стеной привычного келейничания, напротив, всемерно стараться использовать возможности активного содействия и прямой помощи с его стороны. Такая помощь теперь, по-видимому, решительно необходима. Громадный объем и сложность, специальный характер требующих разрешения вопросов не оставляют надежд на то, чтобы можно было их разрешить административным путем.

Длинная эта и осторожная фраза все же как будто насторожила Игнатьева, он стал прислушиваться. Милютин, Горчаков явно скучали.

— Помощь со стороны общества должна выразиться в участии его представителей в обсуждении упомянутых специальных вопросов. Кого же следовало бы привлечь к обсуждению хозяйственных, требующих законодательного решения, вопросов? Думаю, прежде всего представителей нашего всесословного земства. Однако я имею в виду не существующую практику передачи отдельных хозяйственных вопросов на обсуждение земских учреждений на местах, эта практика не всегда себя оправ-

дывает. Я имею в виду вызов представителей земств в центральную законосовещательную коллегия — представителей от всех губерний...

Игнатъев заволновался, догадываясь, куда клонится речь Шувалова, но еще как бы не веря ушам своим, еще как бы надеясь, что все подозрительные подходы Шувалова все-таки выльются в конце концов в привычно-консервативное благонамеренное предложение, он весь теперь обратился в слух, навалился на край стола, смешно наклонив голову, выставив ухо вперед.

И Милютин забеспокоился, но не по существу услышанного, забеспокоился от недоумения, заметив чрезвычайное волнение Игнатъева и других членов и не понимая причины этого волнения. И тоже стал прислушиваться внимательнее.

— Было бы, как мне представляется, полезным передать обсуждение поднятых комиссией по сельскому хозяйству вопросов в одну или две особые комиссии, составленные как из представителей соответствующих ведомств, так и в выб о р н ы х от земских учреждений экспертов, — Шувалов выделил голосом «выборных», теперь он говорил в открытую, важно было недвусмысленно изложить суть предлагаемого нововведения. — Эти смешанные комиссии и займутся рассмотрением законопроектов. О числе и составе выборных от земства, как и о порядке их избрания в губерниях, должно будет говорить особо. Хочу еще раз выразить свое совершенное убеждение в том, что только при условии совместного труда правительства и общества можно рассчитывать на всестороннее обсуждение проектируемых законодательных мер и на совершенную их целесообразность. Эта мысль разделяется и государем императором. Мы обсуждали вопрос о призыве выборных от земства в начале осени в Ливадии. Государь соизволил признать сие благим начинанием.

Теперь Игнатьев был испуган, растерян, нервничая, прыгал в своем кресле, серые дряблые щеки порозовели; к концу шуваловской речи, чувствовалось, он был искушаем сильным желанием прервать Шувалова, но не осмеливался это сделать. Ссылка Шувалова на государя, будто бы одобрявшего идею призыва выборных, потрясла его, он лихорадочно соображал, пытаясь осмыслить этот факт, совершенно, казалось бы, невысказанный.

А Милютин еще недоумевал. Ему непонятно было возбуждение, охватившее председателя и других членов Комитета, он не видел ничего необычного в речи Шувалова, правда, она производила впечатление либеральной, но ведь это была видимость, шеф жандармов всегда отличался в речах свободой выражений, склонностью к эпатажу, и все это в конце концов оборачивалось аристократической тенденцией; так должно было быть и теперь, что же тут было бесноваться?

Озадачены, удивлены были Горчаков, товарищ министра финансов Грейг и иные, даже Рейтерн, один из тех, кто был предупрежден о готовившейся попытке предложить земское представительство, но, видимо, не ожидал, что оно будет предложено в такой прозрачной форме.

Шувалов посмотрел на Валуюева, тот, конечно, тоже почувствовал опасное настроение собрания. Валуюев попросил у председателя разрешения говорить, заговорил не вставая:

— Полагаю, следует принять предложение графа Шувалова и записать это решение в журнал заседания, обязав графа Шувалова подготовить к очередному заседанию детально разработанный письменный проект организационной основы смешанных комиссий и порядка выборов депутатов от земских учреждений...

— Да, считаю это полезной и своевременной мерой, — подал голос Тимашев, участник особых совещаний.

— И мое мнение...— заговорил было Бобринский, министр путей сообщения, тоже участник особых совещаний, но председатель был на страже, прервал его.

— Позвольте! — не мог более Игнатъев терпеть эту демонстрацию единства сторонников Шувалова. Пора было ему брать инициативу в свои руки. Пора, пока не поздно... Обратился к Шувалову.— Вы изволили выразиться: «мы обсуждали» вопрос о выборах в Ливадии. Кто это «мы»? Вы и государь?

— Да.

— И государь одобрил все ваши предположения?

— Государь одобрил мысль о призыве представителей земства.

— Представителей земства или выборов от земства?

— Выборных представителей земства.

Игнатъев смотрел на Шувалова недоверчиво, не зная, верить ему, не верить, страшно было тут попасть впросак, Шувалов мог неверно истолковать какие-то слова государя, относившегося враждебно к любым конституционным проектам; но, с другой стороны, с чего бы вдруг шефу жандармов проповедовать конституцию, ему зачем это нужно? Сбивали с толку спокойствие, уверенность Шувалова.

— Ну, допустим. Так чего же вы хотите — конституции? — спросил Игнатъев прямо.— Что означает эта ваша центральная законосовещательная коллегия? Эти смешанные комиссии? Земский собор? Парламент?

— Речь идет об элементах общественного представительства, не больше того,— возразил Шувалов.

— И вы уверены, что эти ваши элементы сочетаются с началами самодержавия?

— Мы, кажется, говорим о сельском хозяйстве,— Шувалов начинал терять терпение.— Предлагаемая мера направлена на разрешение определенных затруднений в сельском хозяйстве...

— Ну так и нечего огород городить! Для решения хозяйственных вопросов нет надобности прибегать к сомнительным нововведениям,— подхватил с облегчением Игнатьев, решившись наконец выставить свое возражение; даже если эта предосторожность и не будет одобрена государем, она, во всяком случае, не вызовет его гнева.— Эта мера противоречит самому характеру земских учреждений, задачи которых ограничены рамками местного хозяйства.

— Не понимаю, почему не вести дело обычным порядком? — заговорил Милютин; он-таки действительно ничего не понял.— Созывать представителей всех губерний в одну или две выборные комиссии для рассмотрения всего множества сельскохозяйственных вопросов крайне неудобно. Обсуждение неизбежно затянется.

Милютина неожиданно поддержал Рейтерн:

— Мне также представляется нецелесообразным вызов представителей от всех губерний. И что означает — выборных? Специально избираемых для участия в законодательстве? Избираемых на особых выборах? Предложение графа Шувалова нуждается в детальной разработке, чтоб о нем можно было судить не гадательно,— говорил Рейтерн невнятно, избегая смотреть на Шувалова и Валуева.

Игнатьев обратился к другим министрам, предлагая высказаться. Промолчал, пряча глаза, так и не заговоривший Бобринский, промолчали, будто их не касалось происшедшее, участники особых совещаний статс-секретарь Урусов, министр народного просвещения Толстой, сказал что-то неопределенное министр юстиции Пален. Согласились с Игнатьевым, сочтя предложение Шувалова неприемлемым, Горчаков, Грейг, Краббе (морское ведомство), принц Ольденбургский (военно-учебные заведения), Адлерберг (министр двора)... Чего было больше в их решении — ханжества, равнодушия? Заво-

рожденные испугом Игнатьева, не посмели и подумать об ином?..

Игнатьев, волнуясь, торопливо подводил итог:

— Большинство оценивает предлагаемую меру отрицательно, как нецелесообразную и опасную. В журнал записывать не будем. Итак...

— Полагаю, произошло недоразумение, — властным тоном остановил председателя Шувалов. — Я допустил ошибку, поспешив изложить свое предложение устно, не составив прежде детального письменного проекта. Полагаю, если бы это было сделано, об опасности его не могло быть речи. Оставляю за собой право составить такой проект и представить его Комитету для обсуждения.

— Это как угодно, — согласился Игнатьев и закрыл заседание.

Выйдя из зала заседаний вместе с Валуевым, Шувалов заговорил с горечью:

— В чем наша ошибка, Петр Александрович? Неужели выскочили прежде времени? Неужели нужно, чтоб почва под ногами заколебалась?

— Привыкайте к поражениям, — с невозмутимой улыбкой заметил Валуев. — Смотрите на меня. Я дважды был в подобном положении. Ничего, как видите...

— Что же теперь делать?

— Отказаться от принципа выборности экспертов. Этот пункт всего более напугал нашего председателя. Смешанные комиссии должны быть скромными по составу, с кругом задач не обширным. И я бы на вашем месте не ограничивался земцами. Если призывать земских председателей, почему не призвать и дворянских предводителей?

— Первое, второе, третье, — усмехнулся Шувалов. — Что же останется от представительства?

Шувалов намеренно пропустил вопрос о предводителях дворянства, не хотелось перед Валуевым обнаружи-

вать свое отношение к этому щекотливому пункту, глава «аристократической партии» отнюдь не разделял упований Валуева на благородное сословие. Валуев холодно пожал плечами:

— У вас нет выбора.

— Да, вы правы. У меня нет выбора.

Не было смысла продолжать разговор. При этом Шувалова не оставляло ощущение, что Валуев был едва ли не удовлетворен исходом состоявшегося обсуждения. Обсуждался проект политической реформы, которому он, безусловно, сочувствовал, но ведь это был не его проект; его собственный проект, близкий по сути этому, дважды отвергавшийся, пылился в дальнем ящике его письменного стола.

7

На другой день, в среду, собираясь к десяти утра во дворец на доклад у государя, Шувалов захватил с собой телеграмму Слезкина о признаниях Анания Васильева. Наконец-то можно было поставить точку на московском деле. Жаль, что не раньше.

Государь ждал Шувалова с заметным нетерпением и сразу заговорил о московском деле. Шувалов прочитал ему депешу Слезкина, потом справку о последних арестах и допросах пропагаторов в Петербурге.

— Не понимаю,— сказал Александр озабоченно.— Откуда эта напасть? Скажи, Шувалов, прямо, что ты об этом думаешь? Впрочем, я знаю, что ты думаешь. Наслышан о вчерашнем Комитете министров. Прочти-ка.

Он подал Шувалову несколько листков плотной бумаги, велел читать теперь же, сам принялся расхаживать по кабинету, от стола к двери и обратно. Когда проходил мимо читавшего Шувалова, с интересом взглядывал на него.

Это было письмо Игнатьева, написанное вчера после

заседания Комитета и, возможно, вчера же переданное государю. Игнатъев описывал ход заседания, называл его скандальным, оценивал предложение Шувалова как конституционное, направленное на ослабление самодержавного принципа, и хотя отвергнутое большинством членов Комитета, но опасное тем, что сторонники готовились сделать еще попытку поставить его на обсуждение Комитета.

— Видишь, как принимают министры идею представительства, как ты их напугал,— сказал Александр, заметив, что Шувалов кончил чтение.— Как с этим не считаться? Ты, Шувалов, предлагаешь невозможное. Я тебя предупреждал, что у тебя будут трудности, когда вздумаешь провести свою реформу, и не только из-за меня. Ладно, об этом после. Так что ты скажешь о причинах нынешней смуты молодежи?

— Скажу, что уже имел случай изложить вашему величеству. Все болезненные явления в общественной среде проистекают от одной причины — от недостатка внутренней политической жизни...

— Нет, Шувалов, ты ошибаешься,— перебил его Александр, подойдя вплотную к нему, чтоб смотреть сверху вниз, любил свой высокий рост, любил лишний раз напомнить о нем собеседнику.— Они проистекают от другой причины — от недостатка воли правительства. Теперь мне это, как никогда, ясно. И обратно: в условиях смуты правительство не может, не теряя престижа, идти на уступки обществу. Хочешь провести свою реформу — добейся спокойствия и равновесия всех элементов в общественной среде. Бери пример со своего приятеля Бисмарка. Но ты, кажется, слишком мягок для этого. Или устал? Я слышал, будто ты мечтаешь оставить свою должность и уехать послом в одну из европейских столиц. Что бы ты предпочел, если бы я тебя отпустил,— Берлин, Париж, Лондон?

«Вот оно! — подумал Шувалов. — Вот и конец... И слава богу. Конец — делу венец...»

— Предпочтительнее Лондон, — ответил едва ли не дерзко Шувалов.

— Я запомню, — удивленно помолчав, сказал Александр. — А пока ступай и исполни свой долг. Подумай, что нужно сделать, чтоб прекратилось это безумие молодежи. Буду ждать от тебя подробных предположений.

Взбешенный, выскочил Шувалов из кабинета. «Управлять государством — как помещик вотчиной! — думал об Александре с негодованием. — Значит, почва еще не колеблется... еще не колеблется...»

8

Когда Шувалов вернулся на Фонтанку, ему доложили, что его дожидается пришедший, как было назначено, Любецкий. Шувалов досадливо поморщился, теперь нужды в этом господине уж не было, о чем с ним говорить? Все же приказал провести его в кабинет.

Любецкий был взволнован, голос заметно дрожал, когда, доложив, что поручение исполнил, он подал Шувалову записку. Шувалов пробежал текст глазами. Любецкий признавался, что прокламации летом в Москве он получил от Долгушина, что Долгушин требовал распространить их среди рабочих на фабриках, где бывал Любецкий. Объяснял, почему не могли найти его в Москве посланные от Филиппеуса: будто бы ему угрожали расправой нигилисты, заподозрившие его в том, что он навел жандармов на долгушинцев, и ему пришлось скрываться. Просил при этом освободить его от тяжелой для него обязанности явиться свидетелем в суд... Жалкая записка. Жалкая, ничтожная личность писавшего. Шувалов держал записку в руках, раздумывая, как поступить. Конечно, можно было бы использовать свидетельство Любецкого. Но стоило ли? Мало что прибавляло

оно к тому, что уже открылось показанием Анания Васильева. И какое все это теперь могло иметь значение? Теперь, когда все кончено?..

— Что же вы, Любецкий, предаете своих? — спросил с нехорошей улыбкой. Тяжелая волна отворачивания от всего, с чем связан был последние годы, поднималась в душе, и этот жалкий, изломанный человек, стоявший теперь перед ним, как бы олицетворял собою зыбкость, сомнительность результата всех усилий этих лет.

Семнадцать лет шел к власти, упорно, целеустремленно поднимаясь со ступеньки на ступеньку административного успеха, и вышел на первый план политической сцены, стал для государя первым советником, ни одно важное решение по делам внутренней и в значительной мере внешней политики не принималось царем без предварительного обсуждения с ним, Шуваловым. Зачем ему нужна была власть? Она нужна была не сама по себе, власть была средством сделать в России то, чего не мог бы сделать ни бесхарактерный Александр, ни слабая дворянская или нигилистская оппозиция, никто, только он, Шувалов. Еще в несчастную Севастопольскую кампанию он понял, как поняли многие в то время, что Россия с фатальной неизбежностью должна рано или поздно прийти к тем же либеральным учреждениям, к каким пришли страны Европы, — закон развития для всех европейских стран един. Неразумно и даже опасно было бы противиться естественному ходу вещей. Следовательно, России нужны были коренные реформы, не такие убогие, какие задумывались и проводились под властью Александра-«Освободителя». И одной из первых реформ должна была стать замена самодержавия представительным правлением. Время цезаризма прошло, немислимо, чтобы кто-то мог быть теперь одновременно и военным царем, и гражданским первым мужем в Государственном совете, вся полнота власти в государстве должна

принадлежать коллегии способнейших деятелей, некоему подобию Земского собора, только, как в Европе, на началах выборного представительства и сменяемости. Парадокс, однако, заключался в том, что сделать это могло в России лицо, обладающее именно полнотой власти. Могущественный человек должен был даровать России конституцию и, подобно американцу Вашингтону, добровольно уступить власть конституционному правительству. К этой миссии готовил себя Шувалов, самой судьбою предназначенный стать спасителем отечества — случайностью рождения в знатной и богатой семье, близостью ко двору (воспитывался вместе с детьми императора Николая Павловича), безусловным административным даром, который проявил еще в самом начале карьеры, в должности петербургского обер-полицмейстера. Делая карьеру, до поры не открывал свои карты: находясь около государя, невозможно было бы иначе двигаться вверх по служебной и общественной лестнице. Все эти семнадцать лет оставался в глазах государя и его окружения человеком консервативных взглядов, главой «аристократической партии». И вот, когда решил, что пора — пришла, теперь все и рухнуло? Неужели, правда, поспешил выскочить со своим сокровенным? Или недооценил государя?..

Любецкий растерялся:

— Но ведь вы же... Сказали, что нужно...

— Не нужно, — Шувалов разорвал записку пополам, потом еще раз пополам, скомкал обрывки и выбросил в корзину. — Вы, Любецкий, мне больше не надобны.

Любецкий, оглушенный, стоял, не понимая, чего от него хотят.

— Вы свободны. Вас больше не будут беспокоить по этому делу, — сказал Шувалов, отворачиваясь от него. Любецкий смотрел на графа со страхом.

— Ну, что вам еще непонятно?

— Что же мне делать? — пролепетал Любецкий.

— Ну, это ваша забота! Это как знаете. Это... — Шувалов, задыхаясь, хотел было прибавить грубо: «хоть застрелитесь», — но не прибавил, удержался.

Любецкий вышел.

Несколько дней спустя Шувалову доложили, что Любецкий покончил с собой при обстоятельствах, однако, загадочных, в кармане его сюртука нашли предсмертную записку, которая свидетельствовала о самоубийстве, но огнестрельная рана, от которой он умер, в спину под лопатку, не могла быть панесена им самим, притом на месте его гибели, в запертом изнутри номере петербургской гостиницы, не оказалось оружия, из которого был произведен выстрел. Однако записка точно свидетельствовала о самоубийстве. О том же свидетельствовало и письмо Любецкого к Шувалову, посланное Любецким в день гибели по городской почте, всего полстранички рыхлой дешевой почтовой бумаги: «Ваше сиятельство! Вы однажды мне объяснили, в чем моя беда. Вы правы, сидеть между двумя стульями неудобно. Но что делать человеку, который предпочел бы не сидеть ни на одном из стульев, да обстоятельства не предлагают выбора? Обстоятельства сильнее человека, и никому не дано парить над ними, даже Вам. К сожалению, я понял это слишком поздно. Ведь и Вы — банкрот на балу жизни. Ваши социальные проекты обречены, потому что Вы не реформатор, Вы игрок, для Вас азарт игры важнее интересов людей, на которых направлены Ваши реформы. Но люди — не деревянные фигурки, они-то и создают обстоятельства, в которые мы попадаем. Зачем я перед Вами изливаюсь? Все-таки легче умирать с мыслью, что не один ты — ничтожество». Подписи не было. Шувалов прочел, вернулся к середине письма, где гово-

рилось о нем, и еще раз прочел. Письмо его не задело, не вызвало никаких мыслей, разве только он отметил про себя, по привычке, что слог хорош, и порвал его. Дознание по этому делу распорядился не производить.

9

В июле 1874 года судом особого присутствия правительствующего Сената — суд происходил в Москве — Долгушин и его товарищи по московскому кружку были приговорены к каторжным работам на длительные сроки, наибольший срок получили, по десяти лет, Долгушин и Дмоховский, наименьший, два года и восемь месяцев, — Ананий Васильев. Берви-Флеровский к суду не привлекался, уличавших его показаний Анания Васильева оказалось недостаточно для этого, других улик следствие добыть не смогло, и Берви, на основании «убеждения» властей в крайней сомнительности его личности, был наказан в административном порядке, сослан в Мезень. Царь оставил приговор по делу долгушинцев без изменений, смягчив наказание только Ананию Васильеву, в уважение его откровенных показаний, заменил ему каторгу двумя годами заключения в рабочем доме.

Иного ждать от Александра не приходилось. Неприязненное отношение его к этим пропагандистам поддерживалось теми сведениями о них, которые он получал в ходе процесса. Во время разбора дела долгушинцев он требовал от шефа жандармов — нового шефа, Шувалов к этому времени уже оставил должность и готовился к отъезду в Лондон послом — требовал ежедневных сведений об их поведении на суде, о настроении публики. Его беспокоило сочувственное отношение публики, особенно молодежи, к обвиняемым, которые и на суде держали себя вызывающе, пытались проповедовать свои революционные убеждения; беспокоили также факты

сбора денежных пожертвований в пользу новых каторжников. Причем в сборе пожертвований участвовали адвокаты долгушинцев. Защищавший Долгушина присяжный поверенный Утин собрал, как доносил агент, в два дня двести рублей и передал их Аграфене Долгушиной, готовившейся, по словам агента, сопровождать мужа в Сибирь...

Аграфена действительно собиралась в дорогу. Хотела уехать еще до суда, сначала в Красноярск, к отцу Александру, служившему там, оставить у него маленького Сашу и затем уж ехать туда, куда сошлют долгушинцев, так условились они с Александром в письмах, когда им разрешили переписку; но ее заставили-таки явиться в суд как свидетельницу. На суде она отказалась давать показания, воспользовавшись предоставленным ей законом правом. И хотя это не помешало прокурору огласить ее злосчастные показания, данные во время предварительного следствия, тем не менее ее отказ произвел впечатление, дал повод защитникам обвиняемых поставить перед судом ряд неприятных для обвинения вопросов. После суда долгушинцы были вывезены в Петербург, следом за ними уехала и Аграфена, дожидаясь там приведения приговора над долгушинцами в исполнение, надеясь отправиться из Петербурга вместе с партией каторжан.

Между днем объявления приговора в суде и днем его исполнения прошло почти десять месяцев. Все это время Долгушин и другие осужденные на каторгу, шесть человек, просидели в Литовском замке в Петербурге. Сидели в двух соседних камерах, в одной — Долгушин, Дмоховский и Гамов, в другой — Папин с Плотниковым и Ананий Васильев. Режим был нестрогий, они часто сходились все вместе. Ананий держал себя на суде прилично, правда, от своих прежних показаний не отрекся, как это сделала Аграфена (и следом за ней Татьяна Сахарова, к несказанной радости Дмоховского), не дога-

дался отречься, как объяснил он после Долгушину, но и не гнулся перед судьями, отнюдь дерзил и даже пытался оправдать дело пропаганды, так что первоприсутствующему приходилось его обрывать. Когда он увиделся на суде с Долгушиным, он со слезами просил не держать зла против него, простить ему его слабость, объясняя свои откровенные показания тем, что чуть не сошел с ума в той страшной одиночке московского тюремного замка, да и был тогда же отправлен в больницу, провел в больнице несколько месяцев. Зла против него не держали, относились к нему по-товарищески, как и прежде, и, как прежде, он обращался то к одному, то к другому из своих товарищей, чаще к Дмоховскому и Долгушину, с вопросами о религии, о политике или из учебных предметов и с ним охотно занимались. Дмоховский часами объяснял ему устройство придуманных им воздухоплавательной паровой машины с виштообразными крыльями для вертикального взлета и многолемешного самоходного парового же плуга, показывал расчеты, чертежи, рисунки. Долгушин читал из рукописи свода будущих узаконений государства трудящихся, над которым продолжал работать. Когда пришла пора расставаться, когда каторжан увозили из Петербурга, Ананий же, освобожденный от каторги, оставался, именно ему передали на сохранение Долгушин и Дмоховский свои рукописи, чертежи...

В день исполнения приговора, 5 мая 1875 года, Долгушин, проснувшийся раньше своих товарищей, задолго до пробудки, проснувшийся от того, что приснилось что-то тяжелое, не сразу вспомнил, что это было, а вспомнить хотелось, потому что в том сне была и какая-то важная мысль, как будто дававшая разом ответ на все тревожившие ум и душу вопросы. Не вста-

вая с нар, он потянулся вбок, чтобы посмотреть на окно, скрытое в нише толстенной каменной стены. Из маленького окошка вытекал тусклый сумеречный свет, о погоде предстоящего дня судить было нельзя. И тут он вспомнил свой сон. Будто он в тюрьме на каком-то маленьком островке суши, окруженной со всех сторон безбрежной водной гладью, в одиночной камере, в последние минуты жизни, ясно понимает, что сейчас умрет, и вот так же, потянувшись на нарах, посмотрел на окно, чтобы узнать, какая погода на дворе, почему-то показалось важным знать, в какую погоду ему суждено умереть, и его охватил страх, что вот он сейчас умрет и никого не будет рядом, и звать кого-либо, стучать, кричать бесполезно, никто не услышит, потому что он один в каменном здании со стенами в сажень толщиной. А потом страх сменился странным праздничным чувством, потому что ему пришла в голову та всеразрешающая мысль, и он проснулся. Но что это была за мысль, так и не вспомнил.

Заснуть он уже не мог, лежал с открытыми глазами, ждал, когда придут жандармы с кандалами, повезут приговоренных к каторге на Конную площадь, место исполнения обряда гражданской казни...

Увозили на лобное место не всех каторжан разом, только Долгушина, Дмоховского и Гамова. Еще в сумерках отъехали от Литовского замка, вскачь пронеслись, окруженные отрядом конных жандармов, мимо оперного театра, пересекли Екатерининский канал, повернули к Семеновскому мосту через Фонтанку. Дмоховский, сидевший в карете у окошка, всю дорогу, не отрываясь, смотрел в окно и улыбался.

На Конной площади было уже, несмотря на ранний час, много народу. Люди разного звания пестрой массой обступали цепь солдат и городских, опоясывавшую черный помост с позорным столбом посередине. Поднимаясь на помост, осужденные жадно высматривали в

толпе знакомые лица, узнавали родных и друзей, раскланивались, будто актеры, выходящие на театральную сцену. Долгушин тотчас увидел Аграфену, она напряженно вытягивала голову вверх, на лице был страх, боялась, что он не увидит ее, не узнает; заметив, что он увидел ее, радостно встрепенулась, часто закивала головой, подняла над головой букетик цветов. Возле Аграфены заметил Долгушин Татьяну Сахарову, и она часто кивала головой и помахивала букетиком цветов, связанная взглядом с улыбавшимся Дмоховским.

Стояли у столба рядом, с дощечками на груди: «За возбуждение к бунту». Пока чиновник в зеленом мундире оглашал приговор, и священник совал крест для поцелуя — формально, понимая, что никто из троих не станет его целовать, и палач переламывал надпиленные шпаги над их головами, утренняя мгла развеялась, небо прояснилось, появились облака, и неожиданно выглянуло солнце. И тут Долгушин увидел в кучке мужиков возле той группы молодежи, в которой были Аграфена и Татьяна, белобородого старика крестьянина, показавшегося ему знакомым. В первую минуту он с удивлением подумал, что это поседевший Кирилл Курдаев. Видел Курдаева однажды в тюрьме во время прогулки, обросшего бородой, — бородатый, он и в самом деле был похож на этого старика. Но Кирилл не мог быть теперь в Петербурге, оставался в Москве; освобожденный по недостатку улик, находился под надзором полиции. (На Кирилла благотворно подействовало все с ним случившееся; подозревали пропагандисты, что неспроста он отказывался принимать их в свою мастерскую, слишком вошел в роль хозяина, может быть, имел намерение со временем освободиться от всяких обязательств перед ними, но, похоже, арест его отрезвил, в прошедшем году, в разгар «хождения в народ», в его мастерской, передавали Долгушину, работали пропагаторы.) Белобородый старик

был тот самый прасол или калика переходной, который два года назад в московском Кремле в пасхальную ночь принял Долгушина и Тихоцкого за сектантов. Сейчас он смотрел на Долгушина с тем же острым изучающим прилипчивым любопытством, что и тогда, но нельзя было понять, узнавал его или не узнавал.

А Дмоховский все улыбался.

— Ты чему все время улыбаешься? — спросил, тоже с улыбкой, Долгушин.

— Нет ощущения беды, — ответил Дмоховский. — Почему? Впереди каторга, дело наше, судя по всему, разгромлено, все тюрьмы переполнены пропагандистами. А такое чувство, какое бывает накануне праздника. Чернышевский, который точно так стоял здесь у черного столба, этого не мог чувствовать.

— Не мог. Почему?

— Ведь это только видимость, что движение разгромлено. Не перестаю поражаться: мы начинали — не могли найти желающих идти с нами. А год спустя в народ пошли тысячи, подумать только, ты-ся-чи пропагандистов во всех губерниях! Что же будет в ближайшие годы? Ведь дело только начинается.

— Верно! — удивился Долгушин, вдруг вспомнив свой предутренний сон, свою всеразрешающую мысль. Она и была в этом: все только начиналось...

Когда осужденных сажали в карету, группа молодежи сдвинулась ближе к карете. Теперь белобородый старик был в этой группе, переходил с места на место следом за Аграфеной и Татьяной, прилипчиво их о чем-то расспрашивал. Поймав на себе взгляд Долгушина, вдруг поклонился ему, как тогда, в Кремле — почтительно, низко. Так и не понял Долгушин, узнал старик или не узнал в нем своего кремлевского ночного собеседника. Впрочем, это было неважно. Долгушин радостно отдал ему поклон.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ И СНОВА ДЕЛО

1

Зимой 1881 года старое двухэтажное здание Мценской политической пересыльной тюрьмы было отдано в полное распоряжение заключенных, камеры не запирались ни днем ни ночью, размещались в них заключенные по своему усмотрению, кто с кем хотел, время прогулки было увеличено до нескольких часов, и на это время отпиралась дверь, ведущая в прогулочный дворик, образованный каменной оградой с одной стороны и глухой стеной тюремного здания — с другой, туда выходили, кто хотел, и возвращались, когда кому вздумается. Мало того, свидания с родными длились не час и не два — весь день, с утра и до вечерней поверки, и происходили, без всякого контроля со стороны администрации, здесь же, в здании тюрьмы, в общей столовой на первом этаже или в «конторе» на втором. «Конторой» называлась одна из свободных камер, где заключенные собирались для дебатов по хозяйственным делам, для теоретических споров, устраивали общие с посетителями чаепития, пели, танцевали.

Мценская тюрьма вообще отличалась мягкими порядками, слыла «гостиницей» среди тех, кто попадал сюда из «обыкновенных» мест заключения, а теперь здесь находились, с осени миновавшего года, «централисты», около тридцати человек, по несколько лет проводившие в каменных одиночках Новобелгородской (Печенежской) и Андреевской центральных каторжных тюрем и вызволенные оттуда милостью нового диктатора России графа

Лорис-Меликова, одиночное заключение им заменили сибирской каторгой, и для них, изнуренных пребыванием в централах, был установлен здесь особый щадящий режим, чтоб окрепли перед дальней дорогой.

Среди «централистов» были Долгушин и Дмоховский, доставленные в Мценск из Печенег. Пять лет провели они в каменных гробах «заживо погребенными», по выражению самого Долгушина, назвавшего так написанную им в заключении и тайно пересланную на волю брошюру об убийственном режиме централа, ее издали землевольцы. Попали в централ вместо Сибири Долгушин и его товарищи по московскому кружку мстительной волей Александра Второго, не простившего им дерзкого поведения под арестом и на суде и во время исполнения приговора над ними. Особенно поведение Плотникова во время исполнения приговора возмутило Александра. Поставленный к позорному столбу — этот обряд над Плотниковым и Папиным был совершен на другой день после того, как то же было проделано с Долгушиным, Дмоховским и Гамовым, — Плотников громко кричал: «Долой царя, долой аристократов, мы все равны, да здравствует свобода!» — кричал и потом, сойдя с эшафота, через решетку тюремной кареты, и большая толпа молодежи, возбужденная им, бросилась следом за каретой с неясными намерениями, едва ли не с намерением его освободить, полиция вмешалась, многих арестовали. Теперь Плотников не мог уж быть опасен для самодержавия, не выдержав одиночного заключения, потерял рассудок, едва живого его увезли умирать в казанскую больницу для душевнобольных. Сошел с ума и Гамов и умер вскоре. Папин, срок окончания каторжных работ которого истек, был выслан на поселение в Восточную Сибирь.

В Мценской тюрьме встретил Долгушин нескольких старых своих товарищей по Петербургу и Москве. Это были люди с громкими именами, герои нашумевших про-

цессов народников, в том числе знаменитого «процесса 193-х», объединившего активных участников «хождения в народ» лета 1874 года, — движения, начало которому за год до того положили долгушинцы. В одной камере с Долгушиным и Дмоховским сидели Порфирий Войнаральский, Сергей Ковалик, Дмитрий Рогачев. Этих троих вместе с Ипполитом Мышкиным, сидевшим в другой камере, обвинение называло организаторами движения 1874 года. Конечно, тут было преувеличение, движение, в котором участвовало несколько тысяч молодых людей, было стихийным, никто его не организовывал, то был внезапный взрыв энтузиазма российской образованной молодежи, один из тех загадочных нравственных массовых порывов, какие встречаются в истории любого народа, — порыв, потрясение, подготовленное годами упорной литературной и революционной работы «друзей народа», начиная с Герцена и Чернышевского. Но обвинение не ошиблось, выделив этих молодых людей из массы пропагандистов. Как бы то ни было, но им в первую голову обязано было движение теми начатками организации, которыми держалось.

Деятельный, предприимчивый Войнаральский и в тюрьме был центром, стягивавшим к себе товарищей. Избранный артельным старостой составившейся коммуны заключенных, он вместе с Дмоховским, «ходоком», в обязанности которого входило посредничество между заключенными и администрацией, обеспечивал материальное и психологическое благоденствие коммуны. Ковалик, с успехом исполнявший на воле роль «кружкового ткача», и в тюрьме был соединителем, примирителем несогласных, умел погасить возникавшие в спорах излишние возбуждение и раздражение. Сказывался его судейский опыт: после университета (окончил Киевский университет кандидатом математических наук) служил мировым судьей. С Войнаральским и Коваликом связан

был летом 1874 года Мышкин, печатал в собственной типографии в Москве революционные брошюры и отправлял в Саратов друзьям. После провала типографии Мышкин пытался под видом жандармского офицера вывезти из вилюйской ссылки Чернышевского, но был арестован. Человек впечатлительный и нервный, легко возбудимый, в тюрьме он страдал сильнее и глубже многих своих товарищей и жил одной мыслью — мыслью о победе.

Если Войнаральский и Дмоховский были ангелами-хранителями коммуны заключенных, Ковалик — нравственным стержнем, Мышкин — ее обнаженными нервами, то Дмитрий Рогачев был душой сообщества. Этот красивый сильный человек представлял собою классический тип народника-пропагандиста. Он-таки осуществил свою мечту — прошел Волгу сверху донизу с партиями бурлаков. В общезжитии он был бесценный человек, общительный, жизнерадостный, занимательный рассказчик, слушать его вдохновенные рассказы о скитаниях в народе сходилась в их камеру вся тюрьма.

В обществе этих людей Долгушин чувствовал себя «превесело», и вся жизнь была, «как посмотреть вокруг — так словно ты в Лесном институте живешь», как написал он однажды Аграфене из Мценской пересылки.

Впрочем, в том же письме он оговаривался: «Но знаешь ли что? Иногда находит такая тоска, какую только приходилось испытывать в незабвенных Печенегах. Я объясняю это тем, что такая жизнь гораздо сильнее заставляет чувствовать отсутствие полной воли...»

2

Незадолго до выхода из Мценска сибирской партии каторжных прибыли в Мценскую «гостиницу» несколько новых кандалников из Харькова и Киева и между ними бывший студент Киевского университета Владимир Евгеньевич Малавский, личность которого и его история необыкновенно заинтересовали Долгушина.

Разговорились они тут же, как появился Малавский в камере Долгушина, он сам попросил поместить его к Долгушину, с которым у него, как оказалось, был на воле общий хороший знакомый — Виктор Тихоцкий. С Тихоцким сошелся Малавский благодаря кружку «южных бунтарей», оба были связаны с «бунтарями», оказывали им разные услуги, хотя в кружок не входили. От Тихоцкого слышал Малавский о Долгушине многое и рад был случаю с ним познакомиться. По происхождению дворянин, из мелкопоместных Волынской губернии, своему дворянству обязан был Малавский лишь образованием, кончил гимназию, поступил в университет, во всем остальном это был типичный разночинец-пролетарий, перебивавшийся случайными заработками — уроками, переводами, корректурой. Он был высокого роста, тяжелый, неповоротливый, ходил, переваливаясь с боку на бок. Лицо у него было бабье, с размытыми чертами, напомнившее Долгушину давнего его знакомого крестьянина из подмосковной деревни Покровское Егоршу Филиппова, только это был малороссийский вариант Егорши. Добродушный и медлительный, как бессарабский чумак, он и говорил медленно, отвечал на вопросы не сразу, после какой-то внутренней подготовки, как бы преодолевая неохоту говорить.

Судили Малавского с небрежностью, характерной для эпохи «больших процессов», непосредственно предшествовавшей эпохе «диктатуры сердца» графа Лорис-Меликова. Арестованный на квартире, где бывали разыскивавшиеся полицией организаторы крестьянских волнений в Чигиринском уезде Киевской губернии Стефанович, Дейч и Бохановский, о деятельности которых среди чигиринцев он ничего не знал, Малавский был осужден как участник Чигиринского заговора.

— Что же, вы действительно ничего не знали о заговоре? — спрашивал Долгушин.

Помедлив, Малавский отвечал с меланхолической улыбкой:

— Узнал об этом только в тюремном замке.

— Вы пытались на суде опровергнуть обвинение?

— Сказал, что не понимаю, о каком заговоре идет речь.

— И что же?

— Мне сказали, что все подсудимые пытаются отрицать свою вину и, если мне нечего больше сказать по существу, чтоб я замолчал.

— И вы замолчали?

— И я замолчал.

Но самое возмутительное было то, что Сенат, куда дело поступило на утверждение, признав участие Малавского в заговоре «обдуманном», вместо назначенного ему судом наказания — четырех лет ссылки на поселение в Сибирь определил новое наказание — двадцать лет каторжных работ. Почему? За что? Причем определение Сената состоялось совсем недавно, уже после покушения 1 марта, унесшего жизнь Александра Второго, после обнародования апрельского манифеста нового государя — Александра Третьего, объявившего своим российским подданным, что ни о каких либеральных переменах в политике правительства не может быть и речи.

— Что же, выходит, что решение Сената по вашему делу прямо вызвано манифестом нового царя? — вывел Долгушин.

— Выходит, что так.

— Стало быть, политика нового царствования определилась? Теперь следует ожидать отставки Лорис-Меликова, а вместе с тем ужесточения борьбы правительства с обществом?..

— Да, если народолюбцам не удастся свалить и нового царя.

— Вы думаете, это им удастся?

Малавский пожал плечами:

— Не знаю. А вы как думаете?

— И я не знаю. Но как ваше-то дело? Вы не пытались как-то протестовать?

— Как? Писать жалобу на имя царя?

— Хотя бы!

— И что бы это дало?

— Да ничего бы не дало. Но нельзя же не протестовать. Такая очевидная несправедливость...

— Что делать? Нечего делать,— с покорностью отвечал Малавский.

Действительно, нечего было делать, некуда было обращаться с жалобами, Малавский трезво оценивал свое положение. Но все существо Долгушина восставало против этой трезвости. Он бы, конечно, на месте Малавского бился головой об стену, разбил себе голову, но не смирился с судьбой. Однако как помочь бедняге?

Мысль о том, что он каким-то образом должен помочь Малавскому, пришла ему тогда же, в день их знакомства, и уже не оставляла его. Несправедливость, с какой власть распорядилась судьбой Малавского, была кричащей, обжигала душу. И чем больше он думал об этом, тем сильнее овладевало им тяжелое беспокойство, близкое к отчаянию. Кровь бросалась в голову, начинало болеть сердце, как только он ставил себя в положение Малавского. Хотя собственное его положение было немногим лучше, но его беда — это была его беда, перед глазами же была чужая беда, свежая кровоточащая рана, созерцание ее, ежедневное, ежеминутное было непремено.

Накануне выхода сибирской партии каторжных из Мценской «гостиницы» Долгушин позвал Малавского с собой на прогулку и, когда они вышли во дворик, заговорил:

— Вы здесь недавно и еще не успели узнать всех особенностей нашей жизни, но, должно быть, заметили,

что в здешней тюрьме заключенные не делают попыток к побегу. Во всяком случае, за то время, что тут находятся «централисты», никто не пытался бежать. Вас это не удивляет?

— Да пожалуй. Что же, договорились этого не делать?

— Вот именно договорились. Чтобы не вызвать изменения здешнего режима. Но это не значит, что мы не думали и не думаем о побегах. У нас составился особый кружок из числа следующих на каторгу и поселение, в задачу которого как раз входит организация побегов в пути, собраны деньги, намечены кандидаты, которых следовало бы выпустить в первую очередь. Это, как вы понимаете, те, кто по освобождению мог бы активно заниматься революционной работой. Зачем я это вам говорю, не догадываетесь?

— Догадываюсь...

— Да, так вот. Если бы вам предложили бежать, помогли деньгами, снабдили надежными документами, вы бы согласились?

— Вы думаете, я мог бы на воле активно заниматься революционной работой? — в свою очередь спросил Малавский.

— Это вы сами должны решить для себя, Владимир Евгеньевич, чем вам заниматься на воле. Конечно, желательно, чтоб сделались революционером. Но я сказал о революционной работе не к тому, чтобы поставить ее вам непременно условием побега. Если вы воспользуетесь свободой в личных целях, хоть уедете в Америку, ради бога. Вы должны быть на свободе. У вас, Владимир Евгеньевич, на это больше прав, чем у многих из нас. Так согласились бы?

— Да, согласился бы. Только как-то неожиданно... И потом, как товарищи? — Малавский был смущен, взволнован.

— Я говорил с товарищами. Никто не возражает, чтоб вас выпустить в числе первых.

— И как это будет? Когда?

— Ну об этом еще будем думать.

— А что я буду делать на воле? Говорите — Америка. Что мне делать в Америке? Но что делать в России, с подложным-то паспортом?

— И об этом подумаем.

— Риск большой. Если поймают — прибавят срок, да?

— Это как водится, — невольно улыбнулся Долгушин.

— Да, пожалуй, действительно смешно — бояться прибавки срока человеку, приговоренному к двадцати годам каторги, — уныло заметил Малавский.

— Вы можете пока мне ничего определенного не говорить, — осторожно сказал Долгушин. — Подумайте...

— Да что думать? Куда мне теперь, как не в революционеры. Но как это будет?..

3

Покидали Мценскую «гостиницу» без сожаления, все же это была клетка, хоть и позолоченная. Предстоявшее путешествие через Урал и Сибирь волновало молодые души, обещало сильные впечатления.

Местом отбывания наказания для ссыльно-каторжных была определена политическая каторжная тюрьма в поселке Кара в Забайкалье, в долине золотых россыпей. Отбывать кару ссылали на Кару. Путь на Кару был расчислен с большой точностью, известно было на каждый день, сколько предстояло пройти или проехать верст, и режим движения неукоснительно соблюдался. Собственно этап начинался от Екатеринбурга; от Мценска партию везли по железной дороге (до Нижнего), по Волге и Каме (баржою до Перми) и опять по железной дороге, а в Екатеринбурге дали подводы, одну на двух-трех человек, и легла перед глазами бесконечная лента широкого сибирского тракта.

Проходили в день по 25 верст, через каждые два дня в третий останавливались на дневку, ночевали на этапах, в грязных, щелястых, продуваемых насквозь бревенчатых сараях, обнесенных высокими палями. Но в общем путешествие не было утомительно. Стояло теплое сухое лето, по обе стороны тракта волновались еще не созревшие хлеба. Как и в Мценске, начальство не вмешивалось во внутреннюю жизнь партии. В телеги садились, кто с кем хотел, семейным выделялась отдельная телега. Продовольствием ведали сами арестанты, староста Войнаральский закупал нужное у торговцев, распределял между членами коммуны, стряпали на этапах.

С Долгушиным ехали жена и сын-гимназист. По дороге к партии присоединилось еще несколько женщин, ссыльных и таких, как Аграфена, добровольно следовавших за ссыльными в Сибирь, и между ними сестра Дмоховского Адель и Вера Павловна Рогачева с грудным ребенком. Адель, вольная, ехала отдельно от партии, не выпуская ее, однако, из виду. Вера Павловна, ссыльная, шла с партией. Вера Павловна была приговорена к поселению в Восточной Сибири, но ей разрешили, по ее прошению, отправиться на Кару вместе с мужем. Это была теперь вполне расцветшая сильная молодая женщина, очень здоровая, в пути ей пришлось быть кормилицей еще и другого младенца, ребенка ссыльной же, у которой пропало молоко, и она прекрасно справилась с этим. Наконец-то соединились вместе Рогачевы как муж и жена, их брак еще до их ареста перестал быть фиктивным, но увлечение пропагандой развело их в стороны. Отношения их складывались, однако, трудно. Ребенок у Веры Павловны был от человека, которого она полюбила, когда Рогачев находился в Андреевском центре; но та любовь скоро кончилась, она разочаровалась в отце ребенка.

В жаркий солнечный день подъехали к границе между Пермской и Тобольской губерниями, к тому месту, где

стоял каменный столб с гербом. Здесь длинный обоз остановился. Отсюда начиналась Сибирь. Смолкли все разговоры, смех. Сошли с телег кандалные, побрели к столбу, подобрав свое железо. Женщины стали собирать цветы у дороги. Постояли мужчины перед камнем в молчании, молча же разошлись по своим телегам.

Однажды, это было еще перед Тюменью, замешкались в пути, к этапу подошли поздно, темнело. Разложили костерки на этапном дворе, поужинали, спать укладывались уж в полной темноте. Ночь была душная, и староста выговорил разрешение ночевать на воздухе, тут же на дворе, у своих телег.

Долгушины уложили Сашку в телеге, сами легли под телегой, на ворохе свежего упругого сена, предложенного им возницей, вольным мужиком, сам возница уехал на лошади ночевать к знакомым в расположенное поблизости село. Александр уснул сразу, едва лег и вытянулся.

Проснулся он среди ночи от того, что услышал чей-то стон или придушенное рыдание. Приподнялся на локте, послушал, но кругом все было тихо. Мирно похрапывал кто-то в стоявшей неподалеку телеге, фыркнула лошадь у коновязи, что-то вполголоса сказал один часовой другому у ворот этапа. Александр снова лег и тут почувствовал, что Аграфена не спит. Она лежала на спине, в темноте не видно было, открыты у нее глаза или нет, но он почувствовал, что она не спит.

— Ты чего не спишь?

— Ничего, спи, спи! — испуганным шепотом отозвалась она, повернулась на бок, спиной к нему, и затихла, уснула или сделала вид, что уснула.

Полежав немного, спать уж не мог, Александр медленно, чтоб не звякнули кандалы, вылез из-под телеги, сел спиной к колесу, закурил папироску. Небо было закрыто непроницаемой дымкой, горели окрестные леса, звезд не было видно, но на востоке как будто уже начинала

поддаваться темнота или это только казалось... Вот так каждую ночь, вслушивался, всматривался в темноту Александр с привычной досадой. С вечера уснешь хорошо — среди ночи что-нибудь непременно разбудит, храп ли товарища, голос часового, и уже не уснешь до утра, а днем будешь сидеть в телеге сонный, клевать носом, без мыслей, без чувств, пока не подойдет кто-нибудь из товарищей, не выведет из этого тупого состояния занятым разговором. Тогда опять начнут теснить душу беспокойство, чувство неудовлетворенности, унижительное сознание неисполненного долга, и будешь пытаться заглушить это чувство разговорами, физической работой, какая только случится в пути, утомишь к вечеру мышцы и нервы, уснешь как убитый, едва приклонишь голову, а среди ночи разбудит какой-нибудь пустяк — и все повторится. Это началось еще в Мценске, перед самым отправлением в Сибирь. В Мценске казалось: вот двинутся в путь — и сами собой обнаружатся способы повести дело, наконец-то удастся снова пристать к делу, — дело, только дело означало действительное возвращение к жизни. Делом должно было стать на ближайшие годы образование в Сибири — проект обдумали в Мценске основательно — особой организации, которая объединила бы всех ссыльных и всех находившихся в заключении политических в единую сеть и занималась бы, именно она, устройством побегов заключенных. Для начала следовало наладить связи с волей, но это и не удавалось. И не было никакой надежды наладить их, по крайней мере до Красноярска. В Красноярске партии предстояла длительная остановка, там жили родные Долгушина, там служил губернским прокурором его отец, были друзья, — на эти обстоятельства, конечно, можно было рассчитывать. Но до Красноярска оставалась почти половина пути. А время шло...

И опять он услышал всхлипывание. Плакала Аграфена.

— Что случилось?

Она заплакала не таясь. Он нагнулся к ней, тронул рукой ее щеку, она схватила руку, прижала к себе, затряслась, задергалась в мучительном рыдании, кусая губы, боясь зарыдать в голос.

— Да что ты, Грета? — встревожился он.

Она зашлась в плаче, не в силах произнести ни слова, и он ни о чем больше не спрашивал, лег, свободной рукой стал гладить ее по плечу, распущенным волосам, успокаивал.

— Ну, ну, не надо.

Дал ей выплакаться. Спросил с мягкой усмешкой:

— Себя стало жалко?

— Мне тебя жалко, — сказала она, плача.

— Меня? Что же меня жалеть? Считаю, что все тяжелое позади. Еще три года — и кончится срок каторги, пойду на поселение, а там...

— Я виновата перед тобой. Как я виновата перед тобой! Ох, Саша, если б ты знал, чего мне стоили эти годы... — торопливо шептала она сквозь слезы, всхлипывая, и целовала его руку.

— Ты ни в чем не виновата, — остановил он ее строго. — Я тебе говорил об этом и даже писал. И перестань себя казнить. Это я виноват перед тобой, если хочешь знать. Мне не следовало вовсе жениться, а если женился, следовало позаботиться о жене и ребенке. Хотя я так до сих пор и не знаю, в чем должна заключаться забота о семье порядочного человека в гнусные времена, подобные нашему. Но теперь все хорошо...

— Нет, я вижу, не слепая, как ты мучишься, маешься. Ночами не спишь. И я, я одна виновата, лучше б мне было умереть в той проклятой тюрьме...

— Ну перестань, не надо.

— Ты добрый. Я не сразу поняла, как ты мне дорог. Я тебя долго боялась. А потом, когда вас увезли в Печенегии... Нет, раньше, когда нам разрешили свидание после

суда... и ты засмеялся, когда увидел меня... сказал, что соскучился...— она опять плакала, не могла говорить.

— Хватит, Гретхен. Довольно.

Он прислушался, не разбудил ли кого их разговор, но тихо было вокруг.

Аграфена наконец успокоилась, лежала не шевелясь, он подумал, не уснула ли, потащил было руку из-под ее щеки, она лежала щекой на его ладони, но она не отдала. И вдруг прошептала странно изменившимся голосом:

— Саша, дай другую руку.

Она взяла его руку и положила себе на живот.

— Ты что-нибудь чувствуешь?

Он догадался, обрадовался:

— Неужели?..

— Шевелится, но еще слабо. Вот, слышишь? Как будто рыбка хвостиком вильнула.

Он ничего не услышал.

— Сколько же ему? Когда ты почувствовала? Уже давно? И молчала?

Она не отвечала, смотрела на него улыбаясь, наслаждаясь его волнением, его радостью, лицо ее теперь было различимо,— как будто начинало светать.

— Ну вот, видишь, как все счастливо складывается, а ты никак не можешь успокоиться,— шептал он радостно.— Когда примерно ждать?

— Примерно в ноябре.

— К тому времени мы уже должны быть на Каре,— прикинул он время.— Но ты, конечно, будешь рожать и останешься жить после родов в Красноярске, у моего отца.

— Нет, я буду жить там, где будешь ты.

Она сказала это так, что он не нашелся сразу, что на это ответить, обнял ее, привлек к себе. Но руку не снимал с ее живота, все ждал, не услышит ли, как толкается начинавшаяся жизнь. Аграфена скоро уснула, а он лежал

с открытыми глазами, улыбаясь в темноту, и ждал. Вспоминал Мценск, свидания с Аграфеной, и вспомнил день, когда все обитатели «гостиницы» собрались в «конторе», пели хором, а он привел Аграфену в свою камеру, и они были одни... В какой-то миг ему показалось, что под рукой в самом деле что-то слабо плеснулось, и правда, будто рыбка вильнула хвостиком.

4

У ворот Красноярской тюрьмы партию ожидала группа мундирных чинов, впереди неподвижно стоял благообразный старик с белой патриаршей бородой, губернский прокурор Долгушин. Возле него, почтительно отступив на полшага, маялся в нетерпении смотритель тюрьмы Островский, ему бы куда-то бежать, распорядиться, размахивать кулаками, но присутствие прокурора сковывало инициативу. Проехали в ворота тюрьмы первые повозки с каторжными, повозка Долгушина остановилась у ворот, спрыгнул Долгушин на землю, подобрал свое железо, шагнул к отцу, но отец сам поспешил к нему, обнял, прижал к себе, замерли оба. Десять лет не виделись. Не извинял Василий Фомич Долгушин сына как нарушителя закона, но и не осуждал как человека свободного: сам выбрал свою дорогу — высший судия ему бог, — ни единого слова упрека не переслал ему за эти десять лет.

— Чего встали? Проезжайте, проезжайте! — вскипел, замахал руками Островский, кинулся к остановившемуся обозу, угрожающе нацелился на гриву молодого мужика, возчика подводы, уткнувшейся в подводу Долгушина; но нельзя было объехать подводу Долгушина, ворота были узки.

— Поезжай, — сказал старик Долгушин сыну, стал подсаживать его на телегу. Огляделся. Удивился. — Где внук? Невестка?

— Они уехали вперед. Теперь уж, должно быть, ждут тебя дома,— ответил Александр, усаживаясь.

— Трогай! — приказал возчику отец.

Больше они в тот день ничего не сказали друг другу, взволнованные, потрясенные встречей.

На другой день утром старик снова появился в тюрьме. Вызвали Долгушина к нему в тюремную канцелярию, провели в кабинет Островского, тот вышел, оставив отца наедине с сыном. Заговорил отец внушительно:

— Ваша партия недолго пробудет в Красноярске, через несколько дней будет отправлена дальше. Но ты останешься здесь,— произнес он особенно твердо, как бы боясь, что встретит возражение.— Ты не оправился после одиночного заключения, будешь оставлен по расстроенному здоровью. У тебя плохой сон и что там еще, это я знаю от твоей жены, мы с ней вчера обо всем переговорили. Притом, если ты пойдешь на Кару, твоя жена пойдет за тобой, а для нее это в ее положении равносильно самоубийству. Прими в соображение и вот что. Не исключено, что твой срок каторжных работ будет сокращен, проживешь это время в Красноярске, а затем прямо пойдешь на поселение.

Отец, похоже, уговаривал его, но уговаривать Александра не нужно было, предложенное как нельзя больше подходило к его планам, надеждам на Красноярск.

— Хорошо,— сказал Александр.

И они умолкли, присматриваясь, привыкая друг к другу.

Старику хотелось быть сдержанным, Александр его понимал и тоже был сдержан, но еще больше хотелось старику (и сыну тоже), как вчера — вчера вышло непроизвольно,— припасть друг к другу, забыть, хотя на время, о том, что развело их, что разделяет в жизни, ощутить, пережить, как в былые времена, счастье

нерасторжимости... Они одновременно шагнули навстречу друг к другу. Замерли, обнявшись.

Когда возвращался Александр из канцелярии в тюрьму — канцелярия находилась за оградой тюрьмы, вход в нее был снаружи, — обратил внимание на то, как ключник у ворот обращается с тяжелым и тугим замком. Выпустив за ограду или впустив кого-то, притворив створки ворот, он не тотчас запирает их замком, ленится, ждет, не придется ли через минуту снова ворочать полупудовую грушу. А в нескольких шагах от ворот — прогулочный дворик, там по двое, по трое гуляют заключенные под наблюдением одного надзирателя. Мгновенно созрел план: отвлечь внимание ключника, когда ворота будут открыты, вызвать со двора надзирателя, и тут не зевай, скорей к воротам, а за воротами — пролетка со своими людьми, подхватит — и поминай как звали. Подобным образом, рассказывали, бежал когда-то из тюрьмы чайковец Кропоткин. Чтоб осуществить этот план, нужна была, конечно, помощь со стороны. И эта помощь могла, теперь это уже было ясно, могла быть оказана.

Еще вчера, едва вошли в тюрьму, многое в этом отношении определилось. В Красноярской тюрьме содержалась большая группа политических, тоже направлявшихся на Кару, они должны были пристать к партии «централистов». В этой группе были представители почти всех политических процессов последних лет, всех направлений народничества, в том числе народовольцы и чернопередельцы, и у них были налажены сношения с отбывавшими в Красноярске административную ссылку единомышленниками. Мысль об особой организации, которая занималась бы подготовкой побегов заключенных, новые товарищи встретили горячо, с ними договорились о совместных действиях...

Вчера же разговорился Долгушин с одним из новых товарищей, чернопередельцем Аптекманом, о причинах

распадения общества «Земля и воля» на «Черный передел» и «Народную волю», этот вопрос давно его занимал. Обстоятельный, несуетливый чернопеределец долго толковал о трениях между «деревенщиками» и «политиками», теми землевольцами, которые считали необходимым продолжать пропаганду в деревне, несмотря на усиливавшиеся год от года полицейские гонения, и теми, кто в условиях правительственного террора не видел иного выхода, кроме прямой борьбы с правительством. «Велика ли была первоначальная группа народовольцев?» — спросил Долгушин. «Не больше тридцати человек. Могу перечислить по пальцам», — Аптекман назвал всех, входивших в Исполнительный комитет «Народной воли», начав с Александра Михайлова и Александра Квятковского и кончив первомартовцами Андреем Желябовым и Софьей Перовской. «А Кибальчич?» — «Кибальчич был агентом Исполнительного комитета и техником, делал снаряды к первому марта». Подумав, Долгушин сказал: «Бороться с правительством, конечно, неизбежно. Но без поддержки народа нечего рассчитывать на успех. Общество трусливо. Само же правительство вряд ли уступит — не уstraшитcя, даже если и полетит еще несколько венценосных голов. Народ молчит. А что землевольцы успели в народе?» — «Наша работа не поддается точному учету», — ответил Аптекман. — Тем более что мы недолго работали, да и то с невольными перерывами. Но искры брошены, кое-какие связи есть в Поволжье, среди раскольников, в Терской области, в Тамбовской губернии. Надо продолжать работу. А вы как думаете?» — «Да, надо...» — согласился Долгушин.

5

От сестры Софьи, приходившей в тюрьму вместе с отцом, узнал Долгушин о том, что на воле все готово: по плану побега, тому самому, который придумал он, возвращаясь

из тюремной канцелярии после второго свидания с отцом, намечены участники дела, роли между ними распределены, устроены квартиры для отсидки беглеца (решили, что бежать должен пока один человек, Малавский), изготовлен надежный паспорт для него. Теперь, передала Софья, дело за тюрьмой, — назначить день побега и придумать, как в нужный момент вызвать надзирателя со двора, ключника брали на себя товарищи с воли.

Назначили день. Дали знать на волю (через Софью же). Получили ответ: согласны. Оставалось теперь лишь ждать намеченного дня. Ждать и надеяться на удачу.

В ночь накануне побега в камере политических легли спать рано, с сумерками, сразу после переключки. Никому не хотелось делать вид, будто ничего особенного не предстояло назавтра, придумывать темы для разговоров, когда в голове одно: что-то получится у Малавского? Все в камере знали о предстоящем побеге, хотя занималась подготовкой его небольшая группа Долгушина, три или четыре человека. Между политическими не было секретов друг от друга, но говорить на эту тему вслух было не принято. В тюрьме содержались не одни политические, среди уголовных, исполнявших разные хозяйственные обязанности и вечно толкавшихся возле политических, могли быть уши Островского.

Лег вместе со всеми и Долгушин и, как обычно с вечера, легко и сразу уснул.

И, как обычно, проснулся среди ночи.

Проснулся от того, что приснился ему сон, который он уже видел когда-то, он тут же и вспомнил — когда: шесть лет назад, накануне нелепого обряда гражданской казни. Снилось, будто он умирает в сырой промозглой камере заброшенной тюрьмы посреди моря или большого озера, страшно ему умирать в одиночестве и он кричит, зовет кого-то, хотя и понимает, что звать бесполезно... С этим проснулся. Было неприятно, что повторился

зловещий сон, это озадачивало. Но не брать же в голову, не разбирать дурацкие сны, мало ли снится чепухи. Зная, что уже не уснет, он лег на спину, закинул руки за голову и стал ждать утра. О сне старался не думать.

...Сон был пророческий, именно так и суждено будет ему четыре года спустя окончить свои дни — в здании старой тюрьмы Шлиссельбургской крепости, омываемой со всех сторон водами Ладожского озера. Не он первый из шлиссельбургских узников будет умирать здесь в одиночестве от чахотки и не он последний... В Шлиссельбург он будет переведен с Кары за участие в организации побега группы карийских каторжных и в голодном бунте. На Кару его переведут из Красноярска за побег Малавского и оскорбление действием смотрителя тюрьмы — даст пощечину Островскому, который после побега Малавского вздумает ввести для политических режим центральных тюрем... Побег Малавского удастся на славу, Малавский исчезнет из тюрьмы среди бела дня незаметно для тюремщиков, его хватятся не сразу, три недели он будет отсиживаться в потаенных местах; случайно будет обнаружен, начнется следствие, будет арестовано несколько человек, замешанных в деле, и в том числе Софья Долгушина, чтобы спасти товарищей, сестру Александр Долгушин заявит жандармам, что инициатива побега принадлежит ему одному, будет суд, по совокупности преступлений ему прибавят десять лет каторги...

Нет, не мог он не думать о повторившемся сне. Показалось замечательным, что тогда, как и теперь, приснился этот сон накануне важного в его жизни события. Тогда, на просторной площади, на черном помосте, вознесенный высоко над головами людей, он отчетливо понял: их дело не кончено — только начинается. С сознанием этого ушел на каторгу, переступил порог центра — и все выдержал, все вынес, может быть, только потому,

что грела душу эта утешающая мысль. Теперь — предстояло дело. Снова было дело...

Подумал о том, что предстояло через несколько часов. Тревожно и радостно дрогнуло сердце. С этим ощущением тревожной радости повернулся на бок, прикрыл глаза, постарался расслабиться, — нужно было заставить себя расслабиться, ни о чем не думать, чтобы встать утром не таким разбитым, как вставал обычно после бессонной ночи. День предстоял напряженный. Побег был назначен на полдень, к этому времени требовалось покончить с множеством дел, главное — приготовить «происшествие» в камере уголовных на первом этаже, ближайшей к выходу в прогулочный двор, чтоб в нужный момент овладеть вниманием надзирателя, вынудить его оставить двор, — исполнить это должен был именно он, Долгушин...

Прикрыл глаза, расслабился — и неожиданно уснул. И спал до утра. Впервые с тех пор, как вышел из Мценска, спал здоровым, восстанавливающим силы, освежающим сном.

6

«Красноярск, Василию Фомичу Долгушину, для передачи сыну Саше.

Москва, 18 сентября 1883 г.

Получил ли ты, милый мой Саша, мое письмо из Перми? Я не могу быть в этом уверенным, но не стану уже повторять того, что там было писано, а поеду дальше. В Перми мы пробыли всего два дня, сели (или лучше сказать, нас посадили) на баржу и повезли в Нижний Новгород, где я и застрял на целые полтора месяца... Почему? Да заболел оспой, да такой, что если бы ты меня теперь увидел, то не сразу узнал бы — так она меня разукрасила. Надоело мне лежать в больнице — тоска

ведь — да и желание поскорее узнать, чем дело кончится и на чем сердце успокоится, как говорят ворожеи, — все это побудило меня выйти из больницы даже несколько ранее, чем бы следовало, и отправиться дальше. А дальше — Москва, и вот вечером 16 сентября уже в московской пересыльной тюрьме. Тут открыли, что документы, с которыми меня пересылают из тюрьмы в тюрьму, — какие-то странные документы: в них даже не обозначено, куда я следую, за что, почему... Ну, словом, документы не в порядке — нужно восстановить порядок. И потом справки, и пока они найдутся, я буду сидеть здесь. А знаешь, ведь я попал в ту тюрьму, и чуть-чуть не в ту же самую башню, в которой я сидел ровно 10 лет тому назад, когда меня арестовали близ Сухаревой башни; но теперь все тут переделано... Да, 10 лет прошло с тех пор, а сколько пройдет еще, прежде чем выйду я на волю, — вряд ли выдюжим... Но я начинаю впадать в минорный тон, чего, по правде сказать, я терпеть не могу. Так вот, мне остается сделать еще один переезд — из Москвы в Питер — и тут мне будет кончание. Прощай, голубчик, желаю тебе всего, всего хорошего, учись с толком, вырастай и будь человеком.

Твой отец Александр Долгушин.

Поцелуй за меня старых и молодых. Не знаю, буду ли иметь возможность писать из Питера, и своего адреса дать не могу. Мать тебе будет, конечно, писать и даже вероятно, что ты от нее получишь письмо раньше вот этого: она теперь в Тобольске с Зоей, твоей маленькой сестренкой, которая тоже, в одно время со мной, прохворала оспой в Нижнем; но у ней была довольно легкая форма, и следов почти не осталось. Славная девочка, — здоровая, веселая, умненькая такая.

Ну, addio, мой мальчик.

А. Д.»

Увозили Долгушина из Москвы осенью 1883 года ясным холодным утром. За ночь камни мощеного тюремного двора покрылись слоем изморози; шли по сверкающему игольчатому ковру осторожно, жалея красоту. Черная карета ждала у ворот, заложенных длинным и толстым брусом.

К станции Николаевской железной дороги ехали долго, людные улицы и площади объезжали. Долгушин смотрел в окно кареты безотрывно, он не узнавал места, по которым проезжали, — так и не успел в свое время хорошенько познакомиться с Москвой, а все же два или три раза дрогнуло сердце, когда показалось, что узнает камни, по которым когда-то проходил, дома, в которые как будто заходил. Прохожие, редкие на этих окольных кривых и узких улочках, оглядывались на черную карету с немым удивлением. Долгушин жадно всматривался в лица, почему-то все ждал, что вот увидит кого-нибудь из знакомых москвичей, может быть, Кирилла Курдаева, знал, что Кирилл в Москве, еще на Каре слышал, что он привлекался по какому-то московскому делу народо-вольцев, был в ссылке, вернулся в Москву, снова завел жестяную мастерскую.

Или, может быть, увидит Анания Васильева, вот бы кого хотел, кого нужно было ему увидеть. Ананий тоже будто бы осел в Москве, служил в какой-то типографии. Сохранил ли Ананий рукописи его, Долгушина, свода будущих узаконений, составленного им в Петербурге в Литовском замке в ожидании окончательного приговора по их делу? Когда теперь это выяснится?

Обширная вокзальная площадь от края до края была запружена крестьянскими подводами, гружеными и пустыми, вся эта масса медленно двигалась куда-то в гомоне, скрипах, грохоте колес. Долгушин ловил взгляды за-

сматривавших в окна кареты мужиков, лица были живые, смысленные. Что было в душах этих людей? Вот уже больше десяти лет с фанатическим упорством боролась за эти души интеллигентная Россия. Чего добились, когда же ждать результата?

И войдя в поезд, припал к окну, все надеялся, что увидит кого-нибудь из знакомых, что предчувствие не обманет его.

По платформе вдоль вагонов сновали артельщики, проществовало в сопровождении железнодорожного чиновника многочисленное семейство какого-то помещика, горничные несли на руках маленьких детей.

Через вагон неспешно прошел красивый жандармский офицер. Подойдя к арестантскому отделению, он вызвал к себе одного из жандармов, сопровождавших Долгушина, прошел с ним в сени вагона.

Поезд неожиданно дернулся, лязгнули буфера и цепи, раздался свисток кондуктора, еще раз все содрогнулось со скрежетом и замерло: должно быть, к составу подали паровоз. И тут из сеней вагона донесся шум, послышались голоса жандармского офицера и чьи-то то ли женские, то ли детские, слов нельзя было разобрать, но, невольно прислушиваясь, Долгушин вдруг почувствовал, как в сладком томлении сжалось сердце и ухнуло, проваливаясь в пустоту, на миг перехватило дыхание.

Еще не оборачиваясь, всей спиной ощутил, что позади, у входа в отделение остановились люди, о встрече с которыми он и мечтать не мог. Вот сейчас он обернется и увидит их, и сердце его разорвется...

Он обернулся — и увидел Аграфену. Подле нее стоял Сашок, вытянувшийся за лето, переросший мать. На руках Аграфена держала закутанную Зою.

— Только две минуты, мадам! Две минуты, — говорил Аграфене стоявший за ее спиной офицер. — Поезд через две минуты отправляется.

Долгушин шагнул к жене и детям, обнял всех сразу.
— Какое счастье! Успели, — бурно объявила Аграфена, она была разгорячена, сияла победной улыбкой, от нее веяло энергией, напором. — Неслись сломя голову, думали не поспеем к поезду...

— Как вы здесь оказались? Все вместе! — с изумлением смотрел на нее Александр.

— Получила твое письмо, выписала Сашка из Красноярска, собрались и в путь...

— Когда вы приехали?

— Сегодня утром, прямо со станции помчались в жандармское управление, узнали, каким поездом тебя отправляют, получили разрешение на это свидание... Времени нет, Саша, поэтому самое важное. Я еду в Питер. И они со мной, — движением подбородка указала на детей. — Будем все вместе. Там, где тебе назначат...

— Нужно ли?

— Нужно. Это дело решенное, не будем обсуждать, — нетерпеливо, властно заключила Аграфена. — В Питере буду добиваться свиданий с тобой и права переписки, если вас запрут в крепость. Отправимся через день-два. Скажи, что тебе сейчас нужно? Что я могла бы...

— Пока ничего не нужно. Что нужно было, я уже получил. Вас увидел, обнял...

— Деньги?

— Пока не нужно. Что в Красноярске?

— Все живы, здоровы. Шлют поклоны.

— Об Анании есть известия?

— Представь, я виделась с ним. Писала ему сюда, в Москву, а оказалось, что он живет в Нижнем. Там и виделась с ним...

— Бумаги сохранились?

Аграфена замялась, сияющие энергией глаза ее испуганно метнулись вверх-вниз, потускнели, и Александр понял, что надежда запустить в жизнь его рукопись рушится.

— Бумаги у него пропали, когда он содержался в рабочем доме. Он очень сокрушался...

— Жаль,— только и сказал Александр: Пропали бумаги. Значит, пропали. Жаль... Пропали так пропали. Что поделаешь? Придется начать сначала. Написать заново свод будущих узаконений. Конечно, когда сойдутся подходящие условия и появится надежда передать документ на волю. Когда появится надежда...

Послышался свисток паровоза, и перед арестантским отделением вновь возник жандармский офицер:

— Мадам, поезд отправляется...

Когда Аграфена с детьми уже спустилась на платформу и шла к окну арестантского отделения, тогда только сообразил Александр, что не сказал ни слова ни Сашку, ни Зое. Во все время его короткого разговора с Аграфеной дети смотрели на него с напряженным и недоуменным немым вопросом, а он смотрел на Аграфену, привыкая к ее новому облику. Она теперь была очень похожа на Анастасию Васильевну Дмоховскую, с которой прожила бок о бок несколько лет, сперва в Петербурге, когда они с фанатическим упрямством обивали пороги сановников, добываясь льгот для своих близких, погибавших в каменных мешках Печенежской тюрьмы, потом в самих Печенегах, где жили под стенами тюрьмы, ежедневно собирали передачи. Аграфена училась у матери Дмоховского нести с достоинством свой крест.

Поезд тронулся, и Аграфена пошла рядом с вагоном, ясная, бодрая, несла девочку на плече, и обе весело кивали ему и улыбались. Сашок, обогнав мать, подошел совсем близко к вагону, поднял руку к оконному стеклу и так шел долго, покуда поезд набирал скорость.

Савченко В. И.
С13 «Раскройте ваши сердца...»: Повесть об А. Долгушине.— М.: Политиздат, 1988.— 303 с.: ил.— (Пламенные революционеры).

ISBN 5—250—00427—X

С $\frac{0503020300-167}{079(02)-88}$ 183—89

ББК 63.3(2)51+84Р7

**ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
САВЧЕНКО**

«РАСКРОЙТЕ ВАШИ СЕРДЦА...»
ПОВЕСТЬ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ДОЛГУШИНЕ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*

Редактор *А. П. Пастухова*

Младший редактор *И. А. Ляпина*

Художник *А. И. Добрицын*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Т. Н. Полунина*

ИБ № 4639. Документально-художественное издание

Сдано в набор 25.01.88. Подписано в печать 20.05.88. А 00081. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 13,65. Усл. кр.-отт. 16,98. Уч.-изд. л. 13,90.

Тираж 200 000 экз. Заказ № 9. Цена 1 р. 10 к.

Политиздат. 125814, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий».
620151, г. Свердловск, пр. Ленина, 49.

Scan Kreyder - 14.10.2018 - STERLITAMAK

48



1875

1875